

Ш Николай ШМЕЛЕВ

Пашков ДОМ

==
рассказы



Собрание сочинений

Том 1

ШМЕЛЕВ
Николай

ПАШКОВ
ДОМ

рассказы



Огни — Летний сад
Москва — Санкт-Петербург
2006

УДК 882.3
ББК 84 (2Рос=Рус)
Ш 72

Федеральная целевая программа
«Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)

Шмелев Николай

Ш 72 Пашков дом: Роман. Рассказы. — М.-СПб.: Огни—
Летний Сад, 2006 — 383 с.

ISBN 5-9548-0032-4 («Огни»)

ISBN 5-89740-101-2 («Летний сад»)

В первую книгу Собрания сочинений выдающегося ученого и писателя, академика Николая Петровича Шмелева вошли роман «Пашков дом» и сборник «Старая Москва», включающий рассказы разных лет, от ставших хрестоматийными «Ночные голоса» и «Скорбный лист» до относительно недавнего «Особняк на Пречистенке».

Для широкого круга читателей.

ISBN 5-9548-0032-4 («Огни»)

ISBN 5-89740-101-2 («Летний сад»)

© Шмелев Н. П., 2006

© Издательство «Огни», 2006

© ИТД «Летний Сад», 2006

ПАШКОВ ДОМ

роман



«Спускаться? — остановившись на секунду перед влажной, исходящей паром дырой подземного перехода, подумал Горт. — Или пройти немного дальше, к Военторгу, и там перейти поверху?.. А, что я, в самом деле... Там теперь тоже не перейдешь — недавно и там прорыли... Теперь уже все, брат, навсегда: хочешь не хочешь, а полезай под землю, другой дороги больше нет... Перебегать же — глупо: и возраст не тот, и милиция, конечно, остановит, оправдывайся потом. Вон на той стороне маячит фигура, и на перекрестке у Грановского тоже, надо думать, стоит, да еще, наверное, не один... Ничего не подлаешь, приходится подчиняться — прогресс...»

Александр Иванович Горт терпеть не мог подземные переходы и, где только можно было, старательно их избегал. И дело было, конечно, не в двадцати ступеньках вниз и потом двадцати ступеньках вверх: дома, когда ломался лифт, он пока еще спокойно, без остановки, поднимался на свой пятый этаж, и настроение у него от этого никогда не портилось. Нет, неприятен был сам факт, что тебя, солидного, уважаемого человека, не спрашивая на то никакого твоего согласия, заставляют лезть в этот люминесцентный, заполненный толпой туннель, где люди идут, тесно прижатые друг к другу стенами, строем, одни в одном направлении, другие в другом. Если же время было позднее, то возникало иное, но тоже, признаться, достаточно неприятное ощущение: пусто, холодно, длинный кафельный коридор, никого, только стены, да низкий потолок над головой, да шаркающие шаги, твои же собственные — кричи не кричи, как в подземелье, в дурном сне, все равно не отзовется никто.

Наверное, это может показаться кому-то своего рода странностью, может быть, даже чудачеством, но в последние два десятка лет для него это был действительно немаловажный вопрос, к тому же вопрос, возникавший чуть ли не каждый вечер: как бы так исхитриться, чтобы пройти от Неглинной, точнее, от Третьего Неглинного переулка до Библиотеки Ленина, ни разу не нырнув при этом под землю? Троллейбус или метро исключались — без крайней нужды он ими никогда не пользовался, а пешком эта задача постепенно, на его глазах, с тех пор как прорыли первый подземный переход в Охотном ряду, становилась все более и более трудноразрешимой, пока наконец не стала неразрешимой полностью, совсем, какие бы хитроумные маршруты он себе ни представлял. Поначалу еще можно было пройти верхом через проезд Художественного театра, улицу Огарева и дальше — через улицу Грановского или же бульварами от Трубной через Пушкинскую площадь, Никитские ворота и Арбат, но потом понастроили переходы у телеграфа, у Моссовета, у памятника Пушкину, у Дома журналистов, потом, совсем недавно, у Военторга, и теперь, какой бы дорогой он ни шел, ему приходилось как минимум дважды, а если не из дома, то нередко и трижды спускаться вниз и опять вылезать наверх.

Перемены? Конечно, перемены, и что до него, то лучше бы их и вовсе не было — не так уж длинна человеческая жизнь, можно было бы, наверное, обойтись и без них. Но что поделаешь? Отныне единственный выход для него — научиться не обращать внимания на все эти переходы, как научился он уже, сам того не осознавая, не обращать внимания на нескладный, будто отгрызанный кем-то угол у бывшего Звонарского переуллка, где когда-то стоял белый двухэтажный дом и в нем, во дворе, — крохотная керосинная лавка, а теперь был пустырь, утыканный чахлыми прутиками, никак не хотевшими расти; как простил он, хотя и не сразу, снос небольшого, но на редкость изящного здания, примыкавшего к Малому театру, и вместо него — новую часть ЦУМа; как пережил он исчезновение бывшей гостиницы «Европа», разваленной чуть ли не в одну ночь, и вместе с ней — исчезновение известного всей Москве

магазина «Чай», как смирился он с новой пристройкой к гостинице «Москва», заменившей «Гранд-отель», куда он лет двадцать, не меньше, ходил стричься в парикмахерскую, и не только с этой пристройкой, но и с непонятно зачем нужным камнем на Манежной площади, и с нелепой башней нового «Националя», и со многим, очень многим другим... Все так. Все это так, конечно... Но что ни говори, а главное-то все-таки осталось: осталась дорога от дома до Моховой, Банк, Большой театр, Госплан, старый «Националь», остались старые здания университета и дворик перед его бывшим ректоратом, где он в студенческие годы после лекций или в ожидании экзаменов сидел и жмурился на солнце, пробивавшееся сквозь листву, и где он и теперь иногда сидит на той же лавочке, отдыхая, если в расписании получалось «окно», — уже немолодой, уже почти что лысый доцент университета, больше двух десятков лет преподающий студентам историю средневекового Китая, отец двух дочерей, последний представитель древней, еще с екатерининских времен русско-немецкой фамилии, чудом уцелевшей до сих пор вопреки всему.

Так. Все так, конечно... Только вот чем дальше, тем холоднее, длиннее становится эта дорога. Все-таки раньше, до всех этих перемен, она такой не была...

Сложив зонт и с силой тряхнув его, чтобы сбить последние капли дождя, весь день шедшего вперемежку с мокрым снегом, он толкнул тяжелую, с толстыми стеклами дверь и вошел в вестибюль. И сейчас же привычное тепло библиотеки, комфорт, тишина, привычные запахи и приглушенные, будто сквозь вату, голоса приняли его, оттеснив куда-то дождь, и темноту, и суету вечерней Москвы, быстро-быстро, не задерживаясь, разбегавшейся после работы по своим норам и закуткам. Скучающий милиционер дружелюбно, как всегда, кивнул ему, и так же дружелюбно, по-домашнему улыбнулась, узнав его, старушка, проверявшая, сидя за столом под низенькой зеленой лампой, пропуска, и еще кто-то из персонала поздоровался с ним, когда он медленно, не торопясь, поднимался по длинной, устланной ковром лестнице наверх, на второй этаж. Там, на выдаче, ждала его стопка еще вчера отложен-

ных для него книг, и там же в небольшом тихом зале, где редко бывали случайные люди, ждал его стол, уже давно признанный всеми как бы его собственностью, и там, он знал, никто и никогда не посмеет чем-то потревожить его, чем-то помешать, да, наконец, даже просто напомнить ему, что помимо этого зала существует еще и иная жизнь.

Пригнув пониже лампу, тоже зеленую, так, чтобы свет падал строго перед ним, он начал потихоньку разбирать взятые книги — часть из них была записана за ним еще раньше, другие же поступили только вчера. Это был заказ, которого он давно ждал: две книги из Института востоковедения, из Ленинградского его отделения, одна из Библиотеки иностранной литературы и еще две из Фундаментальной библиотеки общественных наук. Надо сказать, что и в этом тоже Горт был верен себе: он не любил никуда ходить, кроме этого зала, и предпочитал ждать, пусть иногда и долго, пока нужные ему книги пришлют из других библиотек, только чтобы не ходить туда самому. С журналами же и вообще было просто — почти все они были всегда здесь, под рукой, да, по правде говоря, особой надобности в них и не ощущалось, по крайней мере в последние годы: кандидатская диссертация написана, вторую, докторскую, уже ясно, он не будет писать никогда, а раз так, то зачем ему все эти мелочи, детали, которыми обычно заполнены специальные журналы? Надо смотреть правде в глаза, возраст есть возраст, мозговые кладовые не беспредельны, нет никакого смысла забивать их под старость всякой ерундой. Эту ли идею предположительно включил Конфуций в свой исчезнувший трактат о музыке или у него была какая-то другая, в такой же степени предположительная мысль? Этим ли путем пришли дикие орды киданей в один из очередных своих набегов в эпоху пяти династий, десяти царств, или они напали с другой стороны? Он, Горт, не исследователь, он преподаватель, курс его сложился уже давно, многие годы назад, и в тех рамках, которые ему отведены, дай бог хотя бы главное-то успеть сказать ребятам, тут уж, что называется, не до мелочей.

Ах, эти мелочи, мелочи... Эти якобы важные детали, на самом деле не нужные никому... Сколько же крови, сколько нервов они стоили и стоят ему... Вот уже около

пятнадцати лет он все свое свободное время тратит на переводы из старой китайской и старой японской поэзии, и все эти пятнадцать лет он пытается избавиться именно от деталей, от мелких провинциальных частности, от всего этого исторического и географического хлама, который не привлекает, а лишь отлугивает читателя, тем более читателя, не имеющего ни малейшего представления о тех давно ушедших временах...

Господи, неужели не ясно? Неужели никому, кроме него, это не ясно? Такая ведь простая, такая бесспорная мысль... Зачем, скажите на милость, отвлекать внимание человека сносками и комментариями, раздражать его какими-то давно исчезнувшими собственными именами или названиями мест, которых уже и в помине нет и которые сплошь и рядом ничего не говорят даже образованному китайцу или японцу, не говоря уже о других? Или если и говорят, то не имеют никакого касательства к делу и только лишь затемняют кристально чистую во всех других отношениях мысль? Вот, кстати, пожалуйста, полюбуйтесь, только что вышел перевод из Оуян Сю:

*— Как ляодунский аист, я,
Закончив перелет,
Вернулся и дивлюсь всему,
И вот — не узнаю
И этот город, и людей...
Да разве кто поймет,
Что здесь когда-то я провел
Всю молодость мою?*

Неплохой вроде бы перевод, не правда ли? Но, во-первых, как же так можно: «закончив перелет»? Это что, Блерио? Или Чарльз Линдберг? Это же аист! Аист, черт возьми! Черно-белый аист с красным клювом... Понимаете? Птица! Птица же, не самолет... Но если подумать, то даже и это не главное. Главное — при чем тут, скажите, «ляодунский»? Что это говорит мне, русскому читателю? Ничего. Ровным счетом — ничего! И более того, одно такое ненужное историческое или географическое уточнение — и все, и великая

вещь сведена к чему-то глубоко провинциальному, мелкому, имеющему отношение только к тем людям, которые живут где-то там, где этот Ляодун, и не имеющему отношение ко мне, к тебе, ко всем нам, кто живет не тогда, а сейчас, и не там, а здесь. В лучшем случае получается, что это только курьез, раритет, но уж никак не сегодняшняя мысль...

И вообще, как вы считаете: имеет ли право переводчик на свои коррективы, оправданные временем и величиим той общечеловеческой, хотя и чужой мысли, которую он пытается донести до сегоднешнего дня? Имеет? Если отмерять от Пушкина — то да, конечно, имеет. Пушкин вон даже на Горация замахнулся, перекроил его, как хотел, и ничего, никто в его адрес никаких обидных слов по этому поводу не говорит. Ну а если это не Пушкин, а я, Александр Иванович Горт? Человек, имеющий достаточную профессиональную подготовку и тоже не лишенный чувства слова? Почему я не имею права на то же самое?..

Почему, почему... Спросите у тех, по чьей вине уже восьмой год лежит в издательстве мой сборник из старых китайских поэтов... Они вам скажут, почему... Я, видите ли, совершаю насилие над ними, я позволил себе убрать из них все эти названия местечек, уездов, городов, все эти фамилии ничтожных провинциальных чиновников, по какой-то причине вклинившихся в их жизнь когда-то, больше тысячи лет назад... Но, честное слово, кому какое сегодня дело до этих бывших некогда уездов или имен их начальников? Разве в них суть? Суть в том, что и Тао Юань-мин, и Ли Бо, и Ду Фу, и Бо Цзюй-и, за исключением этих никому не нужных частностей, — это, дорогие мои, наши современники, более того — они не чужие, они, смею сказать, наши с вами соотечественники: слава богу, они и сегодня живут среди нас, и они учат нас не вчерашнему, а сегодняшнему, и если хотите знать — то даже не сегодняшнему, а будущему, потому что человек в массе своей еще не дорос до них, и неизвестно, сколько еще пройдет веков и тысячелетий, прежде чем он до них дорастет...

Нет, с японцами все-таки легче, они не так любили привязывать свои мысли и ощущения к географии или к какому-нибудь конкретному лицу. Писали просто, что

видели и что думали... Если дождь, то он дождь, у всех народов и при всех правителях, если снег, то он всегда снег, если человеку холодно, неприятно одному в пустом доме, то ему в нем неприятно всегда и везде, так было, так есть и так будет во веки веков... И именно поэтому пойдй-ка купи сейчас мою книгу переводов из них: небось на толкучке на Кузнецком мосту или у памятника Ивану Федорову она теперь стоит рублей пятьдесят, не меньше, а номинал всего-навсего рубль... Да-да, не меньше пятидесяти... И то еще попробуй найди...

Вздохнув, он откинулся на спинку стула, вытянул перед собой руки, сжатые в кулаки, и закрыл глаза... Прислушавшись, можно было различить в тишине чьето сухое старческое покашливание в углу, шорох переворачиваемых время от времени страниц, мягкие, будто крадущиеся шаги за спиной — мимо, к дверям, по ковровой дорожке в проходе у стены. Потом, если немного подождать, в зале раздавалось низкое нарастающее гуденье, толстые стекла в окнах начинали дрожать и дребезжать, все громче и громче — это машины, скопившиеся внизу, у перекрестка, срывались все разом с места, набирая скорость по прямой от Манежа до поворота к Большому Каменному мосту. Проходило десять-пятнадцать секунд, рев их стихал, и в зале опять устанавливалась тишина — до следующей перемены светофора там, на углу.

Странное дело! Вот и люди сидели здесь, рядом с ним, всего на расстоянии локтя, и машины гудели за окном, и двери иной раз хлопали, пущенные небрежной рукой, и даже очень громко, а все-таки здесь он был больше один, чем в любом другом месте, включая и собственный дом. Никому здесь не было до него никакого дела, и стоило только поближе придвинуть стул и зажечь лампу, как сейчас же вокруг него устанавливался прозрачный, но непроницаемый колпак, и под ним был только он со своими книгами, а все остальное, то, что двигалось, скрипело, шелестело страницами за спиной, — все это было там, далеко, и никоим образом не касалось его... Проходило совсем немного времени, и под этим колпаком, под падающим на поверхность стола светом оживали важные, церемонные

китайцы в длинных одеждах; медленно, заливая все вокруг серебристым светом, всходила луна; покачивались на темной глади озера длинноносые лодки; ветерок пробежал по ивам; слышался далекий стук вальков, женский смех, жалобный крик цапли на скошенном лугу...

Сколько же он просидел так, в этой тишине? Сколько? Если говорить именно об этом зале, то лет двадцать — с тех пор как стал преподавать. А вообще? А вообще — всю жизнь... По крайней мере, всю свою сознательную жизнь... Это было... Когда это было? Когда он впервые пришел в детский филиал этой библиотеки, помещавшийся тогда на углу, напротив уже не существующей теперь аптеки, в левом крыле баженовского здания? В сорок седьмом? Да, в сорок седьмом. Ну вот, с тех пор он сидел и сидит здесь, только залы менялись: сначала детский, потом студенческий — большой, высокий, с балюстрадой, некогда главный зал Румянцевской библиотеки, потом общий зал здесь, потом этот, научный, где он и сейчас сидит и откуда, наверное, его когда-нибудь и вынесут вперед ногами... Если, конечно, еще раньше ничего очень уж неожиданного не произойдет.

Почему здесь, почему не у себя дома? Трудно сказать почему... Начиналось, конечно, из-за книг: то, что он мог найти здесь, ни дома, ни у друзей, ни в каком-либо другом месте достать тогда было невозможно, никакого другого выбора просто не существовало, и потому даже вопроса тогда не возникало и не могло возникнуть: идти или не идти? Конечно же, идти — какой может быть разговор... В детстве это были «Одиссея капитана Блада» и «Королева Марго», в юности, в студенческие годы, — Дос Пассос, Андре Жид, Олдос Хаксли, Фейхтвангер, Хемингуэй, из русских — Достоевский и Лесков, потом пошли Пруст, Гамсун, Томас Манн и наши: Зошенко, Булгаков, Платонов, Олеша (его «Зависть» тоже переиздали, кажется, только в 60-х годах) — да мало ли кто? Потом наступила очередь профессиональных книг...

Но все это было давно, очень давно. Вот уже почти два десятка лет он имеет право брать книги на дом и все-таки практически не пользуется им: так только, иногда, когда очень хочется взять что-либо с собой в отпуск, но и это не

часто, потому что в отпуске он обычно не читает ничего, кроме чепухи... Нет, теперь уже дело было не в книгах, вернее, не только в них. И не в том, что здесь у него был стол: дома тоже был стол, и даже, наверное, более удобный, чем этот, и была такая же, только под шелковым абажуром, зеленая лампа, и была своя библиотека, и было кресло, в котором можно утонуть с головой и с ногами и в котором он, если нездоровилось или очень уж тяжело было на душе, случалось, иногда даже и засыпал под теплым пледом, вроде как бы затаившись и спрятавшись от всех. И тишина тоже была в доме: в его кабинет, он же гостиная, без крайней надобности, особенно когда он работал, никто из домашних обычно не входил... И все-таки почти каждый вечер он шел сюда, дождь ли, снег ли, жара — все равно... Нет, привычка есть привычка. Когда тебе почти пятьдесят, начинаешь понимать, что это такое. Так сложилась жизнь — иной она, наверное, и не могла быть...

А, да хватит... Хватит, Александр Иванович. Шабаш... Полчаса небось сидишь, как пень, уставившись в одну точку... Почему здесь, почему не там... Привычка, не привычка... Могла ли жизнь быть иной, не могла... За годы целые, за десятилетия не удалось ничего решить, так не в один же присест... Хватит, кончай. Пора наконец приниматься и за дела...

Еще вчера, пытаясь как-то поудачнее переложить на русский язык одно коротенькое, всего в две строфы, стихотворение, которое, однако, уже прожило среди людей без малого две тысячи лет и, надо думать, еще проживет не меньше этого, он стал в тупик. Если идет снег, густо, снежинка к снежинке, то как лучше сказать: замедляет он время, и землю, и всякие следы жизни на ней или засыпает их? «Замедляет» — это точно, энергично, без всякой надежды на обратный ход, но вместе с тем есть в этом слове явные признаки метели, вихря, резких порывов ветра, а мысль в стихе, наоборот, спокойная, тихая — падает снег и падает, покрывает землю, и все исчезает под ним... А «засыпает» — несколько двусмысленно по звуку, не сразу поймешь, что это, снег или сон, но зато при этом слове происходит все медленно, неспешно: снег сыплется с неба, и ничего, кроме него, не видно вокруг, и невольно

представляешь себе поле или степь под снегом, похоронившим под собой все — и могилы, и жилье, и самих людей... Вчера он так и не решился на этот выбор, а выбирать нужно было — иначе дело дальше не шло.

Но работать сегодня, хоть убей, не хотелось, как он себя ни убеждал. Возможно, причиной тому было легкое недомогание, не отпуславшее его еще со вчерашнего вечера... А может быть, и иное что... Нет-нет, было, несомненно, и еще что-то, что произошло с ним именно сегодня, по дороге сюда, в библиотеку... Но что? Мокрый снег на улице? Слякоть? Переходы? Толпа, спешащая в метро?.. Нет, наверное, все-таки не это... А, вот оно... Вот оно, наверное, что... Наверное, именно эта, так ясно вдруг возникающая где-то еще по дороге от дома мысль, что чем дальше, тем труднее и холоднее ему сюда идти... Возраст, Александр Иванович. Возраст... Или перемены... Или... А, да какая тебе в конце-то концов разница — что...

В памяти всплыл тот мокрый, холодный октябрьский день, когда он впервые пришел сюда: робкий, насупленный мальчик в очках, худой, нескладный, долговязый, в аккуратной синей курточке, перешитой из отцовской толстовки, в стоптанных, забрызганных грязью ботинках, которых он тогда, помнится, ужасно стеснялся — до того они были нехороши... На лестнице, выгибаясь с нижнего ее пролета на верхний, стояла терпеливая очередь — мальчики и девочки разного возраста, в основном постарше его; все говорили почему-то полупшепотом и напряженно, задрав головы, всматривались вверх, в высокую двустворчатую дверь с массивной бронзовой ручкой, ожидая, когда она откроется, чтобы выпустить кого-нибудь из зала, после чего всем можно было сделать еще шаг на ступеньку выше — пускали по одному. На площадке между пролетами, где очередь делала изгиб, стояла толстая мраморная колонна с бюстом какого-то античного мыслителя, к ней можно было прислониться спиной, еще и сейчас он ощущал холод ее мрамора на своих ладонях — в помещении было тепло, даже жарко, и, кроме того, он очень волновался тогда: что-то его ждет там, за этими высокими дверьми? Наконец подошла и его очередь: собравшись с духом, он нажал на тяжелую, плохо

поддающуюся бронзовую ручку, дверь, скрипнув, приоткрылась, створки ее разошлись, и он перешагнул порог. Помнится, войдя, он на мгновение задержался у дверей, не зная, куда идти: глаза не сразу привыкли к мерцающему, тусклому свету люстр под потолком, и первое время он видел только высокие, вдоль всего зала, книжные стеллажи по стенам, окна под белыми волнистыми шторами, длинные столы, двери еще одного зала впереди... Кто-то — вероятно, дежурная — тронул его за рукав и указал на стол у правой стены, в углублении между перилами, отгораживавшими стеллажи от зала: там, сообразил он наконец, и была выдача книг. А дальше... А дальше всего несколько минут — и он уже держал в руках нечто такое, во что он просто не верил, что это существует на самом деле, а не в воображении кого-то из его приятелей, кто недавно под секретом, шепотом, как большую тайну, сообщил ему, что такая — «во закачаешься, честное слово говорю тебе, запрещенная...» — книга есть: кажется, это был «Вечный жид» Эжена Сю.

Ему было тогда уже пятнадцать лет, он учился в восьмом классе, учился легко, не надрываясь, и времени у него было более чем достаточно, чтобы проводить все вечера здесь. Привлекали не только книги: привлекала таинственность, какая-то избранность этого маленького мирка, так непохожего на шум, грязь, матерщину, бессмысленную жестокость той первой половины дня, которую он вынужден был отбывать в школе, в Колокольниковом переулке на Трубной — одном из самых трущобных районов старой Москвы. Здесь же, в библиотеке, никто никого не притеснял, не задевал, не показывал чугунные кулаки, здесь читали, думали и даже если разговаривали, то только шепотом, чтобы не мешать другим, и здесь, рядом, так, что можно было коснуться незаметно локтем или притронуться под столом ногой, сидели тихие задумчивые девочки в черных передниках и белых отглаженных воротничках, и на каждую из них можно было долго смотреть, не отрывая глаз, пока она не замечала этот взгляд, но и потом тоже можно было смотреть, но уже только изредка, украдкой, будто невзначай. И здесь же, в самостийной курилке в туалете, куда надо было взбираться по крутой желез-

ной лестнице, можно было часами стоять, привалившись спиной к выкрашенной масляной краской стене, и сквозь дым, вертя в пальцах пока еще непривычную сигаретку, вытащенную из желтой пачечки под названием «Дукат», слушать, о чем говорят серьезные, солидные, уже выдавшие виды десятиклассники: о политике, о только два года как закончившейся войне, о футболе, об артистах — обо всем.

Особенно много тогда еще говорилось о войне. Помнится, он молча, про себя, очень гордился тем, что, судя по разговорам, он был здесь одним из немногих, кто прожил войну не в эвакуации, а с первого до последнего ее дня в Москве. И если бы его спросили, он бы, конечно, многое мог бы рассказать им и о воющих, изводящих душу сиренах по ночам, об аэростатах в черном небе, и о панике 16 октября сорок первого года, когда Москва осталась фактически без власти и тронулась бежать, и о темных окнах, крестнакрест заклеенных белыми полосками бумаги, о холоде в домах и о крысах, выбегавших иной раз даже при людях на середину комнаты, и о вкусе лебеды, из которой летом сорок второго года мать иногда варила щи, и об однажды потерянных им карточках на хлеб на целых полмесяца, и о шеренгах пленных немцев на Садовом кольце, и о том, как мать плакала, как прижимала его к себе в тот день, когда открылось, что отец, оказывается, не погиб, не пропал без вести, как считалось почти целый год, а жив, здоров и опять в строю... Многое бы мог он рассказать этим важным, самоуверенным десятиклассникам, но они не спрашивали его, а самому ему встречать в их разговоры было неловко, ему хватало и того, что он здесь, среди них, в курилке, в библиотеке — если не совсем на равных, то почти...

Но самым главным были, конечно, книги — бездна книг: то порывистые, цепкие, перехватывающие дыхание, закрученные так, что до самого конца невозможно понять, кто злодей и кто кого убил, — ах, как трудно было в десять, по звонку, бросать такую книгу на полуслове и идти домой спать! — то, наоборот, медленные, неторопливые, шаг за шагом втягивавшие тебя вглубь, в чужую неведомую жизнь, где люди говорят, думают и делают не то, что каждый день

говоришь, думаешь и делаешь ты, и не только ты, но и все, кого ты знаешь вокруг, и где от одних только названий мест и городов туманится голова и слипаются, слепнут, не выдерживают глаза... Стамбул, Сринагар, Бенарес, Мандалай, Гонконг... Наверное, оттуда, от тех еще лет и пошел его интерес к Востоку: дома знали английский, он уже и тогда читал на нем, и первое, что помнилось ему от тех времен, это был Киплинг — «Ким». Ничего конкретного сейчас, уже, конечно, не вспомнишь из этой книги, а вот ощущения тех дней остались: выжженная солнцем дорога, пыль, буйволы, запряженные в повозку, молчаливая толпа паломников в белых дхоти, голая бронзовая спина какого-то старика со шнурком на шее, утро, синее небо, снежные горы вдали...

Однажды (это было, наверное, уже спустя год, как он начал ходить сюда) напротив него, через стол, села явно впервые появившаяся здесь девочка с толстой черной косой, смуглыми скулами, большущими глазами под торчащими во все стороны ресницами и пухлым, полуоткрытым ртом. Одета она была в мягкий коричневый свитер, высоко, под подбородок, облежавший ее шею; на груди, в только-только что обозначившейся ложбинке, поблескивала какая-то маленькая побрякушка, руки были длинные, тонкие, на безымянном пальце — серебряный перстенок, у запястья выглядывал кончик кружевного платочка, воткнутого под рукав... Так здесь тогда еще не одевались, время было не то: большинству его сверстников и сверстниц приходилось тогда думать не о нарядах, не о платочках — о драных локтях. Усаживаясь, она посмотрела на него, чему-то улыбнулась и сейчас же уткнулась в книгу, положив руку с зажатым в ней игрушечным карандашиком на цепочке поверх стопки тетрадей, а другой, левой, подперев подбородок: он видел только опущенные ресницы, матовый лоб и тонкий пробор, разделявший волосы пополам. Но через какое-то время он вдруг обнаружил, что и она тоже смотрит на него — украдкой, мельком, тут же отводя глаза, если он перехватывал ее взгляд, но при этом сохраняя на губах легкий след все той же улыбки, вряд ли предназначенной именно ему, но, казалось, среди всего прочего имевшей какое-то отношение и к нему тоже, и это продолжалось до тех пор, пока один

раз взгляды их не встретились прямо, глаза в глаза, и тогда она улыбнулась уже именно ему, просто, дружелюбно, как давнему приятелю, — так ему не улыбался еще никто. Помнится, он тогда почувствовал, как предательская краска поползла у него вверх по лицу, заливая скулы, щеки, лоб, кожу у корней волос, и, конечно, не выдержал — первый опустил глаза...

Когда, уже после звонка, он оказался у нее за спиной в очереди в гардеробе, она обернулась и, глядя на него через плечо, снизу вверх, так, что ресницы ее, дрогнув, чуть приподнялись — он был заметно выше нее, — спросила:

— Как вас зовут?

— Саша...

— А меня Леля... Вы, наверное, часто ходите сюда? Представляете, а я сегодня в первый раз...

Они пошли вместе: мимо аптеки, мимо Александровского сада, по казавшемуся тогда безмерным по своей широте Большому Каменному мосту, потом спустились в конце его к скверу на Болотной площади, пустому и темному в этот час, но в него не свернули, а перешли на другую, светлую сторону, посмотреть, что идет в «Ударнике», потом наискось — тогда москвичи ходили по улицам, кто как хотел, — вернулись назад, перешли через Мальй мост, пошли по кривой, тускло освещенной Кадашевской набережной и, не доходя до ее поворота к Балчугу, через Лаврушинский переулочек, мимо Третьяковки и серой громады писательского дома вышли, повернув налево, на Ордынку: там, недалеко от церкви, стоял старый купеческий особняк с колоннами, двумя белыми флигелями и уже облетевшим, устанным листьями садиком во дворе — в этом доме она и жила. Она была мила и ласкова с ним, расспрашивала, как он жил, что читал, куда любил ходить, рассказала кое-что и о себе, но задерживаться у подъезда не стала — пожала ему руку на прощанье и сейчас же скрылась в дверях: он только видел сквозь стекло, как с полутемной лестницы, удивившей на второй этаж, она еще раз обернулась и помахала ему рукой.

Домой он возвращался через Москворецкий мост. Было преддверие праздника. Зубцы Кремля, башни, фасад ГУМа были очерчены рядами ярких белых лам-

почек, справа же, напротив мрачного, темного Зарядья, горел МОГЭС — россыпь его огней раскачивалась, дробилась, переливалась в черных водах Москвы-реки, медленно и тяжело уходивших под мост. Безлюдье на улицах, редкие машины, огни, пустой трамвай, спешащий в парк, — да много ли надо было ему тогда, в шестнадцать лет, чтобы почувствовать себя счастливым? Конечно, это только сейчас, под грузом прожитых лет, понимаешь, что то, что было тогда, это и было счастье. Но и тогда — разве и тогда он что-то похожее не ощущал?

Ах, как легко, светло было у него в тот вечер на душе, как мелодично звучал в ушах ее голос, как долго длилось в ладони прикосновение ее руки, и какими, наконец, мелкими, ничтожными казались все эти его обиды и неудачи, еще вчера только, еще сегодня даже, до этой встречи, отравлявшие его жизнь и по временам вгонявшие его в такую мрачную и, как всерьез думалось тогда, такую безысходную хандру... На Петровке, на катке, он был если не последним, то одним из самых последних, потому что ноги, как он ни бился, никак не слушались его. Так что из этого? Ведь научился же все-таки, не падал, не уставал, катался, сколько хотел, ну а то, что другие вокруг него закладывали виражи, чуть не касаясь рукой льда, а он ничего этого не мог, — разве это так уж было важно, в конце-то концов?.. Не умел и не любил драться? Но и это тоже было уже в прошлом. Теперь, к концу школы, как-то так получилось, причем само собой, без особых усилий с его стороны, что ни у кого — ни в классе, ни на улице — не поднималась рука ударить его. Да и тогда уже, в шестнадцать лет, он смутно чувствовал, что время лидеров тех детских лет — утрюмых силачей из подвалов и высокомерных вундеркиндов, щелкавших лубые задачки, как орехи, — уже уходит и уйдет очень быстро, что дальше они обречены на то, чтобы уступить свое место другим, кто силен чем-то иным, не силой и не блеском, а вот чем — тогда, по крайней мере, он бы не смог сказать, да, признаться, вряд ли смог бы сказать и сейчас... Школа? Образ Онегина, образ Печорина? Положительные черты, отрицательные черты, вызывавшие у него лишь зубную боль и больше ничего? Неприязнь к педагогам и их ответ-

ная неприязнь к нему, колючему, резкому, не прощавшему им в своей детской нетерпимости ни убогого языка, ни боязни начальства, ни плохо скрытой радости при мелких подарках и подношениях? Но ведь и здесь, если подумать, тоже не все было так скверно, как иногда казалось: в сущности, все они были неплохие люди, большинство из них искренне любили и школу, и своих ребят, но и их тоже задавила жизнь — нужда, нищенская зарплата, сорок человек в классе, горы тетрадей по вечерам, какие-то комиссии, методисты, инспектора или кто там тогда они были, неизвестно кто...

Что еще? Вечный страх в доме? Молчаливая, затаенная тоска, скрываемое, но тем не менее ясное для всех ожидание стука в дверь ночью, разговоры шепотом, под отключенный телефон? Что ж, и отца, и мать можно было понять. Поднималась новая волна арестов, в их доме несколько семей уже взяли, и отец, каким бы крепким характером он ни обладал, не мог, естественно, чувствовать себя спокойно: он был военный инженер, имел дело с приемкой оборудования по репарациям, неоднократно выезжал в Австрию, в Германию, а тогда это было уже само по себе если не криминалом, то, по крайней мере, нечто весьма настораживающим, да и фамилия Горт по тем временам была далеко не из лучших... От тюрьмы и от сумы не зарекайся — тоже ведь русская мысль, тысячелетняя мысль, и неспроста она родилась именно у нас...

Но для него, для мальчишки в шестнадцать лет, разве этот страх был таким уж всепоглощающим, разве он не оставлял места ни для чего другого? Нет, этот страх был далеким, расплывчатым, он касался других — родителей, друзей родителей, соседей, — но он не касался его самого, его жизни, его мыслей, направленных в ту пору, по естественному детскому эгоизму, почти исключительно на самого себя. Этот страх не мешал ему читать, ходить в библиотеку, бегать на каток, нести в классе любую ахинею, какая только взбредет в голову, не важно, про политику или про что другое — в крайнем случае двойка за ответ и больше ничего, дружить с товарищами, болеть за «Спартак»... и разве он, страх, мешал ему любить — уже

любить! — эту девочку, которая, как ангел с небес, вдруг возникла перед ним и отныне и навсегда, в этом не могло быть никакого сомнения, вошла в его жизнь?

Каждый вечер теперь после звонка они уходили из библиотеки вместе, бродили по набережным, по улицам, бродили долго, даже если шел дождь или мокрый снег — кто когда в их годы обращал внимание на такую ерунду? Он нес, перекинув через плечо, ее кожаную планшетку с тетрадками, изредка она брала его под руку, и тогда ему приходилось принаравливаться к ее шагу, это было трудно, непривычно, но это было восхитительно, голова его кружилась, сердце замирало, и он мысленно молил ее не убирать руку, повисеть еще немного у него на локте — ну, вот до того угла, до того серого дома, а если можно, то и дальше, хотя бы до конца улицы, вот до того перекрестка, где горят сразу три фонаря... Каждое прикосновение ее плеча, ее бедра — случайное или нет, не все ли равно? — как током пронизывало все его существо, он замолкал, терялся, потрясенный этим новым для себя ощущением, и всякий раз ему нужно было время, чтобы проглотить неизвестно откуда взявшийся комок в горле, а когда потом, краснея и запинаясь, он опять начинал что-то бормотать — что-то в высшей степени невнятное и невразумительное, нужное только, чтобы не молчать, — она незаметно вытаскивала у него руку из-под локтя и чуть-чуть отстранялась: видимо, она уже и тогда вполне понимала это его состояние и не хотела его зря дразнить.

Конечно, в каком-то смысле он был взрослее ее, но именно в каком-то смысле: больше думал, больше знал, больше читал, но, как довольно скоро обнаружилось, это было далеко не все. В ее взгляде, брошенном вскользь на кого-нибудь встречного — это мог быть не только юноша, но и человек уже в годах, — вдруг вспыхнуло что-то, сверкнуло и сразу потухло, прикрытое опустившимися вниз ресницами; в повороте ее головы, когда она проходила мимо большого, в рост, зеркала, висевшего в вестибюле библиотеки; в той мягкой, ускользающей лжи, на которой он ее иногда ловил, когда, случалось, не очень ловко пытался у нее узнать, где она была вчера, почему не пришла, что она

делала и вообще чем она жила без него, — лжи не ради лжи, а затем, чтобы пощадить, не огорчать его; в ее манере подавать руку на прощанье: маленькая леди, а он ее паж, — во всем этом чем дальше, тем больше ему чудилось какое-то снисхождение к нему, терпеливая благожелательность взрослого к симпатичному, но беспокойному и, что греха таить, иногда даже назойливому подростку, от которого, может быть, и надо бы отделаться, пока не поздно, но уж больно не хочется его обижать... Иногда в знак протеста он пытался хмурить брови, напускать на себя значительность, даже суровость — это, однако, не помогало никак, наоборот, только вызывало у нее улыбку, а то и смех, и тогда ему делалось стыдно за самого себя, он замолкал, отдалялся от нее, и так продолжалось до тех пор, пока она, наскучив его горестным видом, не дергала его за рукав и не прижималась к нему:

— Перестань. Перестань дуться. Ты большой, нескладный и очень милый ребенок. Мне хорошо с тобой...

Однажды — это было уже весной — она пригласила его к себе: он кое-что понимал в марках, и она давно хотела показать ему свою коллекцию, оставшуюся еще от родителей. И мать, и отец ее исчезли перед самой войной, ее вырастила тетка, иногда Леля вспоминала про них, но как-то робко, нехотя, все больше по каким-то крохотным детским пустякам, вдруг замолкая на полуслове, как будто, чуть дав волю памяти, она тут же наталкивалась на некий невидимый барьер, за которым о них уже нельзя было говорить, — нет их, и все.

Она жила в большой коммунальной квартире с длинным коридором, уставленным разошедшимися шкафами и всякой рухлядью, со сводчатым потолком, прокопченными стенами, единственной тусклой лампочкой над головой и тяжелым, застойным запахом общей кухни, который нельзя передать никакими словами, но который до самой своей смерти будет помнить каждый, кто когда-нибудь в таких квартирах был и тем более жил. Чтобы попасть к ней в комнату, надо было пройти весь этот коридор из конца в конец — тем поразительнее было то, что он увидел, когда она, пропустив его немного вперед, от-

крыла перед ним дверь, снаружи такую же обшарпанную, как и те, мимо которых он только что проходил.

Когда-то, наверное, это была зала: огромная, метров в сорок-пятьдесят комната, полукруглое, задернутое кисейными занавесками окно, лепной потолок, низко висящая массивная люстра венецианского стекла, белый с золотом концертный рояль в углу и на нем ноты на подставке и два старинных бронзовых канделябра, тяжелые кресла, резной, в фигурах книжный шкаф с зеркальными дверцами и овальный, покрытый бархатной скатертью с кистями стол и вокруг него высокие стулья с прямыми спинками, на стенах картины — хоровод нимф, итальянские пейзажи, какая-то дама в напудренном парике... В кресле сидела пожилая полная женщина в пенсне и в темном платье с косым, неглубоким вырезом на груди, отделанном кружевами и заколотом брошью с крупным камнем. Когда они вошли, она положила книгу на ручку кресла и встала им навстречу: помнится, он тогда подумал, что так, в рост, она была похожа не на Лелину и вообще на чью-нибудь тетку, а скорее на некий монумент, установленный здесь кем-то еще с императорских времен. Как выяснилось потом, тетка была долгие годы преподавателем консерватории и знала на своем веку много интересных, тогда еще не забытых людей: если память ему не изменяет, у нее где-то даже висел портрет Неждановой с ее автографом, подаренный еще в 20-х годах. Она была отменно вежлива с ним, говорила ему «вы», даже зачем-то спросила его отчество, усадила за стол, поила чаем с вареньем и, по-видимому, была искренне рада, когда он похвалил какое-то удивительно вкусное печенье, так и таявшее во рту, которое, как оказалось, она испекла сама, говорила с ним о книгах, расспросила его о семье, приглашала приходить еще... И все-таки и в тоне ее, и в том, как она смотрела на него, и даже в том, как она была внимательна за столом — передаст чашку или блюдечко с вареньем и смотрит, что он будет делать с ними дальше, — ему сразу же почудилась та же самая благожелательная снисходительность, которую он так болезненно переживал, когда чувствовал ее в отношении Лели к нему... Как, почему он так решил — теперь уже, конечно, не ска-

жешь, но, помнится, он тогда ушел с твердым убеждением, что тетка оценила его весьма невысоко. Он так и видел, как, закрыв за ним дверь, она опять грузно опустилась в свое кресло, опять взяла книгу, но не раскрыла ее, а положила на колени и на минуту задумалась и потом, вздохнув и не поворачивая головы, через плечо, сказала Леле, прибиравшей в этот момент со стола, сказала тихим, скучным голосом, как про факт, который сам по себе был так мелок, что вообще-то и не стоило про него говорить:

— Нет, Леля, не то... Как знаешь, но, по-моему, не пара... Я имею в виду, конечно, тебе...

Спустя недели две или три после этого визита, в субботний вечер, они с Лелей, сдав книги, вышли на улицу, как всегда, вместе: она была в легком светлом платье и в туфельках на каблучках, помнится, он еще подшучивал над ней, что до дома ей в них ни за что не дойти — придется ему ее нести. Сгущались майские сумерки, фонари еще не зажигали, но в домах напротив уже горел свет, мостовая была только что полита, пахло свежестью, тротуары и дома, прогретые за день солнцем, дышали теплом, особенно ощутимым после мраморной лестницы и толстых стен библиотеки, где всегда было прохладно после того, как переставали топить. Знаменка была пуста. Впрочем, не совсем: чуть в стороне, прислонившись спиной к водосточной трубе, стоял человек в военной форме и смотрел на них — судя по погонам, это был курсант какого-то военного училища, или, как тогда говорили, «спец». Что-то в этом курсанте сразу насторожило его: может быть, потому, что Леля вдруг, прямо у дверей, прижалась к нему и повисла на его локте так, как еще ни разу не висела до сих пор, — будто ноги ее сразу стали ватными и не могли идти. Они успели сделать только несколько шагов, как курсант отделился от стены и подошел к ним: он был строен, подтянут, на груди его поблескивали какие-то спортивные значки, взгляд, однако, был тяжел и неприятен — сколько уже прошло времени, а он и сейчас еще ему помнится, этот взгляд...

— Добрый вечер... Леля, я могу вас попросить на минуточку? Два слова...

О чем они говорили — он не слышал, и говорили они вроде бы недолго и даже не очень оживленно, но после этого к нему подошла иная Леля — притихшая, прячущая от него глаза:

— Саша, не надо меня сегодня провожать. Сегодня я не могу. Я тебе завтра позвоню...

Но она не позвонила ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю — она позвонила лишь через три, нет, если быть точным, то почти через четыре года, когда он уже кончал третий курс. Сам он тоже не звонил, хотя, признаться, не раз набирал ее номер, но только до последней цифры — ее, эту последнюю цифру, он так и не решился за все эти годы набрать...

Как же было жаль ему тогда себя, какой несправедливой казалась вокруг жизнь, сколько вечеров он провалялся у себя в комнате, на диване, отвернувшись носом к стене... И в библиотеку он тоже не ходил, а если и заставлял себя встать и пойти, то всякий раз возвращался назад с полдороги. Удивительно, каким мучением для человека могла стать обыкновенная московская улица Неглинка, тысячи раз исхоженная из конца в конец, каким зловещим мог казаться тогда свет убогих, тускло подсвеченных изнутри витрин Петровского пассажа, у которых он обычно и застревал, уже точно зная, что дальше этих витрин ему не дойти, какими невероятно черствыми, даже жестокими могли быть вокруг люди — улыбающиеся, довольные собой, спешащие туда, где их ждут, абсолютно безразличные и к нему, и к тому, что с ним произошло... Эх, дурак ты, милый, дурак... Уж если и был кто тогда счастливым на всей этой Неглинке, так это, братец мой, ты... Тебя-то жизнь не обнесла, ты-то любил, мучился, переживал, и не из-за куска хлеба, не из-за копейки, не из-за житья в коммунальном аду, когда хоть повисни на крюке, выхода нет и не будет никогда, — из-за великой причины переживал! А скольких их, других, судьба обделила, обнесла так, что оглянись назад — и не было-то, по существу, в жизни ничего: ни слез, ни улыбок, ни волнений, да и горя-то большого тоже не было... Так только, дым один да суета. Изо дня в день...

Но однажды он, уже под конец десятого класса, все-таки пересилил себя, дошел до места, где Волхонка сливалась с Моховой, и с этого дня началось выздоровление. Он опять сидел вечерами в библиотеке, опять читал книги, опять решал в курилке мировые проблемы с такими же вихрастыми, взбудораженными, как и он, юнцами... Удивительно, особенно теперь, оглядываясь назад: и как у них терпения-то хватало тогда каждый раз вновь и вновь выстаивать на лестнице эту длиннющую часовую очередь, чтобы только провести вечер не где-нибудь в другом месте, а именно здесь... В 1950 году он поступил в университет.

Нет, что ни говори, а молодость есть молодость... Конечно, на душе все еще саднило, болело, особенно по вечерам, когда он, теперь уже студент, возвращался домой один, и не дай бог, если это был тихий, теплый московский вечер, и улицы были пусты, и почти не было машин, и деревья на Неглинке уже распустились, — как же тогда тянуло к ней, как хотелось побежать, позвонить, найти ее, объяснить... И было непонятно, как это так легко все получалось у других, у его товарищей и их подруг: сошлись, разошлись, сегодня одна, завтра другая, подумаешь, не видаль, ну легли — ну так и что?.. И вокруг было более чем беспокойно: на факультетах продолжали громить космополитизм, случалось, время от времени кто-нибудь и исчезал, без объяснений, совсем, и все тогда старались делать вид, что ничего, в сущности, не произошло, что его и вообще-то не было никогда... И на любом вокзале, в любой электричке хотелось отвести глаза, не смотреть, забыть про этих убогих калек — инвалидов войны, выпрашивающих подавание, этих баб с детьми, в лохмотьях, с котомками, сбежавших из деревни, про блатных в сапогах гармошкой, в серых кепочках на глаза и кожаных пальто, нагло, по-хозяйски гогочащих в углу, — гуляй, их время, они пока еще соль земли... Конечно, было много и другого, столь же тягостного, столь же печального. И все-таки...

И все-таки было хорошо! Что хорошо? Да все. Все было хорошо... Хорошо было сидеть на лекциях и слушать про Древний Рим, про великие деяния и великие преступления давно отшумевших веков — тогда еще были живы,

не вымерли старые профессора, сумевшие сохранить достоинство и благородство даже и после всех страданий и унижений, которые им довелось перенести... Хорошо было читать по вечерам книги — каждая из них была тогда событием, и не было еще никаких признаков этой усталости, скуки, стариковского равнодушия, когда уже заранее знаешь почти все, что они, книги, могут тебе сказать, и читаешь просто так, по инерции, потому что уже не можешь не читать... Хорошо было кататься зимой на катке, по длинным заснеженным аллеям парка, под разноцветными фонариками, или же на пруду, в слепящем свете прожекторов, в косых, колючих отблесках синеватого льда, где ты был один, а вокруг тебя смех, голоса, интриги, музыка, звон и шорох коньков... Хорошо было сидеть весной в недавно открытом для публики Александровском саду, смотреть на коляски с детьми, катившиеся мимо, на чистеньких московских старушек, примостившихся с вязаньем где-нибудь на скамеечке под сиренью, на девушек-студенток, облизывающих эскимо, — веселых, смеющихся, стреляющих глазами по сторонам, доступных всем и никому... А сенокос в июле в Красновидове, в колхозе, куда их каждое лето посылал факультет? Копешки сена, разбросанные по лугу, огромные стога, жара, пот, слепни, цветастые косынки, бронзовые тела, а вечером — костер, угольки, мимолетные влюбленности, чей-то сдавленный, задыхающийся шепот тут же рядом, в кустах, в темноте, звук неловкого поцелуя, потом тишина, долгая тишина, потом треск раздвигаемых веток, удаляющиеся шаги... А прекрасные, дымные, шумные студенческие пирушки в общежитии на Стромынке? Газета на столе, на ней горячая картошка, селедка, лук, бутылки с водкой, дешевый портвейн, тарелки с окурками, гвалт, гитара, крик «заходи!», молчаливые девочки с поджатыми под себя ногами, затихшие на чьей-нибудь кровати в углу... И дискуссии, дискуссии до рассвета, до утра, чтобы только успеть ополоснуть голову под краном — и айда, в метро, на Моховую, на лекции, протирая по дороге кулаком слипающиеся глаза... О чем дискуссии? Обо всем: о том, что было и что есть, о том, что скоро все изменится и будет, не может не быть другая жизнь — светлая,

праздничная, разумная, доброжелательная, что для этого надо сделать то-то и то-то и все тогда пойдет как по маслу, что старики не правы, а правы мы, что... Да мало ли что? Так много было тогда наговорено, что и сейчас еще, спустя почти тридцать лет, ловишь себя на том, что все отвечаешь и отвечаешь кому-то из того времени, с кем так и не договорил тогда, не доспорил до конца...

А как хорошо, как самозабвенно гуляла тогда Москва! Что это было? Разрядка, спад чудовищного напряжения после войны? Безудержное веселье людей, все еще не верящих до конца, что они остались в живых? Или рассчитанная кем-то свыше линия — приподнять крышку, выпустить пар из котла? Или молодость, плещущий через край избыток сил послевоенного поколения, только-только вступающего в жизнь? Нет, скорее всего все вместе — и то, и другое, и третье, и вряд ли здесь можно выделить что-либо одно. Но факт остается фактом: рестораны тогда работали до пяти утра, все было невероятно дешево и доступно, и что-что, а уж выпить-то человеку в хорошем месте и в хорошей компании не составляло тогда никакого труда. Университетское студенчество не особенно любило в те годы слишком удаляться от «альма матер»: «Аврора», «Астория», коктейль-холл на улице Горького, шашлычная на Никитской, в подвале кинотеатра Повторного фильма, пивные бары на Пушкинской площади и в не существующем более Лубянском пассаже — все это было рядом, все это было по карману, особенно в дни стипендии... Сколько же добрых воспоминаний связано с этими гостеприимными заведениями у тех, кто был тогда молод, здоров и по натуре не монах... Светлая им память, этим местам и названиям, исчезнувшим в большинстве своем навсегда...

Почему-то вспомнилось, как однажды, тоже осенью, он сидел с одним из приятелей в пивном баре на Пушкинской площади, напротив только что перенесенного тогда на новое место памятника: бар этот находился как раз там, где сейчас вместо старого двухэтажного дома разбит небольшой сквер. Время было позднее, бар гудел, подмигивал подслеповатыми своими люстрами, окна его запотели изнутри, былолюдно, пахло сосисками, мокрой

одеждой, опилками на полу, над мраморными столами неслышно скользили подносы, уставленные тяжелыми пивными кружками, хлопали двери, в клубах пара возникали и исчезали чьи-то лица, гул голосов сдавливал уши, заставлял пригибаться вплотную к соседу, чтобы понять, что он говорит... Напротив них, уронив голову на грудь, сидел грузный седой старик и, казалось, дремал, по крайней мере глаза его, смутно видимые из-за очков, все время были закрыты, он, наверное, даже и не заметил, как они подсели к его столу.

Сидел старик, по-видимому, давно: перед ним стояли одна полная и несколько пустых пивных кружек и порожний графинчик из-под водки — почему-то официант их не убирал. Вдруг этот человек, тяжело опираясь на стол, медленно, с усилием встал и произнес, не обращая ни к кому, но так громко, таким властным, уверенным басом, что зал сразу стих:

— Господа!

Человек покачнулся, помолчал, зачем-то снял очки, протер ладонью лицо — плотно, вниз, по скулам, от глаз к подбородку, и продолжал, глядя поверх голов:

— Следует признать, господа, что ничего не получилось... Эрнест Теодор Амадей Гофман был прав: все это сон... Все это сон... господа...

Качнувшись еще раз, он сел, закрыл глаза, и голова его опять свесилась на грудь. Зал молчал. Потом гул голосов вспыхнул с новой силой, где-то в углу опять задрезжал притихший было скандал, кто-то что-то выяснял, доказывал, спорил, кого-то уводили под руки, мимо опять поплыли люстры, подносы, кружки, сизый табачный дым...

* * *

Она позвонила в пятьдесят третьем, в начале марта, вечером, часов около восьми. Было уже темно, он лежал у себя в комнате на диване, давно надо было бы подняться и зажечь свет, но он, найдя наконец удобную позу, боялся пошевелиться — накануне в давке на похоронах Сталина ему сломали ребро.

Грудь болела, было трудно дышать, узел от полотенца, которым стянули его, давил в бок, глазные впадины щеко-тали капельки пота, время от времени сползавшие со лба... И зачем полез, дурак? Ведь не любил же, никогда не любил этого человека. А вот поди ж ты — полез, как и все. Одно оправдание: все тогда сошли с ума... Дьявол! Будто не мог уйти, чтобы не утащить с собой в могилу напоследок еще пропасть народу. На помин души... Ах, этот угол Трубной улицы и Трубной площади! Как же долго он ему снился потом, сколько лет... Стены дома, подвальная яма в тротуаре, почти у самых его ног, чьи-то две спины, втоптаные туда вниз, сквозь погнутые прутья решетки, и он, расплющенный на стене, сдавленный, задыхающийся, молящий только об одном: только бы толпа качнулась назад, не вперед, потому что если вперед — быть ему третьим в этой яме, через нее ему не перейти, не перескочить... Потом он узнал, что это был как раз самый страшный момент во всех похоронах, когда обезумевшая, плачущая, ревушая толпа почему-то со всех сторон кинулась на Трубную площадь: с Петровского бульвара, с Неглинки, с Цветного, с Рождественского — и все вниз, на площадь, по спинам, по головам, навстречу друг другу, давя и сметая все на своем пути...

— Саша? Ты? Ты меня узнал? — раздался в трубке звонкий взволнованный голос, когда он, скривившись от боли, дотянулся наконец до телефона, стоявшего рядом, на маленьком столе.

— Узнал. Это ты...

— Как давно мы с тобой не говорили! Ты все такой же... Я имею в виду — голос такой же: медленный, рас-судительный... Саша, я ужасно хочу тебя видеть. Мне очень нужно с тобой поговорить. Ты знаешь, я теперь живу одна, в общежитии. С мужем я разошлась, с теткой разругалась... Она все никак не может простить мне, что я развелась... Саша, как ты думаешь, маму теперь отпустят? Скажи — отпустят? Отца, я думаю, уже давно нет. Ни одного письма за все эти годы... Но ее-то отпустят? Ты же ведь все знаешь, скажи...

Оказалось, что все было проще и оттого еще больнее, еще обиднее, чем было все это время, когда он не знал, где

она и что с ней. Она даже не успела тогда сдать экзамены за десятый класс, пришлось ей их потом досдавать экстерном: курсант, окончив училище и получив назначение, сразу же увез ее в часть, в маленький военный городок, затерянный где-то в глуши, в белорусских лесах. Гарнизон, бараки, ребенок, который умер вскоре после родов, скука, стояние у плиты, пьянство мужа и его товарищей, ссоры с их женами, пикники, патефон, рыбалка, грибы, черт бы их побрал... Однажды, пьяный, он ее избил... Тетка — тоже мне философ! — все время твердила, да и сейчас твердит одно и то же: «Хочешь стать генеральшей — выйди замуж за лейтенанта и сделай из него генерала...» Что ж, тетка, наверное, права, но у нее на это не хватило ни терпения, ни сил... Они прожили всего два года, не прожили — промучились, если честно говорить, потом она сбежала от него, вернулась обратно в Москву, поступила в библиотечный институт... Знаешь, на Левобережной? Там же в общежитии и живу, девочки в комнате подобрались хорошие, не ссоримся, а с теткой вижу редко, по праздникам... Все-таки родственники, ни у нее, ни у меня больше никого нет... Или считается, что нет...

— Господи, ну что я все про себя да про себя! Ты-то как? Как ты жил без меня? — встрепенулась вдруг она, оторвав глаза от окна, за которым тяжелая машина, ловко орудуя своими захватистыми лапами, убирала с мостовой грязный снег. Был день, они сидели в кафе «Артистическое» напротив Художественного театра, помнится, на столе стояла бутылка портвейна и ваза с яблоками, сухое вино тогда еще в моду не вошло. — Ты теперь большой, взрослый, умный... Боже мой, какие мы с тобой были тогда дураки... Ты меня еще любишь?

— Люблю...

Она сильно похорошела за эти годы. Теперь это была статная молодая женщина с высокой грудью, длинными ногами, копной густых черных волос, рассыпанных по плечам, и большими, чуть раскосыми глазами, влажно поблескивавшими из-под ресниц. Когда он где-нибудь появлялся с ней, начиналось тихое столпотворение: у друзей ли, в театре, на студенческих вечеринках, на

так называемых «ночниках», которые она особенно любила, — было такое время в Москве, когда снимался на ночь какой-нибудь зал, приглашался оркестр, продавались билеты, и можно было танцевать хоть до утра... Обычно она входила, держась чуть-чуть за его плечом, сзади, будто прячась за него, слегка ссутулившись и опустив глаза, — тихая, скромная девушка, ни на что не претендующая, пришедшая потанцевать, посмотреть на людей, немного смущенная этим ярким светом, этим обилием незнакомых лиц, готовая вспыхнуть от любого неосторожного взгляда или слова, не знающая, куда деть шаль, куда положить сумочку, где встать, чтобы никому не мешать... Но каждый раз ее появление производило впечатление электрического шока: мужчины вздрагивали, начинали возбужденно и громко говорить, женщины напрягались, губы их сжимались плотнее, в глазах загорался стальной блеск, в воздухе сейчас же возникали какие-то разряды, шипенье, треск, обнажались, оголялись какие-то контакты и провода, сыпались искры, через минуту-другую кто-то уже тащил ее танцевать, кто-то пристраивал ее шаль и сумочку, потом ее перехватывал другой, третий, музыканты оживлялись, рывкал саксофон, карусель начинала вертеться все быстрее и быстрее...

Ну а он? А что — он? Он гордился ею, любовался ее победным видом, ее гордо, чуть с вызовом откинутой головой, прямой спиной, изящными, гибкими движениями, ее столь явным успехом среди всех этих знакомых и незнакомых людей. Ревновал? Нет, не ревновал. По сравнению с тем, что он пережил за те годы, когда ее не было, это все было неважно, несерьезно, ерунда, мелочь, не имевшая, в сущности, никакого отношения к ним двоим. Он-то знал, что еще на выходе, на лестнице, она прижмется к нему, найдет губами его шею, повиснет у него на руке, и они пойдут потом вместе пешком к трем вокзалам, через ночную, тихую Москву, и он будет обнимать ее податливые, мягкие плечи, и они будут останавливаться у каждого фонаря и целоваться, и она будет что-то говорить ему, улыбаться, заглядывать ему в глаза, и весь этот шум, гвалт, музыка останутся где-то там, без них, позади...

Но такие «ночники», надо сказать, были все-таки нечасты. Обычно же они, как и раньше, просиживали вместе почти все вечера в библиотеке (теперь уже в другом, студенческом зале), рядом, касаясь друг друга локтями и коленями, под одной и той же зеленой лампой, изредка отрывая глаза от книги и обмениваясь улыбкой, или взглядом, или парой фраз. Он тогда уже стал понемногу втягиваться в серьезную работу: выискивал какие-то книги сверх обязательной программы, пытался читать в подлинниках китайских авторов, шаг за шагом осваивал японский — сам, добровольно, без чьего бы то ни было принуждения, что вызывало в ней искренний ужас и столь же искреннее восхищение. Сама же она предпочитала беллетристику, детективы, воспоминания про великих людей — последнее, пожалуй, больше всего: технология успеха всегда, а тогда особенно интересовала ее...

Выходили они вместе, незадолго до звонка, ныряли в метро и ехали до «Комсомольской». Там, на галерее, всегда возникал маленький спор, кончавшийся, как правило, тем, что она уступала: ехать ему или нет провожать ее до Левобережной. «Не надо, Саша, возвращайся, — убеждала она. — Я и сама прекрасно доберусь, ведь поздно уже, и там еще от станции надо идти, и обратно, через лес, да еще ждать электричку на пустой платформе, родители же будут беспокоиться, когда ты домой заявишься — во втором часу?..»

Конечно, вечеринки, библиотека, электрички — это было отнюдь не все. И он, и она уже были взрослые люди, и то, что рано или поздно должно было произойти, произошло на даче, у кого-то из его товарищей, когда хозяин и другие гости ушли купаться на пруд, оставив их ненадолго одних. Но ту, первую их такую встречу, по правде говоря, не хочется даже и вспоминать — до того это все было бестолково, вернее он был бестолков, неловок, неумел.

Даже сейчас он краснел, вспоминая себя в тот день — свои дрожащие руки, суетливые, судорожные движения, торопливость, пот на лице, и ее улыбку потом, и этот мягкий снисходительный жест, которым она, взъерошив его волосы, чуть отстранила его от себя: ничего, все хорошо, не надо расстраиваться, одевайся, скоро они придут...

По-настоящему их близость началась не тогда, а позже, уже зимой, когда ее соседки по комнате разъехались на каникулы по домам и она осталась в ней одна. Был, как сейчас помнится, стильный морозный вечер, он стоял в тамбуре электрички, курил и смотрел на пролетавшие мимо огни пакгаузов, дома, придвинувшиеся вплотную к железнодорожному полотну, деревья в снегу, тускло освещенные платформы, столбы, рельсы, провода... Вслед за вагоном высоко в небе, перепрыгивая через рваные лохмотья туч, бежала луна. Снег по откосам синел, иногда, на переездах, в глаза упирались фары какого-нибудь грузовика, застывшего там, перед шлагбаумом, потом опять начинались темь, синий снег, овраги, луна... Леля ждала его у себя, он сказал дома, что уезжает за город на несколько дней, может быть, недели на две.

В городе погода была в тот вечер тихая, но здесь, на Левобережной, мело. Когда он шел по занесенной снегом тропинке к общежитию, лес шумел и волновался у него над головой, сосны скрипели, вершины их раскачивались на ветру, и на спину ему и плечи сыпалась мелкая снежная пыль...

Без пропуска в общежитие проникнуть было нельзя, и он долго топтался в снегу, с обратной стороны здания, у пожарной лестницы, дожидаясь, пока, согласно уговору, сверху, из ее окна, ему не подадут какой-нибудь знак. Наконец шторы в ближайшем к лестнице окне на четвертом этаже раздвинулись, и в пятне света, брызнувшего оттуда, возникла Лелина голова. Увидев его внизу, Леля с треском высадила обе половинки рамы и, свесившись вниз, замахала рукой. Он подпрыгнул, ухватился ладонями за липкую, обжигающую металлом нижнюю перекладину лестницы, подтянулся на руках, потом уцепился за следующую перекладину, потом за следующую, пристроил одно колено, другое, еще подтянулся, встал — и через несколько секунд оказался наверху, вровень с ее окном. Но этого было мало: окно было больше чем в метре от лестницы, он мог дотянуться рукой до подоконника, но ноги — как же ноги? Хоть бы какой-нибудь выступ, шербинка — нет, стена, ровная как стол. Поколебавшись мгно-

вение, он резко, рывком бросил левую руку и тело вперед, схватился за внутренний выступ подоконника, повис, но... Если бы она в ту же долю секунды не вцепилась обеими руками в воротник его пальто, не откинулась назад и, падая, не потащила его на себя... Черт знает что, от каких же все-таки пустяков зависит иной раз человеческая жизнь...

Эти десять-двенадцать дней, что они прожили вместе, один, за наглухо запертыми дверями ее комнаты, остались, пожалуй, самым ярким воспоминанием на всю его жизнь... Как нежна, как ласкова была она, как, оказывается, легко было понять друг друга, если ничто — ни страх, ни заботы, ни необходимость оглядываться на часы — не висело над головой, какой опустошающей и вместе с тем неистощимой, не знающей ни усталости, ни сна могла быть страсть... Часами она лежала у него на плече, на голой руке, перебирала, гладила его волосы, целовала уголки его рта, что-то шептала, что-то рассказывала ему... Как же долго помнились ему потом ее ладони, ее прохладная кожа и этот изгиб спины, так легко, так мягко прогибавшийся ему навстречу, когда он прижимал ее к себе... И не важно, днем ли, ночью, но не было тогда для них ничего запретного, ничего невозможного — ни для нее, ни для него...

Наверное, надо было тогда жениться на ней: не только он любил ее, и она, надо думать, тоже по-своему любила его, по крайней мере в те счастливые дни, когда никто им не мешал, когда они были без людей, вдвоем... Кто знает, как бы тогда повернулась жизнь. При его-то умении вращать камни, тащить любой воз, любую поклажу, которую навалит жизнь, и ее амбициях, ее способности очаровывать всех и каждого они бы, наверное, далеко пошли... И он уже готов был сделать этот шаг, уже решил внутренне на него и даже представлял себе, и очень живо, как он введет ее в свой дом, познакомит с родителями, что он при этом скажет, что скажут они, как они будут сидеть все вместе и решать, где, в какой комнате им жить, какие надо будет сделать перестановки, что им нужно сейчас и что потребуется потом, и мать будет неслышно, как всегда, сновать из столовой на кухню и обратно, накрывать на стол, расставлять чашки и искоса, будто невзначай, бросать на

нее взгляды, пытаясь угадать, что за человек вошел в их жизнь и что их всех теперь ждет, а отец наверняка скинет китель, закатает по локти рукава своей зеленой защитной рубашки, достанет из шкафа коньяк и по сигаре себе и ему и будет весь вечер шутить, балагурить, хлопать его по плечу — кто-кто, а уж он-то мог по достоинству оценить красивую женщину, сам всю жизнь был не промах; надо думать, матери с ним было ох как нелегко. Но...

В тот вечер случайно он оказался около бывшей гостиницы «Люкс», теперь «Центральная», на стоянке такси — куда-то ему очень нужно было спешить... Случайно? Может быть. Но почему именно эта случайность, а не другая? Ведь ее могло бы и не быть, этой случайности? И что тогда?.. Тогда? А ничего тогда. Все равно все было бы, конечно, так, а не иначе. Только место и время могли бы быть другими. Как говорится, кому что написано на роду...

Он уже порядочно ждал, прислонившись спиной к стволу одной из лип, высаженных вдоль тротуара, когда от потока машин отделилась серая «Победа» и медленно, сбавляя ход, припарковалась метрах в десяти ниже того места, где он стоял. Правая передняя дверца ее чуть приоткрылась, внутри зажегся свет — он вздрогнул: на переднем сиденье, рядом с водителем, сидела Леля. Повернувшись влево и держа дверцу приоткрытой, она что-то сказала своему спутнику, тряхнула головой, засмеялась, быстро поцеловала его в щеку, потом выскочила, торопливо перебежала тротуар и тут же скрылась в филипповской булочной. Пока в машине горел свет, он успел узнать и его: это был высокий, красивый парень, старше его на курс, сын какого-то модного тогда архитектора, наглый, развратный, с пустыми, бесцветными глазами и руками как две клешни, всегда при деньгах, при машине, всегда свободная квартира в высотном доме на площади Восстания, папа-мама на даче, места сколько хочешь, магазин внизу... Когда спустя несколько минут она вынырнула из булочной, в руках у нее был перевязанный лентой торт. И сейчас же, будто нарочно, к тротуару подкатило свободное такси. Решение пришло сразу, мгновенно — ехать за ними, плевать, кто и где его там ждет, сейчас не до этого, сейчас

важнее всего то, что там, в этой серой «Победе»: красные огоньки ее уже засветились, замигали впереди, только бы теперь не упустить их, не застрять у светофора, не дать себя оттеснить потоку других машин... Все, к сожалению, получилось так, как он и представлял себе еще там, на стоянке такси: «Победа» остановилась на площадке перед высотным зданием на Восстания, медленно, задним ходом подала к кромке сквера и, поерзав, встала там. Они вышли из нее, Леля достала с заднего сиденья свою сумку и торт, парень запер ключом дверцы, потом они вошли в магазин, потом вышли из него, потом вошли в его подъезд...

Удар был, конечно, сокрушительный — что называется, оглоблей по ногам... Еще оставалась крохотная надежда, что это все не так, что там, наверху, собралась обычная студенческая вечеринка, что сейчас, если подождать, начнут подъезжать другие, и среди них обязательно будет еще кто-то, кого он знал, и все выяснится, все образуется, и можно будет спокойно уйти и никогда ей об этом не говорить. Но проходило время, открывались и закрывались массивные, утяжеленные бронзой двери подъезда, туда и обратно входили и выходили люди — отцы семейств, женщины с сумками, припозднившаяся где-то детвора, один раз даже гурьбой высыпала компания подвыпивших ребят с гитарой, с ними были девушки, они долго толкались у подъезда, шумели, все решая, кому, куда и с кем идти, но эти были явно не оттуда, и потом даже если и оттуда, то они были не к ним, а от них... Площадка и тротуары вокруг здания постепенно опустели, магазин закрылся, люстры его потухли, Красная Пресня и Садовое кольцо тоже начали понемногу затихать: временами было даже слышно, как шевелится листва у него над головой и как резко, противным голосом, будто спресонок, вскрикивает какая-то птица — рядом в зоопарке, на пруду. Он сидел на каменном парапете, курил и смотрел, как одно за другим гасли окна в том крыле здания, где была сейчас она. Мимо него медленно, не торопясь, прошел милиционер, потом, дойдя до угла здания, повернул обратно и опять подошел к нему, но разговаривать почему-то не стал, а только спросил кивком головы: ты, мол, что? Он тоже молча, движением головы, ответил ему, указав на окна

наверху: жду. Милиционер пожал плечами и, видимо успокоенный его понурым видом и его очками, ушел.

Был конец мая, ночь была теплой, но его начало знобить. Он поднял воротник куртки, подтянул молнию, сунул руки поглубже в рукава, но вставать не стал: он должен был, обязан был дожидаться, пока в этой части здания не погаснет последнее окно. Сначала их оставалось три, на разных этажах, потом два, потом, на девятом этаже — одно. Наконец часа в три погасло и оно... Ну вот теперь можно было и уходить... На улицах, на бульварах в этот час уже не было ни души и не было никаких машин, даже поливальных, только огни светофоров исправно мигали на перекрестках: красный, желтый, зеленый... Для кого? А кто его знает, для кого. Может быть, и для него... Придя домой, он рухнул в постель. В комнате было уже почти светло, пахло свежестью, как после дождя, перед открытым окном на подоконнике чирикали уже проснувшиеся воробьи. Начинался рассвет. Ни злости, ни ненависти в нем не было. Было недоумение: как же так? И как же теперь ему жить?

В тот последний свой студенческий год, спасаясь от самого себя, он перепробовал все: кутежи, минутные связи с милыми, простодушными, легкими на подъем продавщицами, карты, ипподром, походы на байдарках или по лесам пешком — не помогало ничего. Он высох, почернел, стал мрачен, дома груб, на людях замкнут, молчалив...

И опять, теперь уже во второй раз, вылечила библиотека. Надо было писать диплом, надо было готовиться в аспирантуру, надо было, обязательно надо было прочитать, и не откладывая, все, что только-только начало тогда выходить из-под запрета... Великое слово — надо! Скольким же в своей жизни он обязан ему... Если он вообще не сломался, не сошел с круга, если он что-то сделал в жизни, то только потому, что оно, это слово, всегда давило на него, не отпускало, не давало расслабиться, не позволяло никакой передышки — сегодня одно, завтра другое, послезавтра еще что-то, чего нельзя было ни забыть, ни хотя бы отложить... Как же часто хотелось тогда плюнуть на все, растянуться у себя на продавленном диване, отвернуться к стене и никуда не ходить, ничего не делать, лежать так и думать

о ней, о себе, о том, почему же так нескладно получилось, зачем ей это нужно было, почему возник этот человек... Или же, наоборот, вскочить, позвонить ребятам, натянуть пиджак, галстук, сунуть в карман все, что еще осталось от стипендии, закатиться куда-нибудь, где дым, шум, веселье, где его ждут, где его примут с распростертыми объятиями и где, слава богу, никому нет никакого дела, что там, какие булыжники ворочаются у него в голове: давай, Саня, друг, наливай, пей, веселись — снова живем!.. Но ведь надо было идти? Надо. И он шел: по Неглинной, мимо Большого театра, мимо «Националя», мимо университета — туда, где на зеленом пригорочке, видный отовсюду стоит известный всей Москве Пашков дом.

Конечно, дело было не в одной библиотеке, или, во всяком случае, не только в ней. Помогало, конечно, еще и то, что товарищи в большинстве своем любили его, и жилось ему поэтому, особенно в студенческие годы, грех жаловаться, в общем-то, легко: по свойствам ли своего характера или просто по везению, но обычно он был избавлен от этих мелких, иссушающих душу дряг, мышшиной возни, укулов в открытую или исподтишка, за спиной, этих унижительных ссор, перешептываний, косых взглядов вслед... Что ж, поводов для зависти он не давал, никуда не лез, никого он не толкал, не подводил, во все эти дележки — кто первый, кто второй, кто третий — не вникал и в них не участвовал, выполнял, что ему поручат, и выполнял вроде бы неплохо, никого не дразнил, не обижал, никого не учил... На пятом курсе после одного удачного выступления на факультетской конференции ему предложили возглавить научное студенческое общество, и это тоже было воспринято всеми как должное: один из самых заметных студентов на курсе, умный парень, спокойный, не суетится, не мельтешит — кого же тогда и выдвигать, если не таких? И свой: все знали, что если какое веселье, шум, только без битья стекол, то он и в этом тоже был не последний человек.

Тогда же, к концу университета, как-то незаметно рядом возникло и новое существо — тоже студентка, с его же курса, милая, курносая, приветливая девочка, которую он раньше не замечал, а теперь заметил, и не только

заметил, но и довольно скоро понял, что с кем с кем, а с ней ему действительно хорошо: нет никаких особенных волнений, но и огорчений тоже нет, она добра, ласкова, она хорошо относится к нему, ей с ним интересно — никаких сомнений в этом нет, она ничего не требует от него, но и не скрывает своей радости, когда он звонит ей или провожает ее после занятий домой, до Кропоткинской, по Гоголевскому бульвару, и там, на лавочке, под Тургеневским особняком, если нет дождя, с удовольствием часами сидит с ним, болтая о том, о сем. Как-то раз, тоже в мае, вечером, когда они сидели на этой лавочке — она и сейчас еще там стоит, у самого выхода с бульвара на Сивцев Вражек, на маленькой дорожке, не на большой, — он, растроганный чем-то, обнял ее за плечи и чуть притянул к себе: она так легко, сразу и так уютно прильнула к нему, так мягко, по-домашнему, как будто всегда так и было и так и должно быть, устроилась у него на плече, что он понял — назад ему дороги нет. Никогда в жизни он не мог ударить никого, ни кошку, ни человека, и отнять теперь у этой милой, славной девочки так ясно вспыхнувшую надежду? Нет, на что другое, а на это у него никогда не хватило бы сил... В тот самый день, когда они получили дипломы, она стала его женой... И было это, дорогие мои, — господи, даже поверить невозможно! — двадцать пять лет назад. И пролетели они как один день...

Пролетели... Не очень-то пролетели... Пролетели — это когда нечего вспомнить, когда все ровное, тусклое, как длинный коридор в каком-нибудь казенном учреждении, где от начала до конца — никого и ничего, одни таблички на плотно запертых дерматиновых дверях... Конечно, ничего такого сверхнеобычного в его жизни не происходило, никаких шекспировских драм и трагедий не было, слава богу, обошлось без них, все было, в общем-то, как и у других, по крайней мере у большинства других. Но разве события человеческие — это обязательно война, пожар, землетрясение, чума, голод, гибель в автокатастрофе, тюрьма, эшафот? Нет, это удел немногих, во всяком случае — далеко не всех, большинство же рождается и умирает в своей постели, но и им тем не менее приходится ис-

пытать в своей жизни все: радость, боль, горечь утрат, как бы они ни были на поверхностный взгляд — но только на поверхностный взгляд — неинтересны и мелки. И дело здесь не в мере, потому что общей меры здесь нет, не было и никогда не будет, а в том, что каждому из нас есть за что благодарить судьбу и каждому есть за что ее проклинать... Что-то же придавило ему плечи, согнуло спину к пятидесяти годам, откуда-то возникли эта лысина, этот тик под глазом, который ему иногда не удается унять по целым дням, эти частые головные боли по вечерам, а иногда и по утрам, особенно если меняется погода или если ночью не спалось... Многого ведь не надо, хватит и того, что было... Да-да, того, что было... И его, и того, что есть...

Сейчас, оглядываясь назад, он понимал, что Леля, женитьба на Татьяне, поступление в аспирантуру — это все было по существу еще детство, милый, легкий туман поутру, поток событий, в котором он играл какую-то подчиненную, даже скорее какую-то созерцательную роль, будто бы все это было даже и не с ним: появилась одна — потом исчезла, появилась другая — и осталась, предложили аспирантуру — тоже особенно много думать не нужно было, кто же когда отказывается от того, что само собой в руки идет? Нет, это выбирал не он, это жизнь выбирала за него, а он лишь принимал ее выбор: так — значит, так, иначе, наверное, и не могло быть, ты можешь радоваться, можешь печалиться, это твое дело, но тебя, в сущности, никто и ни о чем не спрашивал и не спрашивает, и от тебя здесь не зависит ничего или почти ничего... Что и говорить: жил как во сне...

Но, конечно, долго так продолжаться не могло. Жизнь есть жизнь, и первый свой сознательный (и надо сказать, весьма недвусмысленный) выбор ему пришлось сделать довольно скоро — на втором году аспирантуры, когда, сдав кандидатские экзамены, он только-только приступил к работе над диссертацией — о системе формирования кадров провинциального чиновничества в Китае в XIV—XVII веках, в эпоху династии Мин... И может быть, это-то и был единственный по-настоящему серьезный выбор за всю его жизнь... От него-то все потом и пошло...

На повестке дня того собрания осенью 1956 года стоял один вопрос: исключение из партии доцента Н. — доносчика, убийцы, клеветника, погубившего своими доносами множество ни в чем не повинных людей. Мнение было единодушным: исключить, выгнать из университета и мало того — просить соответствующие органы о возбуждении уголовного дела, чтобы впредь этой нечисти и духу не было нигде. Однако, когда стали голосовать, против вдруг поднялась одна рука — это была рука его, Горта. Естественно, его попросили выступить с объяснениями. Что конкретно он тогда нес — горячо, путанно, сбиваясь и проглатывая слова, — сейчас, конечно, уже не вспомнишь. Но суть была примерно в следующем: Н. — негодяй, в этом нет никаких сомнений, но важен не он, важен принцип — или всех, или никого. Но даже если и всех — мы и тогда ничего не достигнем и не решим тем, что навстречу одному потоку людей, возвращающихся из лагерей назад, направим другой, почти столь же значительный, потому что важна не месть, важны гарантии, что никогда больше ничего подобного не повторится, гарантии же создаются не мезтью, они создаются по-другому, гарантии — это медленный, упорный, позитивный процесс, и надо не мстить, надо работать над гарантиями, а этот доцент и все другие, подобные ему, — черт с ними, пусть живут, копошатся где-нибудь, зарабатывают в меру сил свой кусок хлеба, всего через поколение-два от них само собой не останется и следа.

Надо сказать, что для всех присутствовавших, включая и обвиняемого, съездившегося, сжавшегося где-то там в углу, за чужими спинами, это его выступление было полнейшей неожиданностью: кто-кто, но он?! Никто, конечно, не внял его призывам — доцента исключили. Ему же потом пришлось не один вечер отбиваться от товарищей, вновь и вновь объясняя им столь очевидное для него самого, а для них непонятное никак, что бы он ни говорил... Но больнее всего все-таки отреагировали его домашние. Жена, ходившая тогда уже на пятом месяце, как-то сразу сжалась вся, не поднимала на него глаз, вечерами подолгу сидела, забравшись с ногами в кресло, и молчала, отвечая на все его вопросы короткими, иногда почти не-

слышными «да-нет»... Мать плакала, вздыхала, бродила из комнаты в комнату, не находя себе места: «Господи, что теперь будет, что будет? Что же ты наделал, Саша? Как же ты мог? Ведь у тебя теперь семья... А мы с отцом?..» Отец же, узнав обо всем, рассвирепел, обругал его дураком и целую неделю вообще не разговаривал с ним.

— Нет, ты смотри, — спустя несколько дней, уже отойдя немного, убеждал его отец, — как же ты не дурак? Не просто глупость — двойная глупость: во-первых, ни с того ни с сего ты посеял у людей сомнение в своей личной порядочности, можно сказать, сам наклепал на себя, а во-вторых, куда ты прешь? Машину теперь развернуло в эту сторону, а не в другую — и ты что, собираешься один поперек? Ведь сомнут же, места мокрого не останется... Да и вообще, чему ты сопротивляешься? Процессу очищения? На чью ты встал защиту? Кто тебе сукин сын этот? Сват, брат?

— Ну как же... Ну как же ты не понимаешь, отец? — не сдавался он. — И ни ты, ни другие — никто не понимает... Очищение? Да, очищение... Но разве именно эта вошь виновата во всем? Не он, так другой... Дело не в нем, дело в том, что этот метод, метод вражды, уже исчерпал себя. Нужна не вражда — сегодня против этих, завтра против тех, нужна будничная, тяжелая, конструктивная работа на том материале, который есть, и со всем хорошим и дурным, что в нем есть... По какому принципу ты будешь отделять овец от козлиц? Где критерий, кого надо оставить, а кого нет? Не лучше ли... Если хочешь — не рациональнее ли... Никого не трогать, никого не гнать, а заняться тем, чем и следует заняться, — созданием гарантий? Для всех и для каждого? Гарантии внешней нашей безопасности, и ты это знаешь лучше меня, нам уже удалось создать... Или, скажем, почти удалось... Теперь очередь внутренних гарантий... Это великая историческая задача, и мне как историку...

— А, брось ты! Какой ты историк... Дурак ты, а не историк... И слушать не хочу. Уши вянут... Моли бога, чтобы это все тебе когда-нибудь не аукнулось... Да нет, аукнется — это уж точно. Хорошо бы только попозже. А еще бы лучше — совсем уж без меня...

Отец был прав — конечно, аукнулось, но аукнулось, если судить по внешней стороне жизни, все-таки пустяками: какое-то, но очень недолгое время кое-кто из товарищей сторонился его да еще деканат под явно надуманным предлогом не утвердил тогда его кандидатуру на полугодовую стажировку в Китай — вот, пожалуй, и все. Последнее, кстати говоря, может быть, было и к лучшему: вскоре родилась Ларка, Татьяне да и всем тогда пришлось трудно, очень трудно, эта кроха нашла работу всем, одни ночные бдения чего стоили, да и днем то за бутылочками, то в прачечную, то доктора вызвать, то еще там что-нибудь — вертись, как умеешь, а диссертация не ждет, сроки поджимают, не уложишься — пеняй на себя. В его ситуации особенного снисхождения ожидать не приходилось, высунулся — ну так, будь любезен, держись. Все, однако, обошлось как нельзя лучше, вопреки ожиданиям отца да и некоторых других: блестящая защита, ассистент на кафедре, сразу же спецкурс, который он — конечно, со всякими там изменениями и дополнениями, — но так и читает до сих пор, вот уж двадцать с лишним лет...

Вспомнился банкет в «Арагви» после защиты: низкий потолок, дым, свет по стенам, цветы на столах, счастливая жена рядом с ним, веселые, беззаботные ребята, шампанское, музыка, шум... И ныне покойный, уже тогда старенький Сергей Сергеич, его руководитель, с бокалом в дрожащей руке, растроганный, радостный, в помятом пиджаке, с бородкой клином и с добролюбовскими, без оправы, очками на носу:

— Дорогие мои... Я хочу... Я хочу выпить за вас... За вас за всех... И не только за ваши таланты, за ваше умение работать, за ваше товарищество... Я хочу выпить за вашу детскость... Да-да, не удивляйтесь, за вашу детскость... Несмотря на то, что всем вам уже под тридцать, а то и за тридцать и у всех у вас уже дети, семья... За ту детскость, которая в вас еще осталась... И в Саше, пожалуй, больше всех... Дай бог вам сохранить ее до седых волос... Эту способность удивляться, переживать, делать глупости... В этом — надежда... И вряд ли в чем-либо другом...



Спустя год после защиты ему пришлось принять еще одно решение и тоже вопреки всем. Ему предложили перейти на дипломатическую работу, поехать в Пекин, в посольство, вторым секретарем. Соблазн был, конечно, велик, велик сам по себе, и, кроме того, все, чье мнение он ценил или, по крайней мере, должен был ценить, думали на этот счет только одно: надо ехать, это шанс, другого такого в жизни может и не быть. Поколебавшись и просидев пару ночей в одиночестве на кухне, он, однако, отказался. Отец опять обругал его дураком, друзья пожали плечами, а жена... Жена, наверное, так до конца и не смогла ему этого никогда простить. Что ж, ее, конечно, тоже можно понять: пора было слезать с родительской шеи, а на зарплату ассистента не очень-то разгуляешься, к тому же еще с ребенком, да и потом, после, все эти прожитые вместе двадцать пять лет — когда с деньгами было легко? Никогда... С чем, с чем, а с ними, откровенно говоря, никогда не было легко...

Почему, по каким мотивам он отказался? Трудно сказать. Никакой отчетливой цели, которая бы подчиняла себе все, у него тогда не было, а было лишь смутное ощущение, что это все не его. И не то чтобы он боялся работы, перегрузок, ответственности, боялся потерять ту иллюзию свободы, которую ему давал университет, — нет, ничего этого он не боялся, и работал всегда он много больше, чем ему полагалось, по крайней мере никаких суббот и воскресений он ни тогда, ни во всю свою последующую жизнь не знал, да и не хотел знать. А вот топорщилось что-то у него внутри, протестовало против такой перспективы, и руки-ноги сразу делались ватными, когда он представлял, как он пойдет, как согласится, как должен будет выдавить из себя прямое и необратимое: да, согласен, хочу... Нет, не пошел, не выдал... И надо отдать должное жизни: она-таки знает, как отделять овец от козлий, — больше ничего подобного ему уже никто никогда не предлагал...

А и тогда тоже много было хорошего в жизни! И тогда тоже было хорошо... Все бурлило, кипело, все двигалось вокруг, рушились какие-то, как прежде думалось, на веки вечные установившиеся представления, отовсюду, как

ростки из-под слежавшегося апрельского снега, полезли наружу какие-то надежды, вновь ожили умолкнувшие, казалось бы навсегда, голоса, все во всем сомневались, все что-то предлагали, каждый дудел кто во что горазд...

Вспомнилось, как они с Татьяной две недели подряд каждый вечер бегали в консерваторию, на первый конкурс имени Чайковского — это было событие, такого в Москве прежде не бывало, конкурс взбудоражил всех. Какими путями Татьяна добыла им обоим абонементы — сейчас, конечно, не вспомнишь, но что достала именно она, а не он, это он помнил хорошо. И помнил, и тоже очень отчетливо, как они собирались тогда на эти концерты, какая суэта стояла в доме, как Таня металась от туалетного столика к большому зеркалу в ванной и обратно, как она долго, морщась и вертя головой то в одну сторону, то в другую, примеряла серьги, взятые по этому случаю напрокат у матери, как спорила с ним, какой галстук ему надеть, как они вместе уговаривали Ларку не бузить, слушаться бабушку, пока их нет, и не ждать их, самой ложиться спать... А у подъезда консерватории их встречали огни, блеск, полированная гладь машин, пристроенных как попало на тротуаре, оживленная, приподнятая толпа, возбужденные голоса, красивые женщины, еще не вымершие московские чудачки, старушки в декольте, очкастая молодежь.

Особенно отпечтался в памяти последний, уже не конкурсный концерт, а в нем двое — Ван Клиберн и Лю Шикунь. Один кудрявый, курносый, артистичный, с изнеженными женственными движениями и плавными, волнистыми изгибами невероятно длинных рук, взлетающих и падающих над роялем, беспрестанно откидывавшийся назад, закатывавший глаза и каждый раз вдыхавший в себя воздух так, как будто это был вовсе не воздух, а пряный аромат каких-то экзотических цветов, от которых у него кружилась, изнемогала голова, и не игравший даже, а уносившийся вместе с музыкой куда-то ввысь, в поднебесье, в иной, божественный мир, где нет и не может быть ничего низменного и подлого, ничего, что могло бы оскорбить его возвышенную душу... И другой — суровый, строгий, весь какой-то деревянный, негнувшийся, если судить по тому,

как он стоял в тот вечер на сцене и как отвечал на рукоплескания зала — короткими, частыми кивками головы.

Но за роялем это был спрессованный, сжатый в комок сгусток эмоций, разом, стоило ему только сесть и прикоснуться к клавишам, вырвавшихся наружу и как огненная вспышка опаливших, разметающих вокруг себя все и всех... Они и играли-то тогда то, что, видимо, больше всего подходило натуре каждого из них: Ван Клиберн — сентиментальный, сказочный, чуточку слезливый Первый концерт Чайковского, Лю Шикунь же какую-то бурную, тревожную вещь Листа, кажется Шестую его рапсодию, если, конечно, память сейчас, спустя уже столько лет, не изменяет ему... Удивительно, как все в жизни на самом деле наоборот! Казалось бы, Татьяне по ее характеру должен был больше понравиться Лю Шикунь, все-таки она была четкий человек, не сторонница всех этих мечтаний и полутонов, а ему, по логике вещей, естественно, полагалось восхищаться Ван Клиберном, а поди ж ты — как раз наоборот: чуть не впервые тогда он увидел у нее слезы на глазах, и, помнится, они чуть даже не поссорились с ней в тот вечер, потому что он, когда все кончилось, все же позволил себе обронить что-то ироническое по поводу этого кудрявого мальчика и Чайковского вообще...

А после концертов они шли обычно в «Националь» или в ВТО ужинать или, если есть не хотелось, то выпить хорошего кофе и коньяку, посидеть, посмотреть на людей, глотнуть этого дыма, этого дразнящего запаха всеобщей интриги, только-только начинающей завязываться здесь, у них на глазах, под этими люстрами, за этими столами вокруг, и, несомненно, уведущей вскоре всех куда-то, куда им с Татьяной доступа уже нет и, вероятно, уже не будет никогда... И обязательно в зале был кто-нибудь немного знакомый, и даже не один, и этот кто-нибудь подсаживался к ним, и начиналась беспечная, беззаботная болтовня ни о чем, ухаживания, улыбки, добродушные насмешки над другими и над собой, легонькие уколы ревности, от которых ни он, ни она тогда еще не только не мрачнели, а, наоборот, лишь оживлялись, делались дружелюбнее и друг к другу, и к другим.

Боже мой, о чем они тогда говорили? О чем? И куда делись все эти талантливые мальчики и девочки, которых так много было тогда вокруг них? В свитерах, лохматые, нищие, но обязательно на толстых каучуковых подошвах или на высоченных каблуках, остроумные, неунывающие, подающие надежды, всегда в кого-нибудь влюбленные, всегда в стадии перехода от одного к другому и от одной к другой... Неужели этот обрюзгший, мрачный субъект, так тяжело, так коряво излагающий вслух нечто, весьма отдаленно напоминающее человеческую мысль, которого он вчера видел по телевизору, — это и есть Ленька Б., самый веселый, самый ядовитый человек из всех, кого он когда-либо знал на своем веку, не шадивший, бывало, ради красного словца никого, даже собственного отца, слишком уж удачно, по мнению сына, приспособившегося тогда к рынку настолько же парадных, насколько и бездарных боевиков? А эта жеманная, насквозь, от ресниц до кончиков мизинцев, фальшивая прима в королевских одеждах, играющая роскошную, а-ля Людовик Четырнадцатый, жизнь так, как она может видаться только из подвалов или коммунальной кухни, завешанной сохнувшим бельем? Неужели эта та самая Машенька Д. с ее чудовищно голубыми глазами и действительно королевской статью, по уши влюбленная тогда в этого Леньку и не отпускаявшая его от себя ни на шаг? Ах, какая же это была прелестная девочка тогда, в те блаженной памяти времена...

А потом они шли домой по Охотному ряду и Неглинной или же по пустым, еще голым в это время года бульварам от Пушкинской площади вниз, шли молча, прижавшись друг к другу и стараясь унять легкую дрожь, все еще не отпускавшую их обоих, — то ли от ночного холода, то ли от возбуждения, от всего этого обилия лиц и голосов, опять растревоживших, растормошивших в них что-то, чему давно уже, казалось бы, пора было утихнуть и отмереть: действительно, какое им в конце концов дело, что где-то что-то сейчас происходит, что кто-то сейчас плачет, а кто-то смеется, что кто-то кого-то любит, а кто-то кого-то нет? На улицах уже не было никого, домой не хотелось, хотелось идти так и идти одним, по пустым улицам хоть до утра, и, бывало, они с Татьяной нарочно выбирали какие-нибудь

самые длинные, самые обходные пути до своей Неглинки, чтобы подольше не расплескать, удержать еще немного это счастливое состояние, которому, как они знали оба, стоило только переступить порог их дома, неизбежно придет конец... Удивительная вещь — ночной город! Люди, что ли, причина всему, вернее, их почти полное отсутствие на улицах в эти часы? Казалось бы, те же мрачноватые дома, те же деревья, те же фонари, что и по вечерам, когда еще суэта не улеглась, но как чисто, как светло на душе ночью, как хорошо идти по безлюдным площадям, по улицам, по маленьким уснувшим переулкам, прислушиваясь к звуку собственных шагов, заглядывая в темные окна и недоуменно озираясь по сторонам — куда, в какой мир тебя занесло?

А еще были в жизни тогда и другие радости, другие открытия... Сколько, например, чуть не с самого детства слышал он вокруг себя: «Балет, балет... Ах, балет!» Слышал и не мог понять — чего люди с ума сходят, чего ахают?.. Балет — ну и балет... А как-то раз попали они с Татьяной на «Отелло», который привез тогда в Москву Чабукиани... И вещь-то была, по совести говоря, не ахти. Слабенький был балет... Но в нем был один выход самого Чабукиани, танцевавшего Отелло... Боже мой, что с ними тогда было! Никогда в жизни не забыть ему этого помешательства, этих двух-трех минут, вывернувших его душу наизнанку, вытряхнувших из него наружу все, что лежало там, в самых его потемках, и чего в себе он никогда прежде не подозревал. Был момент — он даже испугался тогда самого себя: этот безумный, плачущий человек, рвущийся в полном беспомоществе туда, к сцене, где стоит, вытирая пот со лба, этот волшебник, этот шаман, околдовавший всех, заставивший всех кричать, махать руками, проклинать свою бездарную, убогую, муравьиную свою жизнь, — неужели этот человек и есть я?.. Или Эдит Пиаф — ведь он, может быть, чуть не первый открыл ее тогда в Москве, это уж потом, где-то в половине 60-х годов, о ней узнали все... Сколько же силы, сколько красоты было в этом маленьком уродце, подыхающем от туберкулеза, от наркотиков, от своей не нужной никому любви, в этой худенькой женщине с измученными, намо-

танными, как жилы на кулак, нервами, захлебывающейся от отчаяния, шатающейся под ударами, сыплющимися на нее со всех сторон, но не сдающейся никогда и ни перед кем и каждый раз, тряхнув головой и проглотив комок в горле, начинающей все с нуля!.. И Брейгеля он тогда открыл для себя, и Тулуз-Лотрека... И о Шагале тогда Москва только-только начала узнавать... Кто-то из друзей сделал ему тогда царский подарок — привез из-за рубежа альбом раннего Шагала: Витебск, купола церквей, покосившиеся деревянные домишки, коза у забора, старый еврей в длиннополом сюртуке, тоненький серп луны... А в небе, взявшись за руки, в подвенечном платье и строгой черной паре, бледные, сосредоточенные, недоступные в этот час ни для чего земного жених и невеста... О, какой щемящей грустью веяло от его картин, какой робкой была в них человеческая надежда, как же мало просили эти люди от судьбы и как уже тогда этот еврейский мальчик из Витебска точно знал, что даже и этой малости она им никогда не даст...

А, каких только открытий тогда не было! Такое чувство, что если что и было им открыто в жизни, так все это было именно тогда, в тридцать лет...

И преподавал он в те годы еще с постоянным ощущением радости, с азартом, увлекаясь сам и увлекая за собой других, острил, устраивал представления на кафедре, и ему еще невозможно было тогда каждый раз говорить одно и то же и одними и теми же словами — нет, этого он в то время еще позволить себе не мог, потому что совестно было даже и не перед теми, кто сидел и слушал его, а прежде всего перед самим собой. И каждый раз он выискивал тогда какие-то новые подробности, новые мысли из того запаса знаний и мыслей, которым он владел, чтобы только не повториться, не потерять уважение к себе, чтобы задавить, не дать разрастись тому тягостному подозрению, которое сопровождало его всю его профессиональную жизнь и сохранилось, к сожалению, до сих пор, — подозрению, что на самом деле он никакой не ученый, а только лишь достаточно грамотный, достаточно начитанный попугай, добросовестно затвердивший

раз и навсегда все, что ему надлежало затвердить. И ему тогда еще было отнюдь не все равно, кто и как слушает его, и если он замечал где-нибудь наверху, в последнем ряду, одно-другое отсутствующее, не видящее его лицо, он весь сжимался изнутри, напрягался, впивался в это лицо глазами и всем своим существом начинал долбить именно в него, в это лицо, всеми словами, мыслями, образами, всеми интонациями, какими он только мог его достать, и не успокаивался до тех пор, пока эти отсутствующие, сонные глаза не раскрывались, не загорались вниманием и человек этот, сам того не замечая, не попадал наконец, как другие, в полную его власть. Каждый раз это доводило его до изнеможения, и рубашка у него в таких случаях под конец делалась мокрой от пота и прилипла к спине, хоть выжимай, но зато какое все-таки потом это было блаженство сидеть где-нибудь в уголке у себя на факультете или на скамеечке во дворе и переживать эти только что прошедшие два часа, и сознавать свою силу, и знать, что лучше тебя никто не сделает и не может сделать того, что можешь и умеешь делать ты... Суета сует, конечно, тщеславие человеческое, но как же радостно бывало у него тогда на душе, как неловко, совестно, но в то же время как хорошо ему было, когда в ответ на последнее его в лекции слова раздавались аплодисменты — и с первых рядов, и с верхних студенты вставали, и юные, блестящие, восхищенные глаза провожали его, когда он, чуть ссутулившись, спускался с кафедры и, кивнув на прощание, медленно шел к дверям...

И еще тогда были друзья, близкие друзья, без которых не мыслилась жизнь... Кто-то звонил, кому-то ты всегда был нужен, с кем-то надо было поговорить, что-то обсудить или просто так посидеть, выпить по стакану: давно не виделись, непорядок, эдак и совсем можно друг про друга забыть... Каждый вечер в те годы, вернувшись домой из библиотеки, он находил у телефона бумажку, исписанную Ларкиными каракулями:

«Папа, звонил дядя Игорь, и дядя Володя, и еще кто-то, только не сказал кто. Ты им позвони...». Давно уже не лежит эта бумажка у них на телефонной тумбочке, нет ее,

не нужна она стала никому... И дело было тогда, конечно, не в помощи — кто кому из них мог в то время в чем-либо серьезном помочь? Ну, десятку-другую ссудить взаймы, ну, ключи иной раз дать от квартиры, если что у кого не так... Слишком еще слабенькими были, слишком еще сами не твердо стояли на ногах, чтобы помогать... Нет, не помощь тогда друг от друга была нужна, сами они были нужны друг другу — вот в чем все дело... Да-да, сидеть так просто, и смотреть на симпатичного тебе человека, и о чем-то говорить, неважно о чем, — это-то и было нужнее всего... Просто? Несложно? Конечно, просто, конечно, несложно. Но когда была эта простота, были и они, а когда все повзрослели, все посложнели, все это исчезло куда-то и перестало быть, причем само собой, без всяких на то видимых причин...

И тогда же, в те годы, то есть где-то в тридцать лет, он набрел и на главную свою мысль... Пожалуй, ничего крупнее этой мысли он так и не смог найти за всю свою сознательную жизнь, а если смотреть правде в глаза, если не обманывать себя, то больше уже, вероятно, и не найдет. Вряд ли к старости люди делаются умнее; больше знают, больше размышляют, это верно, но это, как говорится, совсем уже иной вопрос... Эта мысль заняла тогда лет пять-шесть его жизни, не меньше — не появление ее, нет, родилась она как-то сразу, легко и просто, в один из таких же вот длинных ненастных вечеров, а ее воплощение во что-нибудь конкретное. Сначала это, как водится, был роман, вернее, попытка его, потом, когда не получилось, на этой же основе — довольно обширное эссе, и в конце концов — солидное историко-философское исследование, которое до сих пор лежит у него в столе и, надо думать, так и пролежит там до самой его смерти, если, конечно, ничего очень уж неожиданного не произойдет... Да и потом, когда его уже не будет, — кто знает? Булгаков, правда, утверждает, что рукописи не горят... Что ж, простим ему эту маленькую ложь в утешение слабодушным, он ведь был писатель, сказочник, не историк, он не обязан был все время оглядываться назад.

Мысль эта, в примитиве, сводилась к следующему: милосердие — самая выгодная политика по чисто коммер-

ческим соображениям. Не по нравственным критериям, не по выбору между добром и злом — нет, именно по циничному будничному расчету в категориях прибылей и убытков, то есть исходя из трезвой оценки эффективности прилагаемых усилий: поступаем так — и получаем то-то, поступаем не так — и не получаем ничего или получаем, но такой ценой, что эффект не выдерживает никакого сопоставления с затратами, которые пришлось для этого приложить... Иными словами, что выгоднее, что эффективнее: кнут или пряник? Нельзя не признать — существенный по жизни вопрос. Может быть, даже главный вопрос.

Много он тогда перелопатил всего, нужного и ненужного, горы целые — кого только и о ком только не пришлось тогда прочесть... И вся эта тысячелетняя китайская распря между легистами и их противниками, и Макиавелли, и Торквемада, и Монтень, и наши поп Сильвестр и соратник его по управлению государством окольниковый Адашев, обеспечившие такой успех началу царствования царя Ивана, — великое множество имен, и каких имен!.. «Милосердие как политический инструмент: опыт сравнительного анализа некоторых средневековых доктрин» — так он назвал в конце концов этот свой манускрипт...

Самым интересным во всех тогдашних его изысканиях была, пожалуй, даже не теория вопроса, не разработка принципа как такового — что ж, что принцип, мало ли было и есть таких принципов, этот тоже только один из возможных, может быть, он и умнее других принципов, а может быть, и нет, на словах же не докажешь, — нет, не теория вопроса, а то, что это все, оказывается, уже было на практике, уже действовало когда-то, и успешно действовало, очень успешно, но почему-то заглохло и не прижилось... Печально, но не прижилось... К примеру, тот же период юности Ивана Грозного... Как хорошо все тогда начиналось! Успокоение страны, внутренний порядок, тишина, достаток, завоевание Казанского царства, потом Астраханского... И вдруг, на ровном месте, ни с того ни с сего — террор, опричнина, избиение целых городов, военные авантюры, разорение государства, и пошло-поехало, и ничего уже не остановить... Но вначале

был не Иван — вначале был благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, уступчивый, лукавый, изворотливый протопоп Благовещенского собора Сильвестр, и был превосходный администратор, выдающийся технолог власти окольный Алексей Адашев. А потом... А вот потом стало действовать известнейшее во все времена правило: лучше перебить десять невинных, чем упустить одного виновного, и вот тогда-то и пошло все черт-те как и черт-те куда...

Развитие, конечно, развитием, законы законами, но и люди тоже ведь что-то значат, тем более те, кто во главе... Каким человеком был Сильвестр, можно вполне, видимо, достоверно судить хотя бы по его «Домострою»: там он прямо говорит, что добро, кротость, снисходительность, щедрость, маневренность — самый эффективный путь приобретения выгод житейских как в малых делах, так и в больших... И в этом смысле он, Горт, здесь, собственно говоря, не открыл ничего нового, он лишь приподнял эти житейские правила до государственного уровня, до уровня политического принципа, т. е. сделал то, что не на деле — на деле-то поп как раз так и поступал, — а на словах, на бумаге не смог или не счел нужным сделать Сильвестр. Почему? Кто ж его знает, почему: может быть, потому, что не по чину был бы по тем временам замах — печатно учить государей, как вести дела, а может быть, и потому, что поп уже тогда сознавал, что здравый смысл, деловой цинизм как руководящая идея вряд ли когда-нибудь найдут отклик в размашистой, истовой душе русского человека, вечно озабоченного поисками какой-то вселенской правды и предпочитающего жить, как живет, но зато с надеждой, что есть где-то земля обетованная и есть где-то праведные люди, которые постом и молитвою, и святым пастырским благословением спасут когда-нибудь всех страждущих, всех убогих и отчаявшихся, указав им единственно верный, единственно возможный путь ко всеобщему спасению и счастью.

Как возмущался, даже спустя уже триста лет, Сергей Михайлович Соловьев этим цинизмом Сильвестра! «Страшно было состояние того общества, — писал он, — в котором лучшие люди советовали щадить интересы

ближнего, вести себя по-христиански с целью приоб-
рести выгоды материальные, как советовал знаменитый
Сильвестр». Как же можно, чтобы «добрые дела служили
только средством достижения корыстных целей»? Ведь
это же фальшь, лицемерие, профанация святых идей, это
не от сердца, это опять от лукавства и от корысти чело-
веческой! Нет, если уж ты пастырь, то ты и сам облачись
в ризы светлые, и нас одень во все чистое, чтобы ни пят-
нышка не было нигде!.. Эх, Сергей Михайлович, Сергей
Михайлович!.. Светлыми-то ризы больше одного дня
никогда не бывают, потом на них всякое налипает, иначе
и не может быть. А жить надо, и двигаться, и шевелиться
тоже надо...

Да и не только Соловьев, и другие тоже... Нет, никогда
дзравый смысл, трезвость, расчет, умеренность не были по-
пулярны на Руси, все так или иначе святую идею искали
и только ее и призывали: все — или ничего! Не надо нам
прогресса, не надо нам процветания, не надо нам милосер-
дия и человеческих условий жизни, если это от головы, а не
от души. Мы скорее вместе с каким-нибудь новым Авваку-
мом и себя сожжем, и других спалим — за любую сказку, за
любую надежду, если только она от святости, от юродства,
если только она от мира того, а не сего... Креститесь, право-
славные, вот ситцевым знаменем, и за единый аз — в огонь!

Когда рукопись, вернее начальный вариант ее, впер-
вые попала на глаза отцу — он уже был в отставке, — отец,
пробежав первые несколько страниц, вскинул на него
недоуменный взгляд. Как сейчас помнится, отец сидел
тогда в кресле, а он, волнуясь и не подавая виду, что вол-
нуется, стоял рядом с ним.

— Ты что это — всерьез?

— Всерьез. А что?

— Так... Будем обращаться к психиатру или обойдемся
домашними, так сказать, средствами?

— По-твоему, уже пора?

— По-моему, пора... Куда уж больше...

— Что так?

— Улыбаешься? Ну-ну... Зря ты улыбаешься, Саша...

Ты-то улыбаешься, а мне не до смеха... Нет, когда же я

все-таки тебя проглядел, а? Был нормальный парень. Ну с завихрениями, конечно, не без этого... Но, в общем-то, хороший парень, хорошая работа, дом, семья... Радовался, думал, можно спокойно теперь и умирать... Я ведь и представить себе не мог, над чем ты, оказывается, сидишь...

— Да что ты, в самом деле? Что ты причитаешь? Что не так?

— Что? Ты... Прежде всего ты... Ты не так... Как ты будешь жить дальше? Не знаю... Честное слово, Саша, не знаю... Раньше, думалось, знал... А теперь — не знаю.

— Как жил, так и буду жить. Не беспокойся, проживу. Не хуже других... А в чем дело? Ты с этой моей основной мыслью не согласен? Из-за нее ты взвился или еще из-за чего?

— Ну, про мысль я вообще не говорю...

— По-твоему, бред?

— Нет, не бред... Хуже... Всякое я в жизни видел. И всякое слышал... Но чтобы так, в лоб, в открытую кто-нибудь говорил, что человечность, добро — это лишь инструмент, чтобы успешнее помыкать людьми...

— Да не так же, отец! Я же не это пытаюсь доказать... Я пытаюсь доказать, что добро, милосердие эффективны и выгодны сами по себе, мало того — что они на деле более эффективны, более выгодны, чем злоба и жестокость...

— Так эдак же любой мошенник станет править людьми! По твоей теории — только им и быть наверху...

— Мошенник? Ну и что ж, что мошенник, отец? Лишь бы умный был, лишь бы выгоду свою и выгоду дела соблюдал... Через выгоду других... Какая разница — мошенник или не мошенник? Важно не это, важен результат...

— С циниками, не с дураками, с циниками жить можно, так, что ли, по-твоему?

— Именно! Именно так... Не к святости надо апеллировать — к расчету! К деловому, циничному расчету — понимаешь? Святых людей на земле всегда немного было. Что наверху, что внизу... Непосильное это дело для людей — вериги носить...

— Значит, давай, хватай, жми, пока можешь?

— Нет, именно не давай, именно не хватай, именно не жми, пока можешь! Именно этого-то как раз и нельзя... Но

нельзя не по Евангелию, не по слезам и соплям человеческим, а потому, что это прежде всего невыгодно тебе же самому, если уж тебе приходится руководить людьми...

— Выходит, побоку все идеалы? Так?

— Почему же побоку? Идеалы идеалами, кому они мешают? Но дело не в них, а дело в том, что прежде всего нужно научиться силы человеческие экономить, это только кажется, что они неисчерпаемы, что их много. И не потому экономить, что людей жалко, — я не про нас с тобой говорю, я вполне допускаю, что есть и всегда будут такие, кому никого не жалко, — а потому, что дать человеку жить, не мучить его — это значит и что-то получить от него, а не дать сгубить его на корню или даже просто не дать ему развернуться по силам — и сам с него, считай, ничего не получишь, и дело твое никуда не пойдет... И никакой электроники здесь не надо, здесь хватит и обыкновенных бухгалтерских счетов. Костяшка туда, костяшка сюда... Именно это надо наконец понять, именно этому надо сначала научиться. А научившись этому, тогда и о чистой морали можно думать, о святых, без пятнышка, идеях, благо их искать не надо, все они придуманы уже давно. И в чем, в чем, а в них-то как раз недостатка никогда не было и нет...

— Н-да... Тоже ведь конструкция, ничего не скажешь... Ну что ж... Если так... Если ты действительно так... Дай-то бог, как говорится, вашему теляти нашего волка съесть... Эх, Саша, грустно! Грустно, я тебе скажу. Так грустно, что плакать хочется... И за тебя грустно, и за себя... Думаешь, хоть так уговоришь? Никого ты не уговоришь... Никого... На, возьми... Не сердись, дальше читать не буду: не могу...

Так эти пять-шесть лет и прошли: днем студенты, семинары, лекции, вечером книги, исписанные, исчерканные листы, покой, тишина, а иногда и наоборот — дрожь в руках, дрожь во всем теле, озноб, стремление вскочить, куда-то побежать, замахать руками, схватить кого-то за пуговицу, рассказать... Это когда удавалось вдруг набрести на какие-то еще не затасканные слова или на новую, по крайней мере для него новую, мысль или даже просто отыскать непривычный поворот достаточно известным уже вещам... Что ж, как бы там ни было, и вдохновение он тоже знал, и слезы

радости в глазах, и комок в горле — и в этом тоже жизнь его не обделила, не обнесла, а могла бы ведь и обнести...

За эти годы выросла, пошла в школу его старшая дочь, умер отец, катастрофически, прямо на глазах одряхлела и рассыпалась мать...

И тогда же в Охотном ряду прорыли первый подземный переход, построили в Театральном проезде вместо Лубянского пассажа «Детский мир», разломали Большую Молчановку, Малую Молчановку, Собачью площадку — чуть не весь старый Арбат, с Трубной, с Рождественского бульвара убрали трамвай... Индустрия? Да, индустрия. Прогресс, будь он неладен. Двадцатый век... Но в то же время именно тогда впервые к нему на Неглинную в окно стали прилетать синицы, которым он с тех пор аккуратнo, особенно зимой, высыпал по утрам горсть пшена на дощечку, прилаженную к форточке, и люди перестали топтать и рвать цветы на бульварах и скверах и сшибать зеленые яблоки с яблонь в садике перед Большим театром просто так, без нужды, из озорства, и на набережных Москвы-реки появились рыболовы с длинными удочками в руках, простаивавшие там, в отдалении один от другого, по целым дням, и, по слухам, в некоторых московских рощицах, зажатых со всех сторон новыми домами, поселились и прижились белки, и никто их не гонял, не убивал, наоборот, подкармливали кто чем мог... Что-то изменилось в людях, или, вернее, что-то начало меняться в них: он чувствовал, он знал это, только вот не мог с достаточной ясностью сказать, что... Но не только общее зло — индивидуальное зло тоже вроде бы стало не так очевидно, не так лезло в глаза: смягчились лица, смягчились, пусть и не у всех, голоса, крикливое, агрессивное уродство и злоба начали постепенно исчезать с улиц и площадей, прятаться по подворотням, забиваться подальше вглубь, на свое место — на человеческое дно, и никто уже, во всяком случае вслух, в открытую, не говорил, что бесчестье, предательство, ненависть — это и есть норма и что только им и надлежит жить... По крайней мере, так казалось тогда, в середине 60-х годов. Зря казалось? Может быть, и зря. А может быть, и не зря — все зависит ведь от того, как и откуда отмерять...

— Нет, ты невозможный человек, — говорила ему уставшая, измотанная работой, транспортом, стоянием в очередях жена, когда они поздно вечером встречались с ней на кухне и сидели вдвоем, пили чай, радуясь тишине, установившейся наконец в доме. Ни радио, ни Ларкиной беготни, ни шаркающих туда-сюда шагов матери, ни даже голосов и передвигаемых стульев там, у соседней за стеной... — Где ты это все увидел? Где? Все со слезами, с мукой, везде локти, везде кулаки, все невыспавшиеся, злые, ненавидящие друг друга... Этого нет, того нет, там стена, здесь стена... Все черт-те как, все через пень колоду... Это, что ли, твое смягчение жизни? Пьянство, воровство, бесптолковщина... Нищета... Ты посмотри, в чем я хожу... Знаешь сколько раз я эти туфли чинила? А у меня муж доцент. И сама я тоже вроде не последний человек... Старший редактор в солидном журнале — казалось бы, для женщины чего еще?

— Брось ты... Туфли, туфли... Ну не хватает — давай я где-нибудь полставки возьму... Живем же как-то... Не хуже других...

— Полставки... Сиди, полставки... Они что, даром даются, твои полставки? Мне живой муж нужен, не инвалид... Прошляпил иную жизнь — так уж не рыпайся тогда, не суетись... Если полставки — тогда о библиотеке забудь. А ты без нее не можешь... Да я не против. Сиди сколько хочешь, хорошо, что хоть домой возвращаешься... Но что меня, по правде говоря, бесит, так это твои эти все рассуждения о гарантиях, о смягчении жизни, о тысячелетней русской традиции... Мол, все идет, как надо, надо только радоваться и ждать...

— Таня, но я же историк, я действительно так думаю! Я действительно убежден, что все идет так, как надо... Вернее, может быть, и не так, как надо, а так, как оно только и может идти, учитывая все наше прошлое...

— Да наплевать мне на прошлое! И всем вокруг — тоже наплевать! А если честно говорить, то и на будущее тоже наплевать! Я сейчас жить хочу, не в следующем тысячелетии! До которого нам, может быть, с тобой и не дожить... У нас-то с тобой одна жизнь. И половину ее уже, считай, прожили... Мне, например, отнюдь не легче от того, что моя жизнь так

удачно вписывается в твою эту тысячелетнюю традицию... Я-то за что должна страдать? Я, понимаешь? Я?

— А вот это, друг мой, вопрос, на который мне нечего тебе ответить... И, пожалуй, это единственный вопрос, который я задам Богу, если нам все-таки доведется когда-нибудь с ним встретиться... Аминь.

— Аминь.

Ему было уже тридцать пять, когда он решился наконец отнести свою рукопись в издательство. Перед тем она, почти законченная, года два пролежала у него в столе: все казалось, что чего-то он не учел, чего-то недодумал, какие-то источники пропустил, какие-то места ему не удалось и их лучше бы переписать вновь... Рукопись взяли и сказали, что месяца через два-три ему сообщат, подойдет или не подойдет. Нечего и говорить, что эти несколько месяцев прошли для него как во сне. Даже Татьяна и та заразилась его надеждами и относилась к нему в те дни как к больному — ласково, снисходительно, терпеливо: потерпи, Саша, потерпи, может быть, и примут, должно же и нам с тобой когда-нибудь повезти?.. Трогательно, но, не спросив его, она даже достала ему путевку в какой-то санаторий, чтобы он хоть таким образом отвлекся, перестал, как помешанный, ходить из угла в угол... Но он отказался, не поехал, рассудив, что нечего попусту тратить деньги — от себя-то все равно никуда не сбежишь.

Голос, позвонивший ему домой однажды вечером и назначивший ему встречу на завтра, в кабинете у заведующего редакцией, был тихий, вкрадчивый, осторожный, как кошка лапой: тронет — отдернет, опять тронет — опять отдернет... Ему даже показалось, что он знает этот голос... «Что вы говорите?.. Да или нет? Ну зачем же, Александр Иванович, так ставить вопрос... Потерпите, не нервничайте, завтра, завтра, обо всем и поговорим, а пока отдыхайте, не волнуйтесь, люди мы с вами солидные, серьезные, это все не телефонный разговор...».

Заведующего редакцией он узнал сразу, как только переступил порог его кабинета: в углу у окна, так что свет падал слева, за большим столом, заваленным бумагами и папками, сидел тот самый доцент Н., за которого он так неудачно заступился тогда, десять лет назад. То же мел-

кое, неприметное лицо, только еще более сморщенное, чем тогда, те же обвисшие плечи в мешковатом пиджаке, те же причмокивающие губы, редкие, теперь уже седые волосы на пробор, круглые очки, тот же взгляд из-под приспущенных век... А кабинет был хорош, ничего не скажешь — прекрасный кабинет, никто бы, наверное, не отказался от такого! Большие окна, белые шторы на них, мягкие кресла и такой же диван, книги, бюст Толстого на шкафу... Тускло-коричневый паркет и ковровая дорожка от двери к окну... Чай с лимоном на столе... Н-да, значит, вот ты теперь где... Тихо, покойно, хорошо, и время, наверное, течет здесь себе и течет, и дни проходят, и люди проходят, и хозяин кабинета так же тихо, незаметно стареет в своем углу, оседая все глубже и глубже в кресло, в полудремоте, давно познав всю суетность и зыбкость этого мира и простив всех ближних и дальних своих...

— Вот и свидеться пришлось, Александр Иванович... А давненько не видались... Садитесь, прошу вас... я-то вас хорошо помню, не знаю, как вы меня... Да, давно это было... Признаться, я был уверен, что вы полностью пошли по китайстике... А вас, оказывается, вон куда повернуло... Что так?

— Не знаю... Сразу, наверное, не ответишь... Вы считаете, что зря?

— Почему же зря? Это как посмотреть... Если в качестве гимнастики мозгов — то, может быть, и не зря... Сюжеты-то, что ни говори, любопытные... Поучительные сюжеты... Ну а если говорить о куске хлеба, то тогда, наверное, зря. Ваш-то профессиональный кусок хлеба, душается, понадежнее был, чем этот... Много понадежнее...

— Так... Значит, не подойдет?

— Нет. Александр Иванович, должен вас сразу огорчить — не подойдет. И это не только мое мнение... Вещь, безусловно, получилась интересная, талантливая вещь... Мы, чтобы не ошибиться, дали ее даже не одному рецензенту, как обычно, а двум... И оба, должен вам сказать, очень уважаемые, очень знающие люди. Мимо них в таких вопросах не проедешь — нельзя. Пожалуй, более авторитетных-то в этом деле и нет никого...

— И обе рецензии отрицательные?

— Да, Александр Иванович, обе. Обе отрицательные. Плюс мнение редакции... Мой вам совет... Честный совет, Александр Иванович... Бросьте вы это дело. Поверьте моему опыту — никаких перспектив я здесь не вижу. На всю вашу жизнь... У вас же к рукам такое богатство — средневековый Китай! Копать бы только да копать...

— Простите, мне хотелось бы все-таки ближе к делу... Что, рецензенты отмечают какие-нибудь ошибки с профессиональной точки зрения? В чем-то я не дотянул?

— Да нет. Вполне профессионально сделано, ничего не скажешь... Концепция неверна, Александр Иванович! Вот в чем дело. Концепция вызывает возражения. Резкие, принципиальные возражения... Это не наш взгляд на вещи, Александр Иванович. И, уверяю вас, нашим никогда не будет...

— Не будет?.. Как знать... А почему вы, собственно, так уж уверены, что не будет?

— Почему? А вам это самому не ясно — почему? Ну, раз не ясно... Что ж, попытаюсь ответить вам... Между прочим, вашими же словами... То есть не вашими словами, а опираясь на вашу же книгу... Вот вы здесь приводите одно место из переписки Ивана Грозного с Курбским... Царь, конечно, в сердцах писал... Но ведь нрав был! Абсолютно прав, и не только для своего времени, а если подумать, то и на все времена, пока человек жив... Помните, он укоряет Курбского? Дескать, ты хотел, чтобы царство управлялось попом-невеждою, а разве так повелел Господь? Не случайно он именно Моисею повелел править, а священствовать не повелел, а Аарону, брату его, первосвященнику, наоборот, править не доверил, а доверил только утешать, души человеческие спасать... А вы, Александр Иванович, чего от жизни требуете, вне всяких ее законов? Чтобы попы-невежды, то есть моралисты, если по-нынешнему, управляли людьми? Не было так никогда, и никогда не будет. На том стоял мир, на том он и стоит... Богу богово, кесарю кесарево — этой-то мысли сколько? Почти уже две тысячи лет. Так?

— Так.

— Ну вот, а вы говорите... Так что, Александр Иванович, прошу на нас не обижаться... Человек вы молодой, талантливый, вы еще себя найдете... Если будет что про Китай, не

стесняйтесь, приносите. Что-что, а наша благожелательность вам гарантирована... По крайней мере, пока я здесь...

Что ж, и этот удар он пережил... Не сразу, конечно, но пережил, хотя, бог свидетель, ему тогда было нелегко, очень нелегко, особенно в первые года два-три... Помнится, все время было такое ощущение, что он или уже заболел или заболевает клаустрофобией — боязнью замкнутого пространства: казалось, что его замуровали, что со всех сторон его окружает глухая каменная стена, которую ничем не прошибить, хоть ты разбейся, хоть разможжи себе голову об нее, и уж не кулачками же стучать об эту стену — стучи не стучи, что толку, все равно ничего не изменится, все равно не услышит никто... Но ко всему привыкает человек. Подходил вечер, и ноги сами собой несли его на Моховую, в давно знакомый зал, где стоял его стол под зеленой лампой и где на выдаче его ждали книги — разные, обо всем и ни о чем, надерганные, казалось бы, случайно, по первому импульсу, порожденному обычным праздным любопытством, а на самом деле, как постепенно выяснилось, вовсе не случайно, а под влиянием каких-то новых сил, медленно, тяжело ворочавшихся в его душе и развернувших его в конце концов на то, чего он и сам не ожидал, — на стихи. Разумеется, не свои, нет: поначалу это были старые китайские поэты, потом пошли японцы, поразившие его своей изысканностью, простотой и прирожденным чувством меры, потом поэзия вообще, и, наконец, в один из таких вечеров он вдруг обнаружил, что сидит и тупо смотрит на лист бумаги перед собой, на котором его почерком и его словами изложена одна строфа из Ли Бо. С этого все и началось.

Вспоминал ли он потом про этот свой трактат? Конечно, вспоминал, не мог не вспоминать. И до сих пор у него на душе что-то саднит, что-то тихо жалуется неизвестно кому, когда он думает о своей молодости, о своих ребяческих надеждах на большую удачу, на — к чему лукавить? — имя и славу человека, высказавшего другим новую и, несомненно, многообещающую мысль... Но что поделаешь? Видно, не пришло еще время этой мысли, не выросла она еще, не выделилась отчетливо и неоспоримо из естествен-

ного хода событий, из традиций, из кипения человеческих страстей. Конечно, придет время, обязательно придет, когда она станет столь же проста и общепринята, как и другие, столь же простые и столь же трудно, столь же мучительно достигнутые мысли: не убий, не укради, не сотвори себе кумира... Но это будет уже, по всей вероятности, без него...

Хорошо — будет. А как же он?.. Он? А что он? Это пятнадцать лет назад казалось катастрофой — все, неудача, непризнание, крушение всех надежд, как же и зачем теперь жить? Пятнадцать лет назад, когда он был еще молод, когда каждой его мысли, слову, каждому поступку или движению души нужно было признание со стороны, когда он, осознанно или неосознанно, все время оглядывался на кого-то за спиной — были ли то гипотетические высшие силы, или люди вокруг, или жена, или висевший у него в комнате большой фотографический портрет покойного отца... За эти пятнадцать лет многое изменилось, и прежде всего в нем самом... Признание, непризнание... Какая, в сущности, разница? Важно то, что он сделал это, что он докопался до этой мысли, что он осуществился как человек... Да-да, именно осуществился! Я отдаю себе отчет в том, что я говорю, это не просто слова, это констатация факта, до которого я, может быть, дорабатывался всю мою жизнь... И, слава богу, для меня больше нет и, надеюсь, теперь уже больше никогда не будет этого вопроса: кто я, и зачем природа пустила меня на свет, и зачем я жил? Я осуществился, я счастливый человек, может быть, один из немногих действительно счастливых людей на земле, а лежит ли у меня в столе рукопись в картонной папке или вместо нее стоит на полке книга с моей фамилией на переплете — какое это имеет значение в конце-то концов?

Так-то оно так... Все так, конечно... Но это я знаю, не они... Они? А кто они?.. Многие они... И в первую очередь, конечно, жена... Она-то ничего не забыла и ничего не простила, вплоть до сегодняшнего дня... Как она расстраивалась тогда! Какие проклятья сыпались на голову тех, кто не пустил его книгу в свет, кто, как она считала, лишил их будущего, растоптал их надежды на иную — более значительную и более интересную жизнь... Да и он сам, гово-

рила она, тоже хорош — сдался, отступился, крылышки вниз, а надо было писать, требовать, протестовать: что ж это такое, в конце-то концов? Выходит, никакой управы на них нет?!.. Сколько раз твердила она ему это, сколько раз пыталась заставить его куда-то пойти, кому-то позвонить, обеспечить чью-то поддержку, да если надо — ведь для святого дела надо, даже и не для себя! — и голову склонить, что-то там признать, слукавить, попросить... И все зря.

Конечно, ее можно попить. Человек она неплохой, простой, женщина как женщина, здоровая, по-своему красивая, иногда умная, иногда нет, и взгляды на жизнь у нее простые, понятные: должен быть дом, должна быть семья, дети должны быть сыты и обуты, а мужик должен деньги зарабатывать, на то он и мужик, а соседям нечего нос задирать — подумаешь, тоже мне, из грязи в князи, видали мы таких, а если кто против меня, или моего мужа, или моих детей — значит, сволочь, значит, враг, таких надо давить, и нечего сопли разводить на пустом месте... И вообще жил бы ты, Саша, как люди живут, а то торчишь там, неизвестно где, до ночи, другой раз и не дождешься тебя, свалишься снопом, я ведь не железная, целый день на ногах туда-сюда, попробуй тут, дождись... Жена я тебе или не жена? Что ты молчишь? Молчишь, молчишь, целыми днями или нет тебя, или молчишь... Другая на моем месте небось давно бы сбежала! Это только я такая дура, вышла замуж за такого нескладеху, как ты, вот и сиди теперь целыми вечерами, жди, грызи ногти перед телевизором, дождайся, пока тебе там в твои игрушки играть не надоест... Послушай, а может быть, все не так? А может быть, у тебя другая есть? А я, дура, верю, переживаю за тебя... Так или нет? Опять молчишь? Убери руки, я серьезно спрашиваю: так или нет? Почему у тебя сегодня круги под глазами? Ты же ведь не болен? И от тебя не пахнет — ты не пил...

Но это была, так сказать, основа, природная основа... Конечно же, на нее напластовалось и многое другое — воспитание, образование, общение с другими людьми... Татьяна, например, очень следила за всеми новинками в журналах, бегала по выставкам, любила, чтобы вокруг были люди, много людей, чтобы они сидели, разговари-

вали, рассказывали что-нибудь интересное, чтобы был стол и чтобы они галдели, спорили за этим столом, а она чтобы участвовала во всем этом — одним словом, чтобы вокруг была жизнь, настоящая жизнь, а не почти могильная тишина, которую он в отличие от нее так ценил. К тому же с годами его личные связи не только не расширялись, а, напротив, все больше и больше ослабевали: в итоге, если говорить о нем, то остались лишь двое-трое таких же чудачков, как и он сам, которых он знал еще со студенческих лет и которые по своему характеру и по своей манере жить давно уже не представляли никакого интереса для нее. Придут, сядут, курят, играют в шахматы, молчат или же залезут в такие дебри, в такой нафталин, что хочется плюнуть и выйти вон из комнаты — неужели это все действительно интересно им самим? Господи, хоть бы врезали раз по-настоящему, ведь здоровые же мужики, кажется, своими руками налила бы каждому до краев, только бы их расшевелить, только бы заставить их вспомнить, что есть же в конце концов и кроме всей этой их чепухи какая-то иная жизнь... Небожители... Кругом черт знает что делается, страдают люди, всякая сволочь лезет отовсюду, подминает под себя всех и вся, а им хоть бы хны...

Пожалуй, только одного из его старых приятелей она и любила — Андрюшеньку К., но этот давно уже был скорее даже не его приятель, а ее. Преуспевающий журналист-международник, седые виски, гвардейская выправка, внушительный, но подтянутый жилетом живот, полная благожелательность к окружающим, а к женщинам в особенности, уверенный взгляд, уверенный голос, отменный аппетит, согласие со всем и в то же время легкая насмешка над всеми и над всем, в руках всегда цветы, или коробка конфет, или какая-нибудь пустяковина, но привезенная не из Моршанска, а по меньшей мере из Монте-Карло, если не прямо с Гавайских островов... Приятно было на него смотреть, всегда он был добр, всегда приветлив, а от души это было или нет — какая, в сущности, разница? Жаль, что и он в конце концов как-то незаметно почти ушел из жизни... Что

ж, большому кораблю большое плавание... Что ни говори, а это был все-таки сравнительно порядочный человек...

И если подумать, то, наверное, именно из-за его, Горга, манеры жить и начали появляться тогда, ближе к концу 60-х годов, в их доме какие-то странные люди, которых он раньше не знал и на которых он поначалу даже и не обращал особого внимания, будучи уверен, что эти посещения случайны и не сегодня-завтра все будет опять так же, как и было до них...

Помнится, первыми были две ее подруги по редакции, — Татьяна работала в одном известном педагогическом журнале: ухоженные, интересные, но, судя по всему, одинокие дамы не очень определенных лет. Когда он впервые, вернувшись поздно вечером из библиотеки, увидел их, они и жена сидели на кухне и пили чай: обе дамы почему-то смутились при его появлении, разговор их затих, и они, очевидно, были рады, когда он, после нескольких фраз ни о чем, ушел тогда к себе спать. Потом за ними потянулись и другие, преимущественно мужчины, и теперь уже нередко, возвращаясь домой, он заставал у себя в гостиной за столом целую компанию, оживленно беседующую о всяких животрепещущих вещах. Обычно на столе стояли две-три бутылки вина, водка, маслины, пирог, испеченный на скорую руку Татьяной, чайник, их любимые чашки из майсенского сервиза, когда-то привезенного из Германии его отцом, свет был полупритушен, под потолком плавал табачный дым, в углу негромко мурлыкал проигрыватель, иногда разговор нарушал бой больших стеновых часов, отбивавших время каждые полчаса, но и после двенадцати никто из них обычно не уходил — как правило, каждое такое заседание кончалось не раньше двух...

— Этот, с бородой, очень хороший художник. Конечно, не выставляется, но покупают теперь все. Даже Костаки покупает, — шептала ему на ухо Татьяна, когда он, притащив из кухни табуретку, усаживался рядом с ней. — Это лингвист, переводчик на английский, перевел, между прочим, почти всего Пастернака. А до этого не то пять лет, не то семь своих отсидел... А это экономист, профессор, ты как-нибудь поговори с ним, думаю, тебе будет интересно...

— И тоже сидел? — спрашивал он.

— Нет, кажется, не сидел... Да какая тебе разница — сидел, не сидел? Интересный человек — и хватит... Почему обязательно сидел?

Бесспорно, это все был интересный народ. Говорили они смело, резко, размашисто: Бердяев, Оруэлл, Конквест, другие, в том числе и свои, домашние, так сказать, имена так и мелькали за столом, их собственный анализ был беспощаден и порой математически точен — все болевые точки они знали, что называется, наизусть, ответы на вопросы у них были четкие и, как правило, однозначные: ломать, все ломать, все прогнило, все надо заново, иначе нет никаких надежд, иначе тупик... Ломать — не строить? Демагогия! Нет, чтобы построить, надо прежде всего сломать, именно сломать, всякие коррекции имеют смысл только в том случае, если их конечная цель уничтожить то, что — разве не ясно? — не оправдало, изжило себя, что уже и так обречено... Во все вложено столько страданий, столько сил? И это устраивает большинство, подавляющее большинство? Ну, что ж, тем хуже для этого большинства! Если его устраивает всю жизнь копошиться в грязи, пить, воровать и ничего не делать — значит, само по себе оно не способно ни на что, значит, кто-то должен вывести его из этого состояния, разбудить, показать дорогу, показать, что может быть альтернатива, может быть иная, более достойная, более осмысленная жизнь...

Он, Горт, обычно мало участвовал в этих дискуссиях, предпочитая не выходить из той роли, которую он сам же себе и определил: чудака, увалень, тугодум — доктор Дымов при своей умной и обаятельной жене. Помимо свойств его характера объяснялось это еще отчасти и тем, что ему, человеку, действительно думающему медленно и тяжело, было крайне важно понять не круг этих идей и размышлений, — чего ж тут было не понять, все это было известно и понятно, можно сказать, еще с пеленок, — а самих этих людей.

Как, откуда взялась у них эта размашистость? Эта способность не шадить никого и ничего? Эта слепота, нежелание видеть, что за благородными словами и намерениями вновь, в который раз, маячат кровь и разрушение? На-

конец, это легкомысленное пренебрежение к вещам, которые, казалось бы, теперь-то уж должны быть очевидны для всех, — к тысячелетним корням, к урокам и опыту истории, к логике самодвижения такого огромного, такого сложного организма, каким является народная жизнь. Было! Все было, дорогие мои... И что вы ни делайте, как ни бейтесь, но она рано или поздно все равно возьмет свое и пойдет именно тем путем, каким ей от века только и надлежало идти... К лучшему или к худшему? Ну, это, как говорится, другой вопрос. Лично я, например, уверен, что к лучшему, но это даже и не важно, важно, что иного пути у нее не было и нет: он, этот путь, органически вырос из всего нашего прошлого, из нашего характера, нашего отношения к себе и другим, из нашего — не чужого, а именно нашего — способа жить. Он может не нравиться, этот наш способ жить, согласен, в нем много мрачного, отталкивающего, но он наш, и у каждого из нас есть только один выбор: либо принимай, либо отстранись. Благо теперь-то этот выбор реален, он доступен для всех: не хочешь? Не приемлешь? Не мешай, отстранись. С голоду не помрешь...

Интересно, Чаадаева-то из них хоть кто-нибудь читал? Нет, боюсь, что не читали, а если и читали, то не поняли ни строки из него, усвоили лишь, что объявили умного человека сумасшедшим, — еще тогда! — только и всего. А ведь он дело писал, и писал не для кого-нибудь — для них... Грустно, но все возвращается на круги своя... Как легко они швыряются сотнями тысяч и миллионами — одних туда, других сюда! Как мало им надо, чтобы объявить всю толпу, всю мятущуюся, задавленную заботами, изнемогающую в борьбе за жизнь человеческую массу быдлом, а тех, кто ведет эту толпу, — негодьями, зажавшимися на дармовых хлебах... И как горят у них глаза, когда мечты их заносят в такую даль, где они уже ясно видят себя хозяевами жизни и человеческих судеб! Безначалие? Нет, не безначалие! Они не за безначалие, они лишь за другое начальство, за начальство, составленное из них самих... О, какими же жесткими бывают у них иногда глаза, какой металл звучит в голосе, как они точно знают все, что должно быть! И каким же тошнотворным, трупным запахом тянет в воздухе, когда они про-

износят даже такие слова, как свобода, равенство, братство, человек... Между прочим, дорогие мои, не такой уж я лопух, как вам кажется: я-то, например, помню — интересно, помните ли вы? — первую выставку этого бородача на Кузнецком мосту, в пятьдесят втором. Помнится, очень тогда его хвалили, и помню две его тогдашние сверхударные вещи, одна, кажется, называлась «Строитель будущего», вторая — «Полет к звездам»... Так когда же он лгал — тогда или здесь? И теперь, по-вашему, я — я должен верить ему?!

— Вы же, Александр Иванович, историк, следовательно, рационалист, — говорил ему, бывало, этот профессор, пожилой, нервный, дерганый человек, преподававший политэкономии в каком-то техническом институте. — Как же вы можете искать объяснений и оправданий необъяснимому? Тому, что за пределами всякого здравого смысла, что алогично по самой своей сути? Какая, какой системе, скажите, угроза — приусадебный участок? А сколько сил мы до сих пор тратили и тратим на эту бессмысленную войну с ним? Вместо того чтобы сделать его еще одним источником богатства нации? Нам же есть нечего! А мы?! Ну, нажил лишнего — так налогом его подстриги, вместо того чтобы воевать с ним. И тебе хорошо, и ему хорошо... А такую сценку вам видеть не доводилось? По подземному переходу бежит, выпучив глаза, старуха с корзинкой флоксов, а за ней два здоровенных лба, и оба с кобурой на боку? Эти-то силы мы на что тратим? Кому она помешала, эта старуха? Что, у нас других проблем нет, как только гонять ее почем зря?

— Я не оправдываю. И оправдать, естественно, не могу, — отвечал Горт. — Более того, то, что вы говорите, совпадает с моими собственными размышлениями. Я даже когда-то пытался писать о подобных вещах. Совсем недавно пытался, всего пару лет назад. До сих пор в столе лежит... Но если не оправдать, то объяснить это я, мне кажется, могу... Во-первых, у алогичности тоже, как правило, есть своя логика, и, хочешь не хочешь, с ней тоже приходится считаться. Если задача — стабильность, равновесие, а равновесие, как известно, вещь чрезвычайно хрупкая, то на каком-то этапе, как это ни дико звучит, и старуха-цветочница тоже может быть угрозой. Пусть кажущейся, но

угрозой. Устоится все, утвердится окончательно — тогда и о ней можно будет забыть... А во-вторых... А во-вторых, у всякого явления или движения тоже есть своя инерция... Сколько десятилетий мы воевали с этой старухой? Зря? Конечно, зря. Но одним указом эту войну не остановить. Целый слой людей вырос и утвердился на этом, их тоже надо развернуть на другое, им тоже надо дело найти... Погодите, придет и этому черед...

— Доки солнце зийде, роса очи выисть... А? Ведь не новая мысль, Александр Иванович, как вы считаете?

— Что делать?.. У истории свои темпы. И подгонять ее — напрасный труд... Тоже ведь, согласитесь, не новая мысль...

— Ах, Саша, Саша... «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» И как тебе это удалось — достичь такой nirваны, живя в Третьем Неглинном, бывшем Нижне-Кисельном переулке, в городе Москве, в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году? Может, поделишься секретом, а? — сейчас же откликнулся на это другой их постоянный теперь гость, единственный из присутствовавших, кого он знал еще раньше: учились когда-то вместе, в параллельных классах, потом он как-то потерял его из виду почти на два десятка лет... Нелегкую, как оказалось, дорогу выбрал себе этот человек: окончил медицинский институт, работал врачом, потом увлекся каким-то таинственным направлением в восточной медицине, дальше — больше, бросил клинику, бросил дом, семью, стал уже даже не врачом, а по существу бродячим проповедником какой-то мало кому понятной пока религии и теперь был, что называется, полностью на вольных хлебах — сам себе хозяин, ни кола ни двора, ни начальства, ни семьи, куда хочешь, туда и иди, где хочешь, там и живи... Живи, проповедай какого-то своего, нового бога, только не очень попадайся на глаза властям... Они, как известно, неорганизованности не любят, на бога-то им наплевать, а вот если шатается беспричинно человек туда-сюда...

— Поделюсь, друг мой, Константин Иванович, — в тон ему отвечал Горт. — Отчего ж не поделиться? Поделюсь... Поменьше бы надо человечество спасать... Побольше бы

надо думать о тех, кто рядом, кому без тебя не прожить... И о себе. И о себе тоже думать... Может быть, главное-то зло — не в человечестве? Может быть, оно в тебе, во мне, в каждом из нас, кто здесь сидит?

Прошло, однако, какое-то время, и он начал замечать, что за столом у них собиралась не просто компания симпатизирующих друг другу людей, нет, это было, несомненно, нечто большее, только вот что конкретно — тогда, по крайней мере, он не смог бы объяснить. Иногда он перехватывал обрывки каких-то фраз, которые можно было истолковать как деловые сообщения или даже поручения то одному, то другому из сидевших за столом; не раз, обычно на журнальном столике в углу, — видимо, читали до его прихода — он находил потрепанные, явно прошедшие через многие руки листки, либо посвященные какому-нибудь обиженному властями лицу, либо в форме хроники всего происшедшего в этой области за тот или иной срок; иногда у них в доме появлялись и новые личности — все больше какие-то хмурые, настороженные юноши, по-видимому, без определенных занятий, которых представляли обычно или с улыбкой — вот познакомьтесь, наш новый Ломоносов, тоже из Холмогор, пешком пришел, — или просто как факт: двоюродный брат из провинции, проездом, деваться ему некуда, если не возражаете, пусть с нами немного посидит.

Признаться, иногда ему, Горту, до боли бывало жалко всех этих людей, особенно молодых. В их резких, подчеркнута независимых голосах ухо его частенько — и очень явно! — слышало какую-то странную растерянность, неприкаянность, какую-то давнюю, идущую издалека жалобу, обращенную к кому-то, кто мог бы терпеливо, не сердясь и не бранясь, хотя бы однажды выслушать их, выслушать то, что наболело, — про самого себя, про свою нескладную, никак не получающуюся жизнь, про тех злых людей, которые когда-то обидели их и продолжают обижать...

Разве так уж трудно было бы при желании, думал Горт, понять этих неприкайных молодых людей, обласкать их, смягчить, помочь им как-то с толком устроить свою жизнь? И разве представляло какую малейшую трудность

устроить хоть одну выставку этому художнику? Ну, стал человек вместо строителей будущего писать берцовые кости на красном фоне — ну так и что? Кому от этого плохо? Не нравится — не смотри. Нет, бульдозером по мольбертам, по холстам... Зачем? И разве трудно было дать высказаться на страницах какого-нибудь журнала этому профессору политэкономии? Ведь он же за дело болеет, за дело — не за пустяки! А вдруг и скажет что-либо путное, нужное всем?.. И если уж на то пошло — разве так это немислимо, так невозможно было принародно, в полный голос, попросить прощения у всех тех, кто ни за что ни про что попал в свое время под безжалостное сталинское колесо? Ведь вы же даже сами тогда еще, в начале 60-х годов, собирались памятник поставить в Москве, по крайней мере тем из них, кому так и не посчастливилось уцелеть.

Но это сочувствие к ним, к своим гостям, держалось у него, по чести говоря, обычно недолго. Так, уколёт что-то в сердце, зашемит, напомнит что-то давнее, больное, знакомое и ему — и пройдет... А пройдет скорее всего потому, что каждый из них, включая и вновь прибывших, за вечер хоть раз да должен был обязательно сказать что-нибудь такое, отчего его, Горта, сразу охватывала тоска... Что-нибудь, из чего всем вокруг должно было стать сейчас же, немедленно ясно и понятно, что и он, этот человек, тоже лидер, тоже ведущий, и ему тоже известна истина, скрытая или скрываемая от всех других — от улицы, от толпы, от всех тех, безликих и бесчисленных, кого, по их мнению, полностью подмяла под себя и подчинила нынешняя жизнь...

Но больше всего его, однако, раздражало даже не это, даже не сама обстановка в доме, а, как он вскоре понял, один, вполне конкретный человек в ней — лингвист. Это был высокий, сутулый мужчина лет сорока, костистый, жилистый, с вздувшимися венами на руках, почти уже седой, с низким лбом, жестко обтянутыми скулами и немигающим взглядом неподвижных глаз. Угнетало в нем все: как он сидел — твердо, основательно, попробуй такого сдвинь; как он слушал других — холодно, молча, не позволяя себе шевельнуть даже мускулом на лице и не отводя от говорящего глаз; как он улыбался, не размыкая

губ; как отвечал, если обращались напрямую к нему, — не сразу, нехотя, будто роняя камни, а не слова.

Многое, видно, прошел человек, думал Горт, глядя на него. Все прошел... И голод, и нары, и лесоповал, и замерзал, и бит бывал, наверное, неоднократно смертным боем, и ножом за жизнь свою отбивался, и если что опять — такой уж не погибнет, не сдастся, выживет, куда бы ни попал, разве что только сразу в расход... И такого теперь уж ничем не умолить, не уговорить... Да, но как же Пастернак? Ведь он, как они говорят, перевел его почти всего?.. «Мирами правит жалость...» Ах, Борис Леонидович, Борис Леонидович... Какая же ирония судьбы! Если бы ты знал, у кого, в чьем обиходе теперь эта твоя, может быть, самая великая по отчаянной смелости своей мысль из всех, когда-нибудь произнесенных на земле...

Несомненно, лингвист был главным среди них. Даже художник — бурбон, грубиян, то и дело толкавший стол своим толстым животом, не умещавшимся у него на коленях, и вечно либо с порога уже пьяный, либо напивавшийся к концу вечера, — даже и он относился к нему с явным почтением и ни разу не задрался с ним... Хуже всего, однако, было то, что, как он, Горт, видел, и Татьяна тоже уже каким-то образом попала в зависимость от этого человека. Достаточно было одного его взгляда — и она обрывала только что начатый и, казалось бы, совершенно безобидный разговор или, смутившись, начинала сновать туда-сюда из кухни в комнату и обратно, переставлять посуду, искать что-то явно ненужное в шкафу; когда же она слушала его, глаза ее загорались, делались влажными, губы потихоньку раскрывались, шея, лицо вытягивались вперед, пальцы вздрагивали, переплетались или же, словно в лихорадке, начинали мять и комкать платок, зажатый в кулаке... И не раз он замечал, что и после того, как они уходили и в доме устанавливалась тишина, она, прибрав со стола, долго еще сидела на кухне — одна, не зажигая свет, в темноте.

Однажды, когда Горт, как всегда, часов около одиннадцати вернулся домой, оң застал их, Татьяну и лингвиста, вдвоем: они сидели в креслах у журнального столика, перед ними стояли два стакана и только что начатая бу-

тылка шампанского, атмосфера в комнате была тихая, покойная, и он, чтобы не быть невежливым, тоже подсел к ним, хотя, конечно, если бы не именно этот человек, он, наверное, предпочел бы просто пойти к себе и лечь спать. Разговор крутился вокруг стихов, это было все-таки небезынтересно для него, лингвист зло и компетентно высмеивал кого-то из нынешних крикунов — вернее, всех их сразу хохом. Горт, хотя в душе и был согласен с ним, из духа противоречия стал возражать, беседа оживилась, голоса стали звучать громче, Татьяна тоже ввязалась в спор, конечно же на стороне гостя, и незаметно как, само собой, от стихов они опять свернули на большие проблемы, на то, что в жизни вообще не так и что надо для того, чтобы было так, как оно должно быть.

— Понимаете, Анатолий Сергеевич, вот вы говорите: преобразовать, изменить... — тщательно, осторожно подбирая слова, говорил Горт. — А кто, позволительно спросить, будет преобразовывать? Вы? Вы и ваши товарищи?

— Мы... Или не мы, но другие — такие же, как мы...

— Так. Понятно... В связи с этим, должен вам признаться, у меня иногда возникает один вопрос... А среди вас кто, так сказать, впереди, кто лидер? Вы, или ваш этот друг — художник, или экономист, или еще другой кто-нибудь?

— По-видимому, я... А что? Какое это имеет значение? Не я — так другой...

— Подождите, подождите... Имеет, очень даже имеет... Значит, если я вас правильно понял, у вас тоже, говоря на нынешнем языке, есть свой председатель, свой зам-председателя, свой заворготделом, свой инструктор или, как там его, референт? А когда-нибудь будут и своя уборщица, и свой вахтер? Так?

— Ну, так... Если других слов вы не знаете — что ж, сгодятся и эти. Дело в конце концов не в словах... А разве может быть по-иному? Вы разве знаете какой-нибудь другой путь?

— Минуточку, прошу вас... Сейчас мы не об этом. Сейчас мы о другом... Значит, если так, то вы, лично вы, Анатолий Сергеевич, играете не только за себя, но и за других

тоже? И вас не смущает, что никто вас на это не уполномочивал, никто вас об этом не просил? Вы никогда не задавались вопросом: имеете ли вы право играть не только за себя, но и за других? Имя которым — легион?

— Легион... Если бы — легион... Так, значит, не верите, Александр Иванович?

— Кому?

— Нам, мне...

— Нет, не верю. Извините меня, но не верю...

— Хорошо, нам вы не верите... А кому вы тогда верите, если так?

— Никому... Никому, кто играет не за себя, а за других... Хотите знать, кому я действительно верю? Тому буддийскому монаху во Вьетнаме, который облил себя керосином и сжег на площади, на глазах у всех... Только ему, пожалуй, и верю...

— Вот вы, значит, как... — вздохнув, лингвист медленно, согнувшись, приподнялся с кресла, ткнул окурок в пепельницу, придавил его, повертел туда-сюда, потом распрямился во весь свой рост и отошел к окну. Какое-то время он стоял молча, повернувшись к ним своей сутулой спиной и постукивая пальцами по подоконнику. В комнате установилась гнетущая тишина, было слышно, как тикают часы и как бормочет что-то там свое радио у соседа за стеной.

— Вот вы, значит, как... Выходит, по-вашему, Александр Иванович, я тоже негодяй? Что ж не договариваете? Так?.. Ну, а теперь моя очередь спрашивать... Что вы знаете про меня? Вы, проживший всю жизнь как у Христа за пазухой? Страус, уткнувший голову в песок?.. А то, что у меня уже в двадцать лет не было зубов, — это вам о чем-нибудь говорит? А этот шрам, от ключицы до ключицы — он, по-вашему, откуда взялся? Может вам показать еще и отмороженные пальцы на ногах? Или поверите и так?

— Не стоит, Анатолий Сергеевич. Право, не стоит... Поверю и так... Но ведь не об этом сейчас разговор...

— Не об этом? Ах, не об этом... Тогда о чем?

— О том, что каждая действительно крупная перемена — это прежде всего миллион вакантных мест. И, как я понимаю, лучшие места в этом случае уже зарезервиро-

ваны — для вас и ваших друзей... Ну, а другим как быть? Нам с Татьяной, например?

— Тебе... Тебе, шукура... — Пальцы гостя, хрустнув, стиснули на секунду край подоконника. Потом, помедлив, с усилием, он оторвался от окна и шагнул к столу. Тяжелое, из ноздрей, дыхание опалило Горту лицо, и он невольно дернул головой: лоб, стиснутые губы и холодные, еще более бесцветные от бешенства, чем всегда, глаза теперь были прямо перед ним, вернее, сверху, над ним, поскольку он продолжал сидеть. — Тебе мы тоже место найдем... Моли бога, если действительно сжались — возьмем вахтером... И за это-то... И за это-то еще поползаешь в ногах... Вахтер... Это еще будет счастье для тебя, если вахтер...

Глухо стукнула входная дверь — гость ушел. Они с Татьяной долго еще сидели потом друг против друга: она плакала, он молчал. Потом она встала, составила со стола посуду на поднос и ушла на кухню. Было около двенадцати. Понимая, что ему теперь не скоро уснуть, он достал с полки какой-то средневековый роман и погасил большой свет... Больше этих людей у них в доме не было, по крайней мере при нем. Татьяна, надо отдать ей должное, выплакавшись тогда вволю, больше уж ничем не напоминала ему о них, и если он потом что-либо и знал или слышал о ее прежних друзьях, то знал не от нее, а по газетам или стороной. Говорили, что кое-кто из них в начале 70-х эмигрировал; во всяком случае, разговоры об этих людях и в прессе, и в московских домах вскоре начали стихать и постепенно сошли на нет... Да, бесспорно, интересный был народ. Но... Но, как оказалось, жидковат.

* * *

Что же еще было потом, после того столкновения у них в доме? Многое было... Было и хорошее, было и плохое, было и такое, что он и сейчас не мог бы сказать — благодарить ли за это судьбу или же, наоборот, сетовать на нее... Что такое, например, была та встреча в каталоге, у столика библиографа, той же зимой, чуть было не перевернувшая тогда всю его жизнь?.. А... Даже о таких вещах,

касающихся лишь его одного, человек не может ничего с уверенностью сказать... Так как же можно тогда утверждать, что ты знаешь, что лучше, а что хуже для других?..

Что-то он такое нужное искал в тот вечер, статью или комментарий какой-то — неважно, сейчас уже не вспомнишь, все-таки прошло уже столько лет... Просмотрев и алфавитный, и систематический каталоги и не найдя в них ничего, он решил обратиться к дежурному библиографу — кто знает, может быть, помогут, ведь у них какая-то своя система поисков, и не раз он убеждался, что даже и очень специальные вещи не так уж трудно было найти, если за дело брался знающий эту систему человек. В углу, в конце балюстрады, за отдельным столом, так, что ее видно было отовсюду, сидела, склонившись над книгой, женщина в цветастой шали, наброшенной на плечи: лица ее он сначала не разобрал, только издали еще заметил ее черные волосы, расчесанные на пробор и собранные в узел на затылке, и большие, чуть притемненные очки — такие тогда только входили в моду. Подойдя к ее столу и постояв немного около него — она все еще не поднимала головы, — он осторожно кашлянул в кулак:

— Здравствуйте...

— Здравствуйте... — оторвавшись от книги, дружелюбно, профессионально благожелательным тоном ответила женщина и подняла на него глаза, — Извините, увлеклась... Я могу быть чем-нибудь полезна вам?

Он похолодел. Сердце застучало, ладони сразу стали мокрыми, что-то сдавило грудь: он хотел схватить воздуха — и не мог...

— Леля... — наконец выдавил он из себя.

— Саша... Ты... Господи... Не может быть... Неужели... Неужели — ты?!

И все — будто и не было этих четырнадцати, да нет, уже четырнадцати с лишним лет...

Сколько же им было тогда, когда они расстались? Двадцать два. Значит, теперь ей как минимум тридцать шесть. Но как же она сумела так сохранить себя? Те же волосы, те же длинные стройные ноги... И ни морщинки на лице, когда она снимает очки... Или это все чудеса кос-

метики? Раньше, помнится, она не подводила так явно глаза... Но и это ей идет — синий тон, синие глаза... Губы, как всегда, полуоткрытые, родинка слева на подбородке, улыбка такая же, как тогда... Бог ты мой, и та же серебряная побрякушка на груди — неужели и это еще с тех времен?.. Леля, Леля, где же ты была все эти годы? И почему все было без тебя? Или и не было ничего без тебя, и это все был только сон, длинный, мутный сон, а теперь я проснулся, и все опять как было тогда, и ты опять здесь?

Она куда-то сбегала — видимо, отпросилась, он сдал книги, и через пять минут они были уже на Моховой. Было около восьми, шел снег, у стоянки такси чернела очередь — нет, ждать они не могли. Автобус? К черту автобус — автобус тоже был сегодня не для них... Молча, быстро, скользя и прижимаясь друг к другу на плохо вычищенных, бугристых от наледи местах тротуара и мостовой, они перебежали на другую сторону улицы — аптека на углу, помнится, тогда еще была, обогнули Александровский сад, прошли из конца в конец Большой Каменный мост — навстречу ветру, уткнувшись носами в воротники пальто и не поднимая головы, потом свернули на безлюдную Кадашевскую набережную — быстрее, быстрее, только осторожно, здесь очень скользко, черт, хоть бы посыпали песком, потом в Лаврушинский, потом налево, уже задыхаясь, еще одним переулком на Ордынку — и вот он, ее дом, флигель, садик перед ним в снегу, дорожка вокруг, скамейки, сугробы в человеческий рост... Какой же он, оказывается, маленький, этот садик, а казался когда-то таким пустынным, большим... Вот и подъезд, так же плохо освещенный, как и тогда, и широкая, в два пролета лестница на второй этаж, и та же дверь, обитая черной кожей, и табличка около нее... А в коридоре уже не одна лампочка — три, и не голые, а под стеклянными колпаками, и никакой рухляди по стенам уже нет, только чей-то огромный сундук как стоял тогда в передней, так и стоит... И белый рояль в комнате с поблескивающими в полутьме подсвечниками на нем, и длинные кисейные занавески, и фотографии пятнами на стене, и овальный, под скатертью, стол, и все тот же фонарь за окном... Не надо, Леля,

не зажига́й свет, здесь так хорошо, дай мне вспомнить, дай мне постоять в темноте... Мне только провести ладонью по твоим волосам, почувствовать холод твоей щеки, мне так немного надо, если бы только знала... Если бы я сам это знал тогда, когда можно еще было все спасти...

— Милый мой... Саша... Саша... Как же я тебя люблю... Потом, уже ближе к одиннадцати, накинув халат, она вышла на кухню, принесла оттуда чайник и банку растворимого кофе, достала из шкафа коньяк, включила лампу в углу, пододвинула поближе к дивану маленький стол, сама же примостилась рядом на ковре, облокотившись на диван и положив голову ему на грудь... Пальцы ее медленно перебирали его пальцы, свисавшие вниз, колени ее были почти у самого его лица, он дотянулся до них губами и так затих...

— Давай выпьем... — вздохнув и оторвавшись наконец от него, сказала она. — Господи... Ведь еще три часа назад не думала, не гадала ни о чем... Как же это так, а? Откуда ты взялся, скажи?.. Ну, за встречу?

— За встречу... Нет, этого мало... Не только за встречу... За то, что ты — это ты, и всегда будешь ты... И за то, что ты опять со мной...

— С тобой?.. Если бы... Нет, Саша, к сожалению, не с тобой... Сама с собой... Так будет точнее... Ах, какая же я была тогда дура! Какая дура... Ты меня простил?

— Простил... Давно простил. Может быть, даже еще тогда... Только не надо об этом, хорошо?

— Хорошо... Тебе еще не нужно уходить?

— Брось... Нужно — не нужно... Разве это меняет что-нибудь?

— Меняет... Меняет, Саша... Прошу тебя, если уже нужно — уходи... Я не хочу, чтобы тебе было трудно со мной, не хочу быть для тебя обузой... Я хочу еще много, много раз тебя видеть... Пока ты меня не бросишь, пока я тебе не надоем... Теперь ведь твоя очередь бросать меня...

— Прекрати... Что с тобой? Ну, вот, и слезы на глазах... Это еще зачем?

— Это от счастья...

— Тогда какого же черта ты несешь всякую чепуху?

— Нет, Саша, не чепуху... Совсем не чепуху. Если бы ты знал, какая я теперь умная... И как я теперь знаю все...

Она работала попеременно — день утром, день вечером, и, значит, как минимум три-то вечера в неделю и в эту зиму, и потом всегда были их. А если добавить к этому и другие маленькие удачи — заболела, отпросилась, или выходной, или даже просто возможность посидеть с ней полчаса рядом, на балюстраде, у ее стола, особенно если работы было немного и никто им не досаждал, то получалось, что они виделись в то время почти каждый день... Никуда они не ходили — ни в кино, ни в театры, ни к кому-нибудь в гости, никого не видели, и к ним никто не приходил: зачем? Это все было лишнее теперь, ненужное — хватит и того, что у них есть комната, есть три-четыре часа, которые принадлежат им и только им, есть он и она, она и он, а кто там, что там за окном, за этими толстыми стенами — какое им до этого дело в конце-то концов? Сегодня, сейчас, когда каждое мгновение из этих трех-четырёх часов хочется сжать в кулак и не выпускать, не разжимать пальцы — лучше уже не будет, неоткуда ему взяться, этому лучшему, и ты, и она — вы же оба знаете это... Потому-то и все движения у нее были такие медленные, долгие: только не торопись, пожалуйста, не торопись, пусть все будет как можно медленнее, как можно дольше... Если уж нельзя, чтобы все оставалось всегда так, как оно есть...

Иногда, правда, какое-то беспокойство, сомнение овладевало им, и он тогда спрашивал ее:

— Тебе не скучно со мной? Нет? Мы ведь никуда не ходим, нигде не бываем, все вдвоем и вдвоем...

— А тебе нужен кто-нибудь третий?

— Нет, ты не смейся... Я ведь помню, ты всегда любила шум, блеск, толпу вокруг себя...

— Любила... Мало ли что я любила, Саша... Я многое любила. И многих... А теперь опять люблю тебя... Милый мой... И ничего мне больше не надо... Можешь ты это понять — ничего?

Никаких планов они не строили и о будущем, как правило, не говорили. Но прошлое вспоминали ча-

сто — все больше какие-то мелочи, никому не известные, кроме них двоих. И каждый раз, когда они начинали вспоминать, больше всего его удивляло и трогало даже не то, что она помнит все эти маленькие события тех лет, а то, что и про него, тогдашнего, она помнит, оказывается, почти все: в чем он был в тот день одет, что он тогда сказал и что она ответила ему, куда он потом пошел... А ведь сколько было с тех пор всего, и чего только не было, и времени прошло с тех пор больше, чем достаточно, чтобы забыть... И уж тем более такую, в сущности, ерунду, как было ли солнечно в тот день, когда они поехали к кому-то из ребят в гости на Николину гору, или действительно накрапывал дождь, и на чем они тогда добрались до Перхушкова — на автобусе или на леваке, и держал ли он тогда длинный черный зонт в руках или это было в какой-то другой раз...

— Ни о чем я не жалею, Саша, — как-то вечером, лежа у него на руке, призналась она. — Ни о чем... Но и простить себе ничего тоже не могу... Понимаешь? Вот так вот: не жалею, но и не прощаю — все вместе. Думаешь, так не может быть? Может, поверь мне... И как я тогда пошла с рук на руки, и этого подонка, из-за которого мы тогда с тобой расстались, и своего второго мужа, и всех этих своих приятельниц, эту московскую якобы элиту, которая с утра до вечера шныряет по комиссионным... Или сидит в Доме кино... О, Саша, зверье! Ты не представляешь, какое зверье... За самую дрянную тряпку, которую моисеевцы или «Березка» привезут, — убьют, задушат, продадут кого хочешь, хоть родную сестру... Только чтобы им в руки попало, не другим... А уж про камушки и говорить нечего... Это уж, Саша, Чикаго, Аль Каноне, помешаешь — пощады не жди, могут и действительно убить... На это у них тоже люди есть... Какие в Москве деньги ходят, Саша, если бы ты только знал!.. Какие дела делаются... И все, как черти хвостами, — в один клубок... Смотришь, сидит какой-нибудь писатель, говорят, известный... Или начальник какой-нибудь — важный, солидный, все к нему с почтением, голова откинута, волосы седые... А рядом с ним кто? Вор, да еще какой вор! Но жена у вора — ба-

лерина, ближайший друг — скрипач-лауреат или реставратор икон, дети учатся в английской школе, отдыхать он ездит на Балатон... А на другом конце стола — тоже их человек, тихий, скромный, незаметный, улыбается, ручки дамам целует, но он-то и есть страшнее всех! Он-то и есть последняя инстанция... И все это, Саша, я прошла. Все знаю и всех знаю... Слава богу, ноги унесла подобру-поздорову, а могло бы ведь и всякое быть.

— А муж твой — он что, тоже был из таких?

— Нет, не из таких... Вернее, из таких и не из таких... Там ведь тоже не обязательно так, чтобы все как один воры... Нет, он солист, играет в одном из наших симфонических оркестров. На флейте и на кларнете... Теперь и пластинки с ним стали выпускать... Он был неплохой человек, по-своему добрый. И меня он любил, особенно вначале... И к маме он тоже неплохо относился. Она ведь года два с нами прожила, пока не умерла. А она с причудами была человек, сам понимаешь, такое, что с ней было, даром не проходит. Ни для кого... Но уж очень он слабый был. Тряпка. Никогда не подумаешь: рост метр восемьдесят пять, львиная грива по плечам, голос низкий, глухой... Детей у нас не было... Вернее, у меня не было. Ну, знаешь, это все еще с тех времен... Лет восемь мы с ним прожили... Попивал, правда. Сильно попивал... Дым, деньги, поездки... Друзья...

— Ну, это-то... Это-то вроде бы не такой уж и великий грех... По нынешним-то временам... Кто теперь не пьет? Пойди-ка такого поищи...

— Да нет... Не в этом дело, Саша... Не в этом... В другом... Другое в конце концов выяснилось... Ребенок, как оказалось, у него был. Девочка. И знаешь, сколько лет ей тогда уже было? Шесть!.. Все тебе понятно, ничего не надо объяснять?.. Какая-то массажистка из сауны, из бассейна «Москва»... Тоже, между прочим, местечко... Вот где, Саша, дно! О, какое дно... А, да зачем тебе все это знать! Не знаешь — и не знай. Дальше проживешь... Оказалось, там, у этой женщины, у него и был дом, там у него и было все... А я, наверное, была так, для престижу... В люди со мной сходить... Ну.. Ну, вот и все...

А потом... А потом я собрала кое-какое барахло и переехала сюда, к тетке, она еще тогда была жива... Поступила работать в библиотеку: сначала в фонды, потом перевели в библиографы... Так мне, Саша, было тогда тошно! Так тошно... Если б ты только знал... Что-то сломалось во мне тогда. Внутри... Никого я не осуждаю, никого не кляню, я только не хочу ничего больше — вот и все... Что? Когда это было? Да не так давно. Года два назад... Да, два года назад. Год уже прошел, как тетка умерла...

— И все... И все эти два года ты была одна?

— Одна... Не удивляйся, в этом ничего удивительного. Устала, наверное. Слишком много всего было... Силенок не хватало, надо было передохнуть... Понимаешь, я просто впала в какой-то анабиоз: встаю — во сне, на работу иду — во сне, вечером книжки какие-нибудь читаю — тоже во сне, ничего потом не помню, что читала, о чем... И людей вокруг я не видела: кто они, какое они имеют отношение ко мне... Смотрю на человека и не вижу: кто он такой, зачем, что он такое говорит... Вроде бы это он ко мне обращается, а может быть, и не ко мне... Иди-ка ты, дядя, лучше с богом, оставь меня в покое, все равно я ничего не пойму... Поверишь, даже и о тряпках забыла — и это тоже как-то исчезло из головы... Донашиваю то, что тогда на мне было, благо было-то достаточно. За пару лет, во всяком случае, не сносить... С туфлями вот только плохо, надо бы заняться этим... Нет, нехорошо, с этим надо кончать. Когда на тряпки наплевать — это уже совсем нехорошо. Для женщины это начало конца... А я, Саша, совсем сдаваться не собираюсь, я еще поборюсь...

— А может, хорошие мои... А может быть, зря? Может быть, хватит бороться? Может, пора начинать жить?

— Жить?.. Ты не думай, Саша, я совсем не такая дура, как иногда кажусь. Я многое понимаю. Понимаю и то, что ты сейчас говоришь... Да, сейчас, сию минуту я не борюсь. Я живу... И ничего мне больше не надо... И так будет до тех пор, пока ты со мной... Но ведь должно же что-нибудь быть и потом?

— Ну... И что, по-твоему... И что, по-твоему, будет потом?

— Потом?.. Ясно, что будет потом... Наступит момент, когда тебе придется выбирать... И, наверное, скоро... Тебя

я знаю. Знаю, наверное, лучше, чем кто бы то ни было... И выбор твой я тоже знаю...

— Знаешь? Даже если я сам не знаю его?

— Знаю, Саша... Знаю... Ну что ж, не вены же себе вскрывать... Тем более что я и права никакого на это не имею... Судьба мне ни за что ни про что преподнесла подарок... О котором я и думать не смела... Спасибо ей, я отлежалась, отогрелась, в себя пришла... И я теперь — опять я... Ты за меня не бойся, я не пропаду... Квалификация по жизни, слава богу, есть. И хватка тоже имеется... Найду себе какого-нибудь мужика лет под пятьдесят... Которому, как и мне, тоже уже ничего, кроме покоя, не надо... Желательно не дурака и не бедного... Буду ему неплохая жена... Буду жить, про тебя вспоминать...

Верил ли он тогда в эти ее предсказания? Нет, не верил. По честному, не верил. Более того, для себя он уже тогда, той же зимой, решил, что, вероятнее всего, они теперь больше не расстанутся: надо только сделать это все постепенно, без резких шагов, с минимумом боли для всех, надо только потерпеть, подождать, пока всем все станет ясно и все отсохнет само собой. И какое-то время развитие событий, казалось бы, только подтверждало это его убеждение. Постепенно стали образовываться дни или вечера, когда вместо того, чтобы идти в библиотеку, он приходил к ней, раскладывал на ее овальном столе свои бумаги и словари, просил ее заварить кофе и работал допоздна, в тишине, не поднимая головы, — ни сама комната, ни Леля не мешали ему, даже наоборот, как он вскоре заметил, здесь у него работать получалось много лучше, чем где-либо еще... Она очень радовалась таким его приходам: он даже подозревал, что им она порой радовалась больше, чем тем, иным вечерам, когда, что называется, с порога и до самого его ухода они не зажигали свет. Он работал, курил, она сидела в него за спиной на диване, что-то читала, иногда они перебрасывались словечком-другим о том о сем...

Господи, как же хорошо было тогда! Иногда, намотавшись за день в университете или расстроившись там из-за чего-нибудь — воспитательная работа, или заседание ка-

федры ни о чем, или встреча какого-то очередного принца: стой, как дурак, на Большом Каменном мосту и размахивай флажком, — он приходил к ней обычно часа в четыре, ложился на диван носом к стене и засыпал. Проснувшись через полчаса-час, он всякий раз видел, что она сидит в дальнем углу комнаты и смотрит на него, а на стуле рядом с диваном стоит чашка кофе и пепельница и лежат сигареты, или же это было яблоко и стакан воды — в общем, что-нибудь, чтобы ему сразу прогнать сон и сесть к столу, к своим бумажкам, поработать спокойно: впереди у них еще целый вечер, времени больше чем достаточно, хватит на все...

В августе им удалось вместе уехать отдыхать на юг, в Крым, на целый месяц: они сняли комнату в двух шагах от моря, одевались во что попало, питались черт-те чем, купались, валялись на пляже, иногда пили шампанское, разговаривали обо всем, он даже и здесь пытался что-то писать... И, может быть, самое сильное воспоминание тех дней — сухой, горячий запах ее волос, прокаленных за день солнцем, и горький привкус соли на кончике языка, когда он целовал ее: поселок был крохотный, погранзастава далеко, и вечером, в темноте, когда уже никого не было на пляже, они всегда купались, плавали по лунной дорожке до буйка и назад, и только после этого шли к себе домой спать...

Татьяна, конечно, довольно скоро поняла тогда, что что-то происходит, но виду не подавала, держалась стойко: так только, бросит на него иной раз взгляд исподлобья, скривит губы, усмехнется какой-то новой, всепонимающей усмешкой, и вроде бы даже ни из-за чего, или, когда он слишком уж поздно возвращался домой, щелкнет на секунду выключателем ночника в спальне, глянет на будильник у изголовья и сейчас же молча, не спрашивая его ни о чем, погасит свет, — вот, пожалуй, и все. А так... А так что ж... Те же домашние заботы и разговоры, тот же телевизор по вечерам, Ларкины успехи и неудачи в школе, пылесос по воскресеньям, его рубашки, которые опять нужно отвезти в прачечную — вон сколько их скопилось в баке для белья, привычное в своей безысходности ворчанье на магазины — «молоко почему-то пропало, ты мне можешь объяснить?», скучные, утомительные расчеты и маневры

в деньгах — это туда, это сюда, надо покупать новый холодильник, старый уже не годится, не выключается по целым дням, и Ларка совсем выросла из своего пальто, тоже надо покупать, неудобно, ведь барышня уже... Даже изредка, под настроение, остатки прежней близости: все-таки прожито вместе ни много ни мало — тоже четырнадцать лет...

Но однажды, в конце сентября, поздно вечером, когда Ларка уже спала, и они сидели в большой комнате одни, она вдруг отложила какой-то журнал, который лежал у нее на коленях, и сказала, не глядя на него:

— Саша... Я... Я хочу тебе сказать...

— Да?

— Я хочу тебе сказать... Ты, конечно, можешь жить, как хочешь... Только, наверное, лучше, чтобы ты знал... Дело в том, что у меня уже пошло на седьмой месяц... И тебе очень скоро придется выбирать... Если уходить, то уходи лучше сейчас. Мне будет легче... А если нет, то я хотела бы, чтобы у ребенка был все-таки отец... Не просто по записи, а именно отец...

Было ли это все продумано заранее? Или случилось так просто, само собой? По-видимому, да, заранее — об этом говорило многое: и ее молчание в течение шести месяцев, и выбор момента, чтобы сказать — тогда, когда, даже при всей его невнимательности, ничего уже нельзя было дольше скрывать, и сам аргумент — не мелочь, не слезы, просьбы там или убеждения, а вот так, сразу обухом по голове, факт, и факт такой, крупнее которого ничего, наверное, и не может быть: если уж он не сработает — значит, все, безнадежно, значит, конец... Она ведь тоже знала его. Знала, как и чем его достать. И тоже боролась по-своему, как могла... Это было ее право, и она в полную меру воспользовалась им... Умело, твердо, умно... И с большой дозой риска. Могла бы ведь и промахнуться... Да нет, не могла — она точно знала, на что шла... Недаром Леля, когда он сообщил ей об этом, в буквальном смысле слова рухнула как подкошенная. Все-таки, что бы она там себе ни представляла, такого быстрого конца она, вероятно, не ждала...

Даже и сейчас, спустя столько лет, все сжималось у него внутри, когда он вспоминал тот, по существу, по-

следний их вечер у нее в доме: свой приход, свою растерянность, страх, нерешительность — сказать, не сказать... Наконец пересилил себя, сказал... Потом какой-то провал в памяти: сказала она ему что-нибудь в ответ или нет?.. Кажется, нет... Нет, не сказала ничего: она просто рухнула в угол дивана, закрыв лицо ладонями, как от удара, и сжавшись в комок... Помнится, он подложил ей под голову подушку, пристроил поудобнее ей ноги, сел рядом, на краешек дивана, положил ей руку на плечо... Потянулись минуты, потом часы... Чем он мог помочь ей? И что еще он мог ей сказать?.. Она лежала на диване, уткнувшись в подушку, плечи ее сотрясались от рыданий, он гладил ее волосы, целовал ее, что-то бормотал, даже, помнится, искал какие-то таблетки в ящике комода, пытался заставить ее успокоиться, выпить валерьянки или хотя бы просто стакан воды... Но это было бесполезно — голова ее тряслась, и вода только расплескивалась у нее по подбородку и по груди... Изредка рука ее схватывала его руку у самого запястья, стискивала ее до боли, или, обняв его за шею и притянув к себе, она начинала исступленно, молча, словно в последний раз, целовать его, и тогда щеки его, лоб, глазные впадины становились мокрыми от ее слез...

— Все... Все... Все... — твердила она. — Я так и знала — все... Пожалуйста, не надо больше... Не приходи... Прошу тебя — не приходи...

* * *

Верочка родилась беленькой, складненькой, как две капли воды похожей на Татьяну, за исключением тоненького прямого носа — это было не Татьянино, у Татьяны был вздернутый, немного курносый нос, а у Верочки точеный, правильный, и когда она чуть-чуть подросла, это придало ее лицу, и без того привлекательному, какую-то еще особую прелесть. Породистость, что ли... В общем, необычность — мимо, как говорится, не пройдешь... Тогда, по крайней мере, на эту девочку и во дворе, и на улице оборачивались почти все: локоны до плеч, ловкая фигурка, синий вельветовый комбинезончик, красные на пуговках башмачки... И это все в сочетании с какой-то ленивой, несколько замедлен-

ной грацией в каждом ее движении — о, с ума можно было сойти!.. А какие у нее в детстве были глаза... Большие, лучистые, простодушные, верящие всему — разве можно было такие глаза хоть в чем-нибудь, хоть в самом крошечном пустяке обмануть?.. И какое наслаждение было учить эту девочку буквам, листать вместе с ней книжки с картинками, рисовать ей, выдумывать сказки — неважно какую чепуху... Про Мапти-Напти и Чугу-Мугу, например. Она сама придумала их, он только каждый раз изобретал для этих человечков какие-нибудь новые приключения с продолжениями и, конечно же, со счастливым концом... Мапти-Напти был веселый, смелый, круглощекий здоровяк, всегда заступался за всех, всегда готов был всем помочь, а Чуга-Муга, наоборот, — нытик, зануда, с длинным носом, все у него получалось не так, все валялось из рук, он был плакса, ябеда и даже одеваться сам и то толком не умел... А когда ей было лет шесть, она вдруг придумала еще одну игру — в экскурсовода. Это было после того, как они съездили в Пушкинские горы. Взяв в одну руку какую-нибудь палочку или карандаш, а другой таща его за собой, она водила его по всему его кабинету и показывала: «Здесь жил великий русский историк Александр Иванович Горт, он написал много книг, эта квартира — его музей, это его книги, у него было очень много книг, ни у кого на свете не было столько, а это его лампа, под которой он очень любил сидеть, а в этом кресле жил его кот...». Потом, постарше, выпросив у него для себя целую книжную полку, она устроила в ней дворец: там был замок с башнями, пруд, лебеди, грот из огромной ракушки, принцессы на дорожках, рыцари с алебардами, волшебник с бородой... Сейчас она, конечно, уже охладела к этому дворцу, но он все равно не дает его убрать... Теперь главным их с Верочкой развлечением стало путешествие по его книжным полкам: когда и что ей можно будет отсюда читать. Дюма и Жюль Верн они уже прочли, «Трех мушкетеров», наверное, не меньше десятка раз, сейчас идут Лопе де Вега и Шварц, на очереди «Оливер Твист» и «Хижина дяди Тома», а там... А там — как получится... Хватит, что называется, на всю жизнь. И не только ей — внукам тоже... Вот именно. Хватит и им.

Да, выросла девочка... И опять он не заметил, как... Все дела, заботы, суета. Сорок лет, расцвет творческих сил... Как же, расцвет! Нет, дорогие мои, не расцвет. Совсем не расцвет... Именно тогда-то, в сорок лет, он и понял окончательно, что все главное в его жизни уже было, уже произошло, что оно теперь не впереди, а позади, за спиной...

Главное? А что главное?.. А бог его знает что. Попробуй определи... Может быть, и какие-то вехи, события, достижения, а может быть, и это ощущение: раньше — все в гору, вверх, вперед, а теперь... А теперь — вниз... Как говорится, подъем помню, уклон вижу, а вот где была макушка — хоть убей, заметить не пришлось... А кажется, ведь следил за этим, все время следил... Но... Сегодня удалили еще один зуб, завтра второй, послезавтра третий, а потом вдруг обнаруживается, что надо срочно делать мост, иначе нельзя, иначе неприлично даже и на кафедру вылезать... Сначала одна прядь волос в ванной у водостока — маленькая, сразу даже и не заметишь, потом другая, чуть побольше, потом еще и еще — и пожалуйста, вот она, лысина во весь лоб, что там ваш Сократ... Сегодня ты еще Саша, завтра Саша, а потом вдруг оказывается, что ты давно уже не Саша, а Александр Иванович, и Саша ты только для жены да еще, может быть, для одного-двух старых твоих друзей... Но, пожалуй, самое важное то, что где-то наступает рубеж — только вот где? — когда ты начинаешь понимать, что ничего уже не изменится ни в тебе, ни вокруг тебя, и как ты жил в этом, так и будешь жить дальше, и люди будут те же, и жизнь будет та же, и не надо ждать никаких перемен, и то, что есть сейчас у тебя и вокруг тебя, — это и будет твое до самого твоего конца... Устоялась жизнь, устроилась окончательно — плохо ли, хорошо, это уже другой вопрос. А если и будут в ней какие-то сдвиги, то такие, что, дай бог, если заметишь их — и то уже будет хорошо.

Нет, но макушка все-таки была... Была макушка... Похоже, что те несколько дней, которые он тогда, когда ему было сорок два, провел зимой под Тарусой, в доме отдыха на высоком, заросшем соснами берегу Оки, напротив Поленова, — это и была та отметина, после которой уже ничего не было в его жизни вверх, а все было только вниз...

Конечно, не кубарем, конечно, медленно, постепенно, но все-таки вниз и только вниз...

Ему поручили тогда руководить зимней школой-семинаром китайстов: факультет снял на две недели маленький дом отдыха с сауной, кинозалом и собственной лыжной базой, разослал приглашения по всей стране, народу приехало не много, но и не мало — человек восемьдесят, половина из них аспиранты и студенты-дипломники, лекции читали ведущие в этой области специалисты, программа семинара была достаточно свободной — говори, что знаешь, а если нечего сказать — тоже не беда, сиди и слушай других... Работали не надрываясь, фактически только первую половину дня, потом, после обеда, все разбредались кто куда хотел: кто на Оку или в лес, на лыжах, кто в Тарусу — поклониться святым местам, кто в сауну или просто спать, а кто и по номерам — разговаривать, бренчать на гитаре, выпивать, ухаживать за девушками...

По вечерам же, после кино, собирались обычно у него — в так называемом штабном номере, где в большой комнате стоял рояль и где, отодвинув к стене длинный полированный стол, можно было даже и танцевать. Никто в таких случаях специально не приглашался, но никому и не возбранялось приходить, дверь была открыта для всех, и получалось так, что чуть не каждый вечер к нему в номер набивалось человек пятнадцать, а то и двадцать — преподаватели, аспиранты, студенты, студентки, с бутылками, с конфетами, с магнитофоном, народ все больше молодой, веселый, бесцеремонный, в радостном возбуждении, в готовности жить дальше, шуметь, спорить, смеяться — и танцевать, танцевать хоть до утра, лишь бы их отсюда никто не выгонял. А он и не выгонял — наоборот, шумел так же, как и они, веселился, был умен, легок, остроумен — откуда только все взялось? — танцевал, произносил речи, ухаживал и за своими, и за чужими студентками, и ухаживал, честное слово, весьма небезуспешно; во всяком случае, стоило ему только присесть в угол на диван, покурить, передохнуть немного, как сейчас же рядом образовывалось какое-нибудь существо с большими глазами, и эти глаза восхищенно смотрели

на него, а потом мягкая, но настойчивая рука деликатно отнимала у него сигарету, тушила и опять тащила его на середину комнаты, где в полутьме, обнявшись, под приглушенные звуки рояля или магнитофона все время топталось несколько пар.

А эта девочка была даже и не с их факультета, нет — уж здесь-то его служебное положение было действительно ни при чем... Откуда она была? С экономического? Кажется, да... Или с экономического, или с географического... Черт, уже и не вспомнишь, откуда... А жаль... Нет, ничего не поделаешь, забыл — значит, забыл... Как ее звали? Лина... Да, Лина... «Мы на лодочке катались, золотистой, золотой... Не гребли, а целовались — эх, не качай, брат, головой...» А, проклятая песня... До сих пор звучит в ушах... И всегда с тех пор если тоска — она... Обязательно она... Почему она, почему не другая?.. Почему, почему... Кто ж ее знает, почему... Привязалась — вот и все, что ж тут думать, почему... Может быть, и просто потому, что пела тогда ее эта эмигрантка на магнитофоне очень уж хорошо, у нас так не поют — стесняются, сдерживают себя...

Это была худенькая девочка лет двадцати двух с глубоким, внимательным взглядом, тихой улыбкой и неправильными, но сразу привлекавшими внимание чертами лица: кто бы сказал — дурнушка, а кто — великой красоты женщина, у кого какие на такие вещи глаза... Последние два-три вечера он танцевал преимущественно с ней, и сидели они по большей части рядом, и поговорить им за это время удалось не раз, хорошо поговорить — про нее, про него, про жизнь вообще... И эта гибкая, податливая фигурка... И этот взгляд: прямо в глаза — не отрываясь, не боясь, не замечая больше ничего вокруг, кроме него...

В этот особенно памятный ему вечер он, конечно, устал. Устал от шума, от гвалта, от всего этого дыма столбом... Помнится, время тогда было уже за полночь, веселье было еще в полном разгаре, и он, почувствовав вдруг себя нехорошо, был уверен, что никто в этом дыму не заметит, если он спрячется на несколько минут у себя в спальне, полежит немного — надо все-таки и меру знать, не семнадцать же, в самом-то деле, лет... Дверь из спальни выходила

в большую комнату, он плотно прикрыл ее, чтобы ослабить шум, потом вытянулся в рост на кровати, зачем-то зажег ночник у изголовья, закрыл глаза... Но через минуту-другую дверь скрипнула, кто-то мягко вошел в спальню, сел рядом с ним на постели, взял его за руку в две свои маленькие холодные ладошки, притянул ее к себе... Он открыл глаза: конечно же, это была она... Долго она сидела так рядом с ним, смотрела на него, не спрашивая его ни о чем, очень долго — может быть, час, а может быть, и больше... Так и промолчали они тогда все это время, глядя друг на друга... Может, и к лучшему, что промолчали, — наверное, и не нужно было тогда ничего говорить.

Постепенно голоса в большой комнате начали стихать. Потом вдруг, без стука, дверь распахнулась, и в спальню решительно, как к себе домой, вошел рослый плечистый парень, кажется, близкий ее приятель — по крайней мере, на семинаре он всегда сидел рядом с ней.

— Хватит, Лина. Пора...

Он подошел и положил ей руку на плечо, но она, досадливо дернувшись всем телом, сейчас же сбросила ее. Это, однако, не смутило его, он опять положил ей руку на плечо, но уже тяжелее и чуть придавил его:

— Я серьезно говорю, Лина, хватит. Пошли... И вот тут-то он и увидел этот взгляд — прямой, печальный, долгий... «Что же ты? — говорил этот взгляд. — Неужели ты ничего не понимаешь? Да прогони ты к черту этого амбала, прогони всех этих дураков, оставь меня у себя, запри все двери... Ты мне нужен, ты! И мне плевать, что будет потом... Ну шевельнись же, ну скажи хоть слово!».

— Спокойной ночи, ребятки... До завтра... Наверное, уже действительно пора...

«Мы на лодочке катались, золотистой, золотой...». Утром он не пошел на заседание. Все налажено, докладчики известны, обойдутся без него. Мало ли какие у него дела... Вдоль Оки, по левому ее берегу шла протоптанная дорожка, то уводившая в чащу леса, то выныривавшая на открытые места, на самый край откоса, нависавшего над рекой. Было солнечно, пусто, безветренно, пощипывал мороз, крепкий мороз — шарф и спущенные вниз уши его ушанки сразу по-

крылись толстым слоем инея вперемешку с кусочками льда. Внизу белела река, сосны стояли молча, не шелохнувшись, под ногами скрипел снег, и оттого, что только этот скрип и был слышен вокруг, тишина леса казалась такой, какой она, наверное, и была в первый день творения — как будто никогда здесь и не было никого до него и никогда не будет вовек... Один... Да, один... Но есть ведь и такое лечение — лечение одиночеством... Да и кто и в чем тебе может сейчас помочь? Это все, брат, твои проблемы, и сам ты с ними и борись... Ах ты, господи, но какая же все-таки тоска... Какая тоска... «Мы на лодочке катались, золотистой, золотой...» Почему он, слюняй, тряпка, так и не сказал ей ничего? Почему? Ведь это же было его, не чужое! Да-да, думайте что хотите, говорите какие угодно слова, но его это было! Его! И не этого амбала — его ждала эта девочка! Может быть, всю свою коротенькую жизнь ждала. И больше уж не дождется никогда... Разница в возрасте? Ну и что же, что разница? Ну и пусть разница! Все равно это все было еще вверх, не вниз. И для нее вверх, и для него... Да-да! И для нее тоже вверх — не только для него! Она-то сразу это поняла... А может быть, это и было оно — то единственное, последнее, что ему еще оставляла в запасе жизнь? И больше уж у нее для него нет и не будет ничего? Может быть, Александр Иванович... Все может быть... Может быть, и не будет уже больше ничего... Ах ты, господи, но какая же тоска... Какая тоска... А снег скрипит, скрипит... И сосны молчат... И куда ни кинь взглядом — никого, только снег, только сосны. Пустота...

Помнится, он тогда впервые в своей жизни обнаружил, что на морозе слезы, оказывается, имеют свойство замерзать уже прямо на ресницах или по самой кромке нижних и верхних век, и если вовремя не оттереть их рукой, то ресницы и веки смерзаются, и их потом очень трудно друг от друга отодрать... А не отодрать нельзя — иначе ничего не видно перед собой и не знаешь, куда идешь... Заживет? Конечно, заживет... Все заживет, все забудется... Только вот что останется? А ведь это еще не конец. Нет, далеко еще не конец. И ему еще жить и жить...

На следующее утро, погрузившись в два автобуса, семинар уехал. Он не поехал со всеми, сославшись на необходи-

мость закончить кое-какие дела с дирекцией дома отдыха. А вечером, один, он сидел в полупустом вагоне электрички Серпухов-Москва и, продышав в замерзшем стекле дырочку, смотрел в окно. Опять, как когда-то, двадцать с лишним лет назад, мимо бежали луна, темь, снега, пронесились встречные электрички, мелькали и исчезали станционные платформы, пакгаузы, одинокие фонари, будки на переездах, столбы, рельсы, провода... И так же, как и тогда, кто-то дремал, примостившись в уголке на лавке, кто-то тихо, вполголоса разговаривал с соседом, посреди вагона, положив на колени чемодан, компания молодых, приблатненного вида парней резалась в карты, тускло светили лампы в потолке, на крючках у окон висели сумки, глухо стучали, съезжаясь и разъезжаясь, раздвижные двери впереди и за спиной... Потом были метро, свет, блеск, оживленная, сразу затолкавшая, затискавшая его московская толпа, и ничего здесь не изменилось без него, и, как это ни печально, никто здесь, оказывается, даже и не заметил, что его не было в городе целых двенадцать дней.

А дома, когда он отпер своим ключом дверь, первым, кто встретил его, была Верочка, сидевшая, как выяснилось, уже битый час вместе с котом под дверью в ожидании его, наотрез отказавшись идти спать, сколько мать ни кричала на нее. И опять эти поднятые на него глаза, этот простодушный, верящий и ему, и всему на свете взгляд, и этот страх, это страдание его, взрослого, погрязшего в житейской лжи, в сделках с самим собой и с жизнью человека, не имеющего даже и права-то смотреть в эти глаза: только не соври, только, ради бога, не соври — по неосторожности, нечаянно, ненароком, пусть это будет не сейчас и не завтра, пусть это будет когда-нибудь потом.

Было время, когда он очень боялся, что с исчезновением этого простодушия, этой детской веры в глазах и с появлением в них вместо одной, чистой, ничем не замутненной мысли еще чего-то тайного, сокровенного, куда доступ и ему и другим будет закрыт, их дружбе придет конец. Что-то такое, кстати говоря, и в самом деле было, когда она пошла в школу: детский коллектив, новые мысли, новые слова, какие-то там затеи, которые вызывали у него лишь глухое

раздражение и больше ничего, когда она, захлебываясь от восторга, рассказывала ему о них... Но все это продолжалось недолго, очень недолго. Потом, разобравшись, что к чему, — причем, надо сказать, сама, без всякого давления с его стороны, — она вновь «вспомнила» о нем, вновь, но уже с какой-то новой жадностью стала требовать его сказок, вновь на каждом шагу хваталась за него, не отпускала его, ловя минуту, чтобы только можно было побыть с ним вдвоем. И с тех пор, вплоть до сегодняшнего дня, она остается, по существу, единственным человеком в их доме, с которым ему по-настоящему легко... Так же, как, по-видимому, и ей с ним... Говори, что думаешь, не редактируй, будь уверен — тебя поймут... Особенно очевидным для него это стало год назад, в больнице — в ту осень, когда он попал в этот скверный переплет, последствия которого и сейчас еще дают иногда о себе знать.

В тот хмурый октябрьский день они хоронили молоденького ассистента с их кафедры, погибшего в автокатастрофе. Крематорий, орган, белые цветы, раздавленные горем родители, окаменевшая жена, трехлетний мальчишка, испуганно вцепившийся в нее, притихшие сослуживцы: как же так, был человек, вчера еще был — и вдруг его нет?.. Потом, в том же автобусе, все поехали на поминки... Печальный, тягостный, конечно, обычай, но если вдуматься, и в нем тоже есть смысл: заботы, хлопоты, гости — хоть немного да оттянет, приглушит боль.

Квартирка у парня была маленькая, в две крохотные комнатки, а народу набилось много — родственники, кафедра, друзья... Был уже вечер, женщины хлопотали на кухне, некоторые из мужчин помогали расставлять столы, двигали диван, таскали посуду от соседей, другие жались по стенам и углам, не зная куда себя деть. Зеркало в передней было завешено, все говорили шепотом, кто-то пустил по рукам домашний альбом с фотографиями погибшего начиная с самых его младенческих лет... Потом сели за стол, выпили, расслабились, размягчились от еды и воспоминаний, от сочувствия к хорошим людям, которым так не повезло... Голоса оживились, кто-то произнес тост за товарищество, за ту поддержку, на которую отныне и пока мы

живы могут всегда рассчитывать вдова и ее малыш, было тесно, душно, все сидели, прижатые плечом к плечу, так, что невозможно было шевельнуть даже локтем, но теснота никого не тяготила, скорее наоборот, она делала сидевших за столом еще ближе, еще родней этой семье и друг другу, неважно, знали ли они друг о друге до сих пор или нет.

Перед горячим Горт и еще двое сотрудников их кафедр, чтобы не мешать никому, вышли покурить на улицу, к подъезду — квартира была на первом этаже. На улице было пусто, фонари, наверное из экономии, горели вполнакала, моросило — в город вползал туман. Они не торопились: после тесноты и духоты застолья мелкие капельки измороси приятно охладили скулы и лоб, тишина улицы успокаивала, свежий воздух трезвил уже слегка хмельные головы, очищал грудь, можно было размять затекшую поясницу, потоптаться на свободе, постоять, помолчать...

Они уже докуривали, когда к ним, возникнув откуда-то сбоку, подошел подросток лет тринадцати-четырнадцати — подросток как подросток, ничего особенного, днем любой московский двор или улица полны таких.

— Мужики, кто закурить даст? — хриловатым, ломающимся баском спросил он. Руки у него были заложены за спину, воротник нейлоновой курточки приподнят, кепчонка чуть надвинута на лоб...

Стоявший к нему ближе всех доцент Старков, высокий худой мужчина лет сорока, в очках, посмотрев на него сверху вниз, неизвестно почему рассердился и, не отвечая на вопрос, проворчал, обращаясь даже не к нему, а к нам:

— Черт знает что... Что делается, а? И ведь ни тени смущения... Абсолютно уверен, паршивец, что ему дадут... Больше того — обязаны дать...

Он не договорил: выхватив из-за спины стальной прут, парнишка резким коротким ударом, как хлыстом, стеганул им Старкова прямо по очкам. Посыпались стекла, Старков, согнувшись, схватился за глаза, жутко закричал, сквозь пальцы его хлынула кровь... Парнишка бросился бежать, Горт и третий из них, аспирант, — за ним: они завернули за угол, потом в подворотню, потом во двор, а дальше... А дальше откуда-то сбоку и сзади огромная, дышащая

водкой куча тел разом вдруг навалилась на него — как потом выяснилось, их было шестеро, все здоровые крепкие парни лет по двадцати, — сбила его с ног, повалила, придавила к земле; били кулаками, ногами, били по голове, по ребрам, по животу, с размаху, каблуком — в пах, потом последовал удар чем-то тяжелым, металлическим по затылку — и он затих... Хорошо еще, что аспиранту каким-то чудом удалось отбиться и убежать: он-то и вызвал милицию, благо она оказалась рядом, парни бросили его, разбежались, может быть, только это его и спасло.

Очнулся он в больнице, как ему сказали — на третий день... Проломы черепа в двух местах, сотрясение мозга, несколько сломанных ребер, отбитые внутренности... В общем, повезло тебе, мыслитель, что остался жив... Три месяца, забинтованный, провалялся он на больничной койке — было время подумать обо всем.

Его постоянно рвало, особенно в первые недели две-три, и мучили неотступные боли в голове, в груди, в полости живота, — спасибо еще, что врачи, когда становилось совсем худо, не боялись, кололи ему что-то очень сильнодействующее, правда, не говорили, что, — и было страшно трудно дышать, но сознание, в перерывах между приступами естественного или наркотического забытья, все же продолжало работать свою медленную работу, исподволь и вроде бы даже и независимо от него, поначалу, конечно, неровно, обрывками, будто сквозь мутную пелену, потом все чище и чище, пока, наконец, вместе с ослаблением болей не прояснилось совсем. Читать ему было нельзя, так что хочешь не хочешь, а если никто из гостей не сидел у него рядом с койкой, то развлечение у него в те месяцы было только одно и единственное: он сам.

Многое он передумал тогда, в те дни, — и о себе, и о других... Но особенно много и подолгу мысли его крутились вокруг одного: где он, главный источник человеческой злобы? Откуда она — от Бога, от природы или от нас самих? И что порождает ее: условия жизни, или зависть и необразованность, или чисто физическое, звериное, гнездящееся где-то там, в самых потемках человека, желание причинить другому боль, наступить ему каблуком

на горло, так, чтобы хряснули шейные позвонки, увидеть кровавую, пузырями, пену у растоптанного на губах?.. Чингисхан, Батый, стотысячные жертвоприношения индейцев, гильотина, нечаевщина, лагеря, газовые камеры и, наконец, спустя столько лет — Пол Пот... Могут ли люди когда-нибудь и чему-нибудь научиться? Или это выше их сил? Но тогда во всем виноват Бог, или объективные законы, или что-то там еще, столь же сверхчеловеческое и надчеловеческое, на что можно свалить ответственность за все и за всех? А как же тогда человек — один человек? И что же надо делать, чтобы хотя бы как-то притушить, уменьшить эту злобу? Продолжать все эти нескончаемые проповеди, терпеть и надеяться, что через тысячи лет, может быть, что-нибудь из них и дойдет? И не вообще, а до тех шестерых в подворотне, которые просто так, от нечего делать, чуть было не отправили его на тот свет?.. Нет, проповеди, конечно, прекрасная, нужная вещь, без них было бы еще хуже. Но каков эффект от всех этих уговоров — за многие сотни лет? Эффект, прямо скажем, невелик... Весьма невелик... Конечно, все это не резон, чтобы прекращать проповеди, и если такие вещи, как доброта, совесть, все же как-то еще держатся среди людей, несмотря ни на что, то это в значительной мере благодаря им... Да, но как же все-таки дойти до тех, кто по вечерам толчется в подворотне? Или сидит и пухнет от злобы у себя в четырех стенах? Кто не признает и признавать не хочет никаких уговоров, никаких проповедей, у кого ни в голове, ни в сердце нет ничего, кроме ненависти, безличной, всепоглощающей ненависти и ко всему и ко вся — ненависти, которой нередко даже и повода не надо, чтобы начать крушить, калечить все почем зря?.. Что делать? А, если бы знать... Не знаю. И я не знаю, что делать. И никто не знает... Или нет, знаю. Знаю. Но знаю только лишь одно — с чего надо начинать... А дальше... Впрочем... Что ж сейчас гадать, что дальше... Дальше будет видно, как там будет и что... Ясно одно: прежде всего надо отнять у них, навсегда отнять ненависть как санкционированный, а нередко и нарочно поджигаемый мотив — неважно, к кому, потому что ненависть по самой своей природе не знает и не может знать никаких

пределов и границ. Она — Ненависть с большой буквы, она сама по себе, ей все равно, кого ненавидеть: сегодня этого, завтра того, послезавтра — вас же самих. И если ненависть — страдают не только он, я, ты. Страдают все: и дело, и люди, и те, кого ненавидят, и те, кто ненавидит, — они-то, кстати говоря, может быть, и больше всех.

Думал он, естественно, в эти дни и о доме, о своих — о том, как им сейчас там без него, как они живут... Признаться, поведение Татьяны, с тех пор как он пришел в себя и начал кое-что соображать, несколько озадачивало его. Она плакала, жалела его, ходила к нему чуть не каждый день, таскала ему всякую домашнюю еду, и, без сомнения, умри он тогда на операционном столе — она была бы конченный человек. Но в то же время обостренное страданиями ухо его, когда она говорила с ним, сидя обычно рядом с его кроватью, на колченогой больничной табуретке, нередко чувствовало в ее голосе какую-то странную удовлетворенность, что-то вроде того, что вот, дескать, дождался, дорассуждался наконец — получил свое. Как-то раз даже, когда они по какому-то поводу вспомнили про ту его книгу, лежащую у него в столе, и он размечтался о том, как кто-нибудь из дочерей когда-нибудь, когда его уже не будет, все-таки ее издаст, она довольно резко оборвала его, стиснув ему плечо и придавив его к подушке:

— Лежи... Милосердие... Инструмент... Дурак ты... Блаженный дурак и таким и остался до седых волос... Пороть надо. Ноздри рвать! И ничем другим эту сволочь никогда ты не проймешь.

Потом начались хождения следователя, адвокатов, родственников этих парней... Помнится, его с самого начала неприятно удивило то, что и следователя, и адвокатов больше всего интересовали не его рассказ об обстоятельствах дела и тем более не его оценка происшедшего, а такие вещи, как сколько бутылок было выставлено на стол на поминках, сколько их, гостей, было за столом и как долго они за ним сидели, где стоял доцент Старков и где стояли он и аспирант, когда подошел этот мальчишка, была ли у Старкова трость в руках — а известно было, что он прихрамывал и обычно ходил с тростью, — или он оставил ее тогда в квар-

тире, и кто первый сдвинулся с места после удара — мальчишка или они, и близко ли они бежали от него, ворвавшись в подворотню, или он был все-таки заметно впереди них...

В один из дней, отведенных для посещений, его навестила мать этого мальчишки — молодая еще женщина лет тридцати с небольшим, худенькая, востроносая, вся какая-то забитая, в заштопанной кофте и с давно, видимо, невымытой головой. Она пристроила на тумбочке у его изголовья какой-то целлофановый кулечек и уселась на табуретку у него в ногах, сложив руки в коленях и уставившись глазами в пол. Он молчал, она тоже, не очень, наверное, понимая сама, зачем она пришла и что в таких случаях полагается говорить.

— Простите его, — тихо, почти шепотом выдохнула она наконец. — Он не злой...

— Я-то прощу... Суд, наверное, не простит, — так же тихо ответил он.

— Он у меня один... И я одна... Отец с нами не живет... Он раньше был хороший мальчик, ласковый... Соседи никогда не жаловались... Такое с ним в первый раз... Мне и на фабрике обещали, что больше меня теперь во вторую смену ставить не будут. Я теперь все вечера буду с ним...

— Я понимаю... Только меня-то вы зря просите... Вам Алексея Николаевича Старкова просить надо... Он-то, говорят, теперь на один глаз почти ослеп... И суд просите... Но, боюсь, бесполезно.

— Адвокат говорит, есть надежда... Что, может, в колонию и не пошлют... Если докажут, что Алексей Николаевич хотел его побить...

В другой раз, когда он был не один, а с Татьяной, его навестила пара — родители, как он понял, главного из тех шестерых. В отличие от той женщины эти держались много увереннее — по ним уже с порога было видно, что эти-то двое знали, куда и зачем они пришли. Мать парня, судя по налитым, крепким щекам, по объемистому бюсту и невероятной толщине икр, распиравших ее высокие, до колен сапоги так, что они вот-вот должны лопнуть по швам, по количеству колец на пальцах и высоте шиньона на крашенных и перекрашенных волосах, была явно

из торгового мира и была, конечно, главная ударная сила в семье; отец же, худой, угрюмый и, по-видимому, пьющий человек (как выяснилось, мастер из автосервиса), держался все время как бы за спиной у нее — тоже, несомненно, зная себе цену, но по долгому жизненному опыту предпочитая выставлять всегда вперед ее, а не себя. Войдя, она широко разложила на тумбочке и по подоконнику множество коробок и банок, тут же вызвала из коридора няню и, сунув ей в карман халата какую-то бумажку, послала ее еще за одним графином с водой — для букета цветов, который они принесли с собой, потом, обнаружив, что табуреток в палате на троих не хватает — палата была двухместная, сосед Горта, уже выздоравливающий, в это время где-то гулял, — сама вышла в коридор и притащила оттуда, грохнув им об порог, еще один стул.

Надо отдать этой тетке должное — она недолго задержалась на всех этих пустяках о погоде, о его здоровье, о том, о сем...

— Александр Иваныч, — придвинулась она поближе к нему: ноздри его тут же ухватили запах крепких, сладковатых духов, перемешанных с таким же крепким запахом пота. — Вы человек образованный, доцент... Так сказать, воспитатель молодежи... Поверьте, своими руками, кажется, задушила бы мерзавца, даром, что мой сын... Ну, чего ему не хватало? Чего? Из армии пришел, в техникум пристроили, жениться собрался, в доме все есть... Живи себе и живи... Нет, водка проклятая, дружки, пропади они все пропадом... И что ж теперь — тюрьма?.. Я мать, понимаете — мать? Разве я могу спокойно смотреть, как погибает сын? Я ж его вынянчила, вырастила, ночей не спала... Из тюрьмы-то знаете какие теперь выходят? Что ж я потом-то с ним делать буду?.. И все из-за чего? Из-за дружков, из-за босяков этих несчастных, будь они прокляты, окаянное отродье... Ведь пропадет парень, как пить дать пропадет... Кто бы нас-то с отцом пожалел... А, Александр Иваныч? Слава Богу, врачи говорят, все обошлось, вы теперь на поправку пошли... Александр Иваныч, просим вас, умоляем... Спасите парня, нас спасите... Вам-то теперь какая корысть его губить? Ну, произошло несчастье, было... Назад-то ничего уж теперь не

вернешь... Вы поправитесь, опять на работу пойдете, жизни будете радоваться, дочек растить... А ему — конец? Ведь ему этим летом только двадцать один год исполнился, Александр Иваныч... Он еще человеком станет, не хуже других... Может быть, мы сумеем как-нибудь договориться? А, Александр Иваныч? Вы в обиде не будете — Богом клянусь...

— Подождите, подождите... Я что-то плохо понимаю вас... Я-то чем вам могу помочь?

— Можете, Александр Иваныч, можете... Вы очень можете... Все теперь зависит от вас...

— Все? Что именно — все?

— Как дело повернуть... Если вы признаете, что вы и ваши товарищи сильно выпимши были... И мальчишку этого напугали, погнались за ним... Да еще если в деле будет ваше заявление, что вы ничего не имеете против них...

— Так... Интересно... — Ему вдруг отчего-то стало весело: ничего не скажешь, молодцы! Эти будут жить... Эти всегда будут жить! Что бы ни произошло... — Надо, значит, чтобы я всю вину взял на себя? Так я вас понял?.. Неплохо придумано... Честное слово, неплохо... А мне, позвольте узнать, в качестве компенсации что вы предлагаете? Так сказать, за любовь договоримся или все-таки за что еще?

— Ну зачем же так, Александр Иваныч, — за любовь... Мы люди скромные, положение занимаем небольшое... Но и у нас тоже кое-что есть... Тысячи две мы бы, я думаю, наскребли...

— Две? Всего две? За то, что чуть-чуть было не убили человека?.. Негусто... Прямо скажем, негусто... Как я понимаю, вряд ли больше, чем дают сверху за хороший мебельный гарнитур...

— Какие же две, Александр Иваныч? Две — это только от нас... А другие? Другие-то тоже что-нибудь соберут... Главное — договориться... Но, конечно, если две мало, Александр Иваныч... Если вы считаете, что мало, можно, наверное, и три... Сожмемся, продадим что-нибудь, чего уж там... А, да что о нас говорить...

— Можно и не так, Александр Иваныч, — вмешался молчавший все это время ее муж. — Можно и по-другому. У вас нет машины?

— Ну нет...

— Мы бы все вместе собрали бы вам на машину. И доставили бы вам ее... Если и не новую, то это так просто, только поговориться будет, что не новая. Отвечаю, я бы вам все в ней сделал в лучшем виде, никогда бы и горя не знали с ней. И после тоже бы я ее обслуживал, прямо ко мне бы и приезжали... Не верите — спросите у людей. Меня знают, ко мне всегда в очередь стоят...

— И так можно, — поддержала она. — Соглашайтесь, Александр Иванович... И так, и так вы ни с какого боку не внакладе... Человек вы серьезный, уважаемый. Вам-то что оттого, что парня засудят? А так и вам хорошо... Наверное, года за два ваш заработок, не меньше. И то если не пить, не есть...

Последнее замечание, видимо, и переполнило чашу терпения Татьяны, молча, отвернувшись к окну, сидевшей до этого в углу. Она вскочила:

— Сейчас же... Сию же минуту убирайтесь отсюда вон!

— Почему? — искренне удивилась тетка. Ее лицо должно было выражать полнейшее миролюбие. — Александр Иванович вон не возражает, слушает нас... Мы с ним про дело говорим...

— Убирайтесь сейчас же! Сейчас же вон! Или я закричу...

— Да что вы, гражданочка, будто с цепи сорвались? Мы же по-хорошему, не чего-нибудь... Что я такого сказала, что вы вскинулись?

— Последний раз предупреждаю — я закричу!

— Александр Иванович, да что же это такое, в самом деле? Вы же вроде поняли нас... Условия стали ставить...

— Уходите... Она права... Лучше вам уйти...

— Уйти?... Ну, ладно. Уйдем, — поднялась она с табуретки. За ней поднялся и муж. — Но мы еще придем. Мы по-другому придем... Не хотите миром? Не надо... Думаете, и на вас никого нет? Найдем! И на вас найдем... Это еще неизвестно, кто там будет — вы или мой сын... Пьяницы, хулиганы! Напились, на мальчонку навалились, бугаи... Нашли над кем куражиться... Доценты, профессора... Давить вас надо, таких профессоров! Лежишь те-

перь — и поделом тебе, лежи. Поделом! Твое счастье, что не сдох... Ничего, сдохнешь, сволочь, дай срок...

Вечером, перед ужином, на полчаса забежала Верочка. Он не раз пытался запретить ей приходить, кроме как по воскресеньям, — достается им теперь, бедным школярам: как ни верти, получается полный рабочий день, а им ведь и поиграть еще во что-нибудь хочется, и на улицу пойти, и с книжкой поваляться, животом на диване, задрав ноги кверху, но она не слушалась его, приходила почти каждый день. Хорошо еще, что больница была недалеко от их дома, у Петровских ворот, две троллейбусные остановки пешком, а то и того ближе — напрямиком через проходные дворы. Конечно, ворчал он больше так, для порядку, на самом-то деле его ужасно радовали ее приходы, он ждал их, даже как-то готовился к ним, обдумывал, вспоминал, что еще они не успели в прошлый раз обсудить, что еще он хотел ее спросить тогда, но так и не спросил... Что ж... Все естественно... У старшей уже своя жизнь, у нее жених, скоро замуж выйдет, да с ней они не были никогда особенно близки: отец ты — ну и отец, значит, так надо, а дома ты, нет ли, разговариваешь ли ты или молчишь — твое значение не в этом, а в том, что ты вообще есть... Ну, а жена... Что ж жена... Чего они с ней не обсудили до сих пор, за их двадцатипятилетнюю семейную жизнь? Чего еще не сказали друг другу? Все сказано, все сказали. И надо благодарить Бога хотя бы уже за то, что им до сих пор еще не тяжело вместе, что им можно и теперь, под старость, как в былые времена, без всякой натуги посидеть рядом вдвоем и помолчать: ты думаешь о своем, она о своем, и обоим, в общем-то, хорошо...

Верочка, как всегда, принесла с собой кучу разных новостей: на улице выпал снег, только немного, дворники его почти весь уже соскребли; кот дома опять драл диван, мама его отшлепала, а он обиделся, уполз в дыру под ванной и, как они его ни звали, не вылезает оттуда и все еще там сидит; Ларкиного жениха послали на неделю на картошку, а у них билеты в театр, на «Принцессу Турандот», но Ларка ее с собой не берет, говорит, что все равно не пустят, выгонят с позором, потому что детям можно только

после шестнадцати лет... Поговорили и про школу, и про мальчишек у них в классе — какие они все дураки: хоть и воображают, и дерутся между собой, но если учительница их ругает — плачут хуже девчонок, смотреть противно, как в детском саду... Весело они поболтали тогда, хорошо... Но когда ей уже надо было уходить, она вдруг, наклонившись, спросила, глядя ему в глаза серьезным, недетским, тревожным каким-то взглядом, как будто от его ответа зависело что-то чрезвычайно важное — даже не для него, а для нее:

— Папа, ты их простил?

— Их? Кого их, Верочка?

— Всех этих... И мальчишку этого, и этих, которые тебя избили... Мама говорит, к тебе сегодня приходили от них, просили простить... Ты их простил?

— Не знаю, малыш... Даже и не знаю, что тебе сказать... Может быть, и простил бы. Но я же ведь не один... Другие не простят...

— Другие, другие... Я их не знаю — других...

— Ты знаешь, какое дело... Ну, допустим... Ну, допустим, я прощу... Хорошо, прощу... Но думаешь, хоть кто-нибудь из них спасибо скажет за это? Не скажут, уверяю тебя, не скажут... Вот в чем все дело... Только одно и скажут: дурак, лопух, слюнтяй несчастный... Думаешь, мне это не обидно? Что ж я действительно за дурак-то особенный на свете? А?.. Еще ведь и смеяться будут за спиной: уговорили дурака, обманули, так ему и надо... И никто, малыш, не поймет... Вот что грустно — не поймет...

— Я пойму.

— Ты поймешь... Я знаю, ты-то поймешь... Но это уж очень немного — я да ты...

— Ты опять про других... А я про тебя... Для себя ты их простил? Или не простишь — никогда и ни за что?

— Для себя? Для себя, Верочка, я давно простил. И не только их... Но разве это изменит что-нибудь? И самое грустное знаешь что? Что я сам искренне до сих пор не знаю, что же лучше: прощать или не прощать? И так плохо, и так плохо... Не знаю, малыш. Ничего я не знаю... Знаю только одно: если кто-нибудь, не дай Бог, обидит

тебя — я его убью. Возьму топор и убью... Я, малыш, не шучу. Я правду говорю. И пусть потом делают со мной что хотят... Господи ты Боже мой! Что я такое несу?! Чем я тебе голову забиваю?! Ты бы меня хоть остановила... Ты же маленькая, ты же ведь еще в куклы играешь...

— Папа, перестань! Я не маленькая... Я давно уже не маленькая... И мы с тобой не про куклы говорим — про тебя... Про тебя и про меня...

— Хорошо. Понял. Больше не буду, не сердись... А теперь иди. Сейчас придут меня колоть, сестра не любит, когда здесь кто-нибудь сидит... Завтра придешь?

— Приду.

— Только если будет много уроков, ты лучше не приходи. За один день я без тебя не умру...

— Папа, ты говоришь ерунду. Я сказала приду — значит, приду... Маме что-нибудь передать?

— Нет, не надо ничего. Иди...

История эта кончилась так, как она и должна была кончиться: мальчишка попал в колонию для малолетних правонарушителей, его же взрослые дружки получили каждый от полугода до года тюрьмы. Сравнительная мягкость приговора объяснялась тем, что было принято во внимание состояние потерпевших в момент происшествия: следствию и адвокатам удалось в конце концов весьма точно установить количество бутылок, выставленных в тот вечер на стол. На суде встал даже вопрос, учитывая служебное положение Старкова и Горга, о частном определении в адрес руководства факультета; однако судья после оживленной дискуссии эту попытку отклонил.

* * *

Первое время после больницы ему было все-таки довольно трудно ходить в университет: быстро уставал, выдыхался, иногда посреди лекции вдруг забывал, что хотел сказать, хотя за двадцать-то с лишним лет должен был бы уж, кажется, знать наизусть, что читал из года в год. Особенно же трудно было по вечерам, когда он садился за свои бумаги и словари: то голова ни с того ни с сего на-

чинала болеть, то появлялась какая-то радуга или рябь перед глазами или же они начинали неудержимо слезиться... Но потом и это все наладилось, утряслось...

Вместе с тем именно в это же время он как-то по-новому, не как раньше, стал смотреть на всех этих мальчиков и девочек, которые по утрам молча сидели перед ним в большой, амфитеатром, аудитории на полукруглых скамьях... Кто они? И что можно от них ожидать? Не сейчас, а после, когда его уже не будет... Будут ли они помнить его? И кому из них будет по-настоящему нужно в жизни то, что он им сегодня говорит?

Несомненно одно, думал он: эти мальчики и девочки умнее нас, но умнее каким-то особенным, непривычным для нас умом. Они неплохо, во всяком случае не хуже большинства из нас, образованны, и не в смысле того, много или мало они прочитали книг, — всего ведь все равно не прочтешь, — а в смысле впитывания, всасывания в себя этого прочитанного, усвоения его, органического вплетения опыта прошлых поколений в их повседневное мышление и повседневную жизнь, в их манеру думать, рассуждать, вести себя и дома, и среди чужих. Это уже само по себе важное отличие от нас... И в этом отношении культурная традиция, ослабевшая или ослабленная в нас, в них или уже получила или, можно надеяться, получит в самом недалеком будущем новые, более основательные возможности не только для восстановления, но и для дальнейшего движения вперед... Нельзя не видеть также и того, что мягкость, приветливость уже больше не считаются у них за порок, за малоизвинительную слабость, по крайней мере внешне: даже самые напористые из них предпочитают теперь все-таки действовать не горлом, не в лоб, а осторожно, без видимого нажима, будто стесняясь выйти за рамки того, что ими же самими признается сейчас за минимальный предел порядочности — а был ли он вообще в наше время? — и что пусть с натяжкой, но все же укладывается где-то там, поближе к середине, на линии между этими двумя крайними полюсами, выраженными извечной формулой «плохо — хорошо»... Удивительно — или это просто кажется мне? — но они меньше нашего пьют, меньше повесничают, меньше

пропускают лекций; я почти не вижу перед собой опухших физиономий по утрам, а сколько в наше время, хотя бы даже и у нас на курсе, было таких? Они раньше женятся, чем женились мы, нередко даже на первом-втором курсе, раньше обзаводятся детьми, многие из них уже сейчас пытаются подработать, и не на погрузке вагонов, ночью, раз в неделю, нет, они ищут серьезную, постоянную работу, занимаются переводами, готовят учеников, пробуют писать в газеты, журналы, на радио. И не важно, на каком это все уровне; важно, что это все-таки не что-нибудь, а творчество, работа, не баловство, а труд...

Да, конечно, все это так... Все так... Но с другой стороны, — или я опять ошибаюсь? — поражает их полнейшее, искреннее равнодушие к тому, чем в свое время жили мы, если говорить о нашей умственной жизни. У них четко: большие, всеобщие проблемы сами по себе, а мы, наша жизнь, сама по себе, и незачем смешивать это все воедино, все равно одно от другого не зависит никак. А если большие проблемы достают все-таки и нас иногда, то только в том смысле, что как бы ухитриться их обойти, как отгородиться, защититься от них или же, на худой конец, если уж от них совсем некуда деться, — как бы приладиться к ним, к этим проблемам, чтобы они хоть поменьше мешали жить... Так сказать, здоровый прагматизм, не то слишком детский, не то слишком взрослый — как на него посмотреть... Впрочем... Впрочем, а так ли уж это плохо — это отсутствие интереса, это нежелание переживать из-за того, что все равно — переживай не переживай — не находится в твоей власти? Это еще вопрос, огромный вопрос: что надежнее, что эффективнее — вселенский размах, от края и до края, без вожжей и ограничений, и вместе с тем удручающее пренебрежение к простым будничным делам, к маленьким человеческим добродетелям вроде элементарной порядочности, честности, добросовестности, благожелательности к людям, или же... Или же, напротив, именно эта, так называемая мещанская мораль, у которой, по крайней мере, есть хоть одно несомненное достоинство, выверенное в веках: сколько она обещает тебе, столько она тебе и дает, не больше, но и не меньше... В тех пределах,

в которых человек может, — в этих пределах с него и спрос, больше не нужно... Но и меньше нельзя! И не такие уж они маленькие, эти пределы: совесть, долг, честная работа, сочувствие к окружающим — это ведь все тоже они, пределы, и разве не только просто человеку, но и обществу в целом недостаточно их? Не знаю, как насчет конечных судеб мироздания, а с точки зрения обычного человеческого общежития эти нынешние мальчишки и девочки, возможно, и правы... Да-да, пожалуй, действительно правы...

Вспомнился недавний разговор на факультете с одним из его студентов-старшекурсников — этим летом, перед самым роспуском на каникулы, в углу на полутемной железной лестнице, на площадке между первым и вторым этажом, у серого, никогда, похоже, не мытого окна, выходящего во двор... Важный, если вдуматься, разговор. Показательный разговор... Он, Горт, давно еще, чуть не с первого курса, приглядывался к этому парню: низкорослый, крепенький, напористый, отнюдь не отягощенный ни излишней культурой, ни сомнениями, но зато чрезвычайно работоспособный и, по-видимому, весьма точно знавший, что ему нужно от жизни и что в ней, в жизни, почему, прекрасно успевавший и по китайскому языку, и по другим предметам, активный, деятельный, участвовавший во всех делах, какими только жил факультет, — одним словом, по нынешним временам идеал, прямо-таки образец. Другого такого, наверное, не сразу и найдешь... Не случайно на этого парня еще на третьем курсе пришла заявка из одной очень серьезной организации, и не только руководство факультета, но и сам парень про эту заявку знал, да и все другие, наверное, тоже знали, уж если даже и до него, Горты, редко интересовавшегося такими вещами, этот слух тоже каким-то образом дошел.

— Александр Иваныч, можно с вами минутку поговорить? — остановил он его в тот день.

— Конечно. О чем?

— Александр Иваныч, я хотел вас попросить... Заступитесь, если можете... Может быть, хоть вас послушают... Ведь вы меня давно знаете, я все четыре года в семинаре у вас...

— А в чем дело, Борис? Я ничего не знаю.

— Понимаете, я должен через неделю уезжать в стройотряд, на Север... Меня даже назначили командиром этого отряда... Я тогда согласился... А теперь не могу... А мне говорят: или поедешь, или строгий выговор с занесением в личное дело. И на распределении, говорят, тоже тебе это впомним...

— Зачем же ты тогда соглашался?

— Да я сам тогда хотел... И сейчас тоже хочу. Только не могу...

— Почему?

— Псу три дня назад грузовик во дворе... Обе передних лапы раздавил...

— Так... А как же ты раньше думал?

— Я думал его с собой взять. В наморднике же в поездах можно...

— Н-да... И оставить не с кем?

— Не с кем. Я один живу... То есть с псом... Родители в Алжире, а родственников у нас здесь нет. Мы только пять лет назад в Москву переехали. С Алтая.

— Ну, так сдай пса куда-нибудь на это время в больницу. Или в питомник...

— Александр Иванович! Да вы что?! Как же я его сдам, да еще на целых полтора месяца?.. Да и кто его возьмет в питомник? Он же беспородный...

— Плохо дело, Борис. Серьезными вещами рискуешь...

— Да я понимаю, Александр Иванович... Думаете, я не понимаю? Но что же делать-то? Сделать-то я ничего не могу...

Каким-то образом все же при его, Горта, содействии удалось тогда замять, уладить это дело. Да и парень, надо признать, тоже оказался далеко не беспомощным: достал откуда-то медицинскую справку о вегетативно-сосудистой дистонии, плакался, уговаривал, канючил, ходил от дверей к дверям...

Но иногда Горт ловил себя на мысли: ну, а если бы ничего не удалось, если бы вопрос все-таки встал: или — или? Как, отступил бы тогда парень? Нет, не отступил бы. Пошел бы на все, но не отступил... В этом-то все и дело, дорогие мои... В этом-то все и дело... А вы говорите: бандиты, без стыда, без совести, куда идем и куда придем...

И пожалуйста, прошу вас — без этих снисходительных ухмылочек... Не надо делать из меня дурака. Я, дорогие мои, не хуже вашего вижу, что происходит вокруг. И я не хуже вашего вижу всех этих мерзавцев, которых почему-то так много стало повсюду именно в последние годы... И среди молодежи — и среди молодежи тоже... Но... положила руку на сердце... Да полно, граждане, — много ли? А их что меньше было в двадцатых годах? Или в тридцатых — особенно в тридцатых? Или в пятидесятых? Или сто, или тысячу лет назад? Кто решится сказать, что их когда-либо было меньше, этих мерзавцев, чем сегодня, сейчас? Забыли, что всего лишь поколение назад было с вашими отцами, да и со многими из вас самих? И чем нынешний мерзавец хуже прежнего? Может быть, даже и не хуже, может быть, даже лучше: нынешнему хоть убивать не велят... А воры... Что ж воры?.. Воров на Руси всегда было хоть пруд пруди... Вор, он всегда вор: его место в тюрьме, и рано или поздно он там будет... Будет. Куда ему деться? Другого конца испокон веков у него не было и нет...

После того потрясения, год назад, в нем появилась и еще одна новая черта: он перестал спешить. Раньше ему постоянно не хватало времени, вечно он куда-то торопился, раздражался, был недоволен собой и другими, особенно другими, всегда не вовремя пристававшими к нему со всякими пустяками и отвлекавшими его от каких-то, как думалось тогда, чрезвычайно важных и срочных дел... А оказалось, что ни важных, ни уж тем более срочных дел на самом-то деле и не было никаких...

Жизнь его окончательно устоялась — утром в университет, вечером в библиотеку, и так каждый день, никаких значительных перемен в ней ниоткуда не проглядывалось, ждать ему от нее, кроме естественного ее конца, больше было, по существу, нечего, все, что мог, он так или иначе сделал... Нет, правда... Что еще? Чего он не сделал?.. Чего-то еще не прочел? Ну, не прочел — так что из этого? Бог даст, когда-нибудь и прочтет, а не прочтет — тоже не велика беда, что это изменит в нем или в его жизни? Ничего. Ничего не изменит. И не потому,

что он уже знает все, а потому, что на те вопросы, на которые он за все пятьдесят лет своей жизни так и не получил ответа, все равно, как он уже давно убедился, не может ответить никто — их просто не существует в природе, этих ответов, и с этим и надо жить... Кого-то из своих любимых китайцев или японцев он еще не перевел, кого-то перевел, но не так, выпустил только одну книгу переводов, а материала у него еще на две, а то и на три? Что ж, и здесь торопливость не нужна, если сможет — переведет, если получится — выпустит, не сегодня же ему умирать. А если у него самого так все-таки ничего и не выйдет — дочери позаботятся, Верочка позаботится, дело сделано, и это теперь уже не только их семейный капитал, это национальный капитал, национальное достояние. Да-да, именно так! И, пожалуйста, не усмехайтесь: именно национальное достояние. И не может же быть, в самом деле, чтобы рано или поздно это не дошло до тех, до кого это должно дойти... Что еще? Ну, еще, конечно, чего-то он не успел додумать, что-то уяснить для самого себя, что-то вспомнить из того, что хотелось бы вспомнить, да все как-то было недосуг... Но и это ведь тоже лучше получается не на бегу. Спешись, спешись, вечно спешись, подумать-то спокойно — и то некогда, все обрывками, все мимоходом: так, мелькнет что-то, пронесется легкой тенью в голове, продержится какую-то долю секунды — и пропадет...

И еще он очень полюбил теперь, если представлялась возможность, подолгу сидеть на лавочках — в университетском дворе, в сквере Большого театра, в Александровском саду... Но особенно часто сидел он теперь у себя в скверике на Неглинной, недалеко от своего дома. Этот сквер посреди улицы и днем-то бывал обычно пуст, хотя по обеим сторонам его всегда бурлил оживленный людской поток, а по вечерам, тем более после одиннадцати, в нем и вовсе не было, как правило, ни души: сиди, отдыхай, размышляй в свое удовольствие, благо торопиться никуда не надо, время у тебя есть... В полночь часть фонарей на Неглинной отключали, и тогда, особенно если ночь была безлунной, сквозь блеклое марево тусклого, размытого

света, с наступлением темноты повисавшее над городом, потихоньку, понемногу начинали пробиваться звезды — далекие, редкие, еле видимые отсюда, с земли. Он откидывался на спинку скамейки, вытягивал поудобнее ноги, задира л голову вверх — хорошо, тихо вокруг, пусто, никого... Как говорил Кант? Две вещи в мире достойны удивления: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас... Так? Кажется, так. Или почти так...

Да, приходится, к сожалению, признать, что со звездным небом над головой ему все-таки не повезло: прожил всю жизнь в городе, с малых лет, и, по существу, толком-то и не видел его никогда. Помнится, уже в зрелые годы однажды на берегу Амура, под Хабаровском, куда его послали читать лекции, он страшно удивился, увидев вдруг чуть не первый раз в жизни над собой звезды в кулак величиной — по всему небу, от края до края, да так близко, что, казалось, можно было достать до них рукой... Надо ж! Оказывается, Млечный Путь действительно есть, всей своей серебряной дорогой, а ведь было, всегда где-то там, внутри, было такое чувство, что это все выдумки, что на самом-то деле ничего такого и нет, что это все одни стихи...

А вот насчет нравственного закона — это уж, пожалуй, по его части. Все, о чем он когда-либо размышлял, все это, если разобраться, всегда было, в сущности, об одном: как человеку жить, чтобы не мешать другим и чтобы никто не мешал ему... Кант, конечно, думал о Боге. Но не в Боге здесь дело, нет, не в Боге — в нас самих... Зачем вообще человек придумал себе Бога? Разве нельзя было обойтись без него? Конечно, это узда, иногда — очень крепкая узда, но разве своими собственными силами, без апелляции к нему и к жизни за гробом, человек не мог и не может обуздать себя и других? Откуда это известно, что нравственный закон дан ему свыше, а не является его собственным достоянием, не зависящим ни от кого и ни от чего?.. Достоевский вон все печалился: как же так? Если Бога отменят — что тогда? Тогда, значит, все дозволено, никакой узды? Но, Федор Михайлович, вы ведь опять о подотчетности, опять о начальнике, который ставит вам плюсы-минусы и разные другие там галочки в вашем

личном досье. А без него мы с вами что же: так, букашки, ползающие где-то там, внизу, и больше ничего? Если вдуматься, то зачем он нам с вами, еще один начальник? Разве мало их и без того?.. Мать, когда ребенка грудью заслоняет от смерти, — разве она оглядывается на него, на этого начальника? А простая житейская вещь — старика задеть, толкнуть его? Какой ты ухарь ни будь, а все равно вроде бы неловко — это что, тоже свыше, тоже от него? Значит, есть все же в нас, без всякого напоминания извне, что-то такое, что сдерживает человека?

Конечно, можно возразить: все это зыбко, шатко, неверно, у одного это есть, у другого этого нет... Все это так... Но если вы мечтаете о грядущем в веках безначалии и всеобщем согласии, то приходится признать, что никакого другого фундамента под этим нет и не может быть... Бог, как известно, не вмешивается ни во что: если прошлое чему-нибудь и учит, так только тому, что он давно, может быть еще с самого начала, предоставил нам устраивать нашу жизнь самим, как хотим... А если так, то нет никакого другого пути, кроме как понемногу, не торопясь, из поколения в поколение укреплять этот шаткий фундамент: где проповедью, а где и обращением к человеческой выгоде — не дурак же человек, в самом деле, чтобы когда-нибудь ее не понять... Тоже ведь способ, ничем не хуже любого другого... И, конечно же, гарантии. Прочные, повседневные гарантии, уходящие корнями в самую толщу жизни, так, что их потом уже не выдрать никому и ни за что... Чтобы человек, если раздастся вдруг ночью громкий стук к нему в дверь, не испугался, не окаменел от ужаса, а всего лишь удивился: как это так?! Кто посмел?! На это — на создание гарантий — нужны поколения, может быть, многие поколения, но кто после всего того, что было в истории, может указать более короткий и более легкий путь? Нет его, этого другого пути, кроме как кирпич к кирпичу, камешек к камешку, и, может быть, даже без надежды увидеть своими глазами хоть какой-нибудь, хоть самый крохотный конечный результат...

Конечно, далеко не всегда, когда он сидел так — тихо, один, никому не мешая, — его заносило в такие заоблачные

выси. Думал он и о себе, о своей практически уже прожитой жизни, о жене, о дочерях — что их ждет, как они будут жить... Вот и Татьяне тоже скоро пятьдесят, и более половины из них прожито рядом, бок о бок с ним... Интересно, как она, жалеет, что судьба связала ее именно с ним, что все сложилось именно так, а не иначе? Или тоже, оглядываясь назад, признает, что все, в общем-то, и не так уж плохо было и все, что отпущено человеку, было и у них? Пусть иногда и скупое, по минимуму... Но ведь могло бы и вообще не быть? Это-то тоже надо ценить... «В каждой луже запах океана, в каждом камне веянье пустыни...» Нет, наверное, все-таки жалеет иногда: человек она деятельный, активный, такие всегда ценят явную, видимую удачу, а какие такие уж особенные удачи за все эти годы были у них? Не было никаких особенных удач, по крайней мере таких, о которых соседи могли бы сказать: вот, повезло человеку, молодец, высунулся, выдвинулся вперед, того и гляди, если и дальше так пойдет, будешь еще первым здороваться с ним на лестнице, улыбаться, шляпу снимать... Что у них с ней есть? Чего они добились в жизни? Квартира — от родителей, мебель дрянная, пара камушков у Татьяны в ушах — так это тоже от матери покойной: сумела, сообразила купить, когда это еще все шло, что называется, ни за грош... Ну, сервис еще есть роскошный, майсенский, на двенадцать персон — так это тоже отец когда-то привез... Еще лампа старинная, бронзовая, ковер на полу, столовое серебро, один, но настоящий Нестеров на стене — дед, говорили, когда-то с ним дружил... Все? Все... Нет, как же, — не все! Очень даже не все... А гордость его, его библиотека, которой по нынешним временам цена, наверное, миллион? Миллион, конечно, не миллион, это так, для красного словца, но если продавать, да еще не оптом, а по томам, то тысяч тридцать-сорок, наверное, потянет, а то и больше. Все-таки не шутка — почти пять тысяч томов, и каких томов! Плутарх, Марк Аврелий, Момзен, Карамзин, Соловьев... Профессиональная литература... А изящная словесность? Кого из значительных авторов у него нет? Все есть. И тут уж не дед, не отец — все, что было у них, погребло в войну. Это не они, это он сам... Сколько времени, сколько денег он потратил за свою

жизнь, чтобы собрать эту библиотеку!.. И в юности, и в зрелые годы... Да и сейчас... Собственно говоря, кроме сидения по вечерам в одиночестве на лавочке, только одно развлечение всерьез и осталось теперь у него — это ежедневные его визиты в два букинистических магазина, один в «Метрополе», другой рядом же, у Китайгородской стены: авось с чем-нибудь и повезет... Конечно, теперь уже рынок стал далеко не тот, как в бывшие времена, когда в книжках мало кто понимал. Теперь охотников за книгами развелось, наверное, больше, чем самих книг, и, кроме дряни, на полках даже и в этих магазинах обычно не стоит ничего. Но иногда девочки за прилавком, состарившиеся у него на глазах и теперь уже не годы, а десятилетия знавшие его, нет-нет, да и вытаскивали для него откуда-то из-под низу что-нибудь интересное и не очень дорогое. И не за какую-то там особую мзду, а просто так, потому что и он уже давно был как бы частью их жизни и, хотя они никогда не говорили ему этого, им тоже, наверное, стало бы хуже жить, если бы он вдруг перестал каждый день к ним ходить... Нет, правда, зря клеветают на них: ну, букетик фиалок когда, если они, эти фиалки, попадутся где-нибудь по пути, ну, лишняя улыбка, ну, пара фраз о том о сем... Так постепенно все оно и шло из года в год... И вот — собралось...

Таких библиотек, как у него, в Москве, наверное, раз, два и обчелся! Жаль, если ее растащат когда-нибудь по кускам, когда их с Татьяной уже не будет. Очень жаль... Хорошую библиотеку надо ведь создавать поколения три-четыре, не меньше... Но что поделаешь? Уйдут они с Татьяной — придется дочерям ее делить... Впрочем, почему обязательно делить? На кой черт она, по совести говоря, Ларке и ее этому футболисту с челкой в два пальца на лбу? Парень он, конечно, неплохой, инженер как инженер, не хуже и не лучше других. Но уж ему-то это действительно ни к чему... Получат свою долю — и сейчас же продадут, мебель себе новую купят, или машину, или катер, или еще там чего-нибудь... Нет, так нельзя. Непорядок. Надо будет позаботиться об этом уже сейчас. Мало ли что... Первым делом надо составить завещание и все в нем точно оговорить — кому что. И нечего бояться этого слова — завеща-

ние. Не нами это выдуманно, не нам это и отменять. Весьма полезное установление в человеческом общежитии, если, конечно, не разводиться ненужных соплей... Находясь, так сказать, в здравом уме и трезвой памяти... Ларке отказать майсенский сервиз — дорогая вещь, как никак, девятнадцатый век. Столовое серебро, лампу — они тоже стоят, небось, немалых денег, еще там что-нибудь... Хватит ей, в обиде не будет, должна же понимать... А Нестерова и всю библиотеку — Верочке, и наказать, чтобы ни за что не продавала, что бы ни случилось в жизни, пусть хоть до последней нищеты дойдет. Да ей и не надо ничего наказывать — такая не продаст, такая будет цепляться за них изо всех сил, можно не сомневаться, — и внукам передаст... Если, конечно, все вообще когда-нибудь не провалится в тартарары...

Ах, нет... Нет, голубчик, Александр Иванович... Погоди, не торопись... Насчет Нестерова и майсенского фарфора — не торопись... Как бы не пришлось тебе, дорогой мой, в самом скором времени тащить их в комиссионный. Очень в скором времени... Тоже мне, видишь ли — разговорился! Устоялась жизнь, определилась окончательно, никаких значительных перемен в ней больше неоткуда ожидать... Никаких? Это смотря какие перемены! И что из них считать за значительные, а что нет... Посмотрим, дорогой мой, что ты запоешь через год, если все то, о чем говорил третьего дня декан факультета, окажется все-таки реальностью... И посмотрим, как ты будешь рассиживать по вечерам на своих этих лавочках, задрав свою многодумную голову ввысь...

Два дня назад его пригласил к себе декан факультета, его бывший однокурсник... Фронтовик, служака, самой природой, видимо, созданный для административной работы и потому всегда что-нибудь да возглавлявший, сколько он его ни знал, вот уже почти тридцать лет... Беседа была недолгой, но, надо сказать, весьма содержательной... Весьма...

— Александр Иванович... Я вот что... Я вот о чем хотел тебя предупредить, — сказал ему декан. — В министерстве считают, что мы в нашем учебном процессе слишком уж увлекаемся классикой... Слишком мы мало... Недопустимо мало уделяем внимания современности... Не тому, понимаешь ли, мы с тобой учим, не так готовим! И не тех... Судя

по всему, предстоят серьезные перемены. И без сомнения они достанут всех нас. Весь факультет... Поручено пересмотреть все учебные планы и курсы. Избавиться от всего, что лишнее, что устарело... Думаю, Саша, это не минует и тебя. Никак не минует... Средневековье и так читается в общем курсе. А еще и целая специализация, целый твой спецкурс, с десяток человек в каждом выпуске, специализирующихся по древнему Китаю... Слишком большая роскошь по нынешним временам! Недопустимая, считают, роскошь... Никому теперь, как выясняется, все это старье, понимаешь ли, не нужно... И боюсь, Саша, что ты со своим спецкурсом первым пойдешь под нож... Так что ты меня пойми. Правильно пойми... Я не хочу, чтобы эти перемены застали тебя врасплох... На факультете тебя ценят, уважают, студенты тебя любят... Но ничего не поделаешь — придется приспособливаться, старик. Министерство нам не переспорить... Время у нас еще есть, и при твоей квалификации, твоем-то опыте — неужели ты за полгода, да нет, даже больше — считай, за девять месяцев не подготовишь какой-нибудь новый спецкурс? Что-нибудь поближе к современности?.. Вот, кстати, хочешь — возьми Гоминьдан и другие их буржуазно-демократические партии? От начала и до сегодняшнего дня? Ведь у нас это толком-то и не читает никто. А тема большая, серьезная тема... А, Саша? Подумай... Прошу тебя, подумай. Подумай — и скажи мне... И не откладывай особенно. Время хоть и есть, но ведь сам знаешь как: не успеешь и оглянуться... Все понятно, старина? Понятно? Ну, тогда пока... Извини, у меня, к сожалению, в приемной еще народ сидит...

— Ну, и что ты думаешь делать? — спросила его Татьяна, когда он, естественно, в тот же вечер сообщил ей об этом разговоре с деканом. — Вяжешься в новое дело? Или плюнешь на них?

— Не знаю, Танюша. Не знаю, друг мой... А как хочется плюнуть! Как хочется, если бы кто знал...

— Ну, и правильно! Плюнь, Саша... Не расстраивайся... Плюнь... Переживем...

— Плюнь? Ты правду говоришь?

— Правду... Правду, Саша... Всю жизнь ты жил этим...

Сколько сделал, сколького достиг... И вдруг — нате вам! Все, что было, — все это, что же, как говорится, псу под хвост?

— А жить будем на что? Ты об этом подумала?.. Пока-то я еще пристроюсь где-нибудь... И переводы мои не идут... И рукопись... И рукопись — ты же знаешь... Что тебе говорить...

— Проживем... проживем, Саша! Не бойся. Как-нибудь проживем... Какое-то время я вас всех прокормлю... Левой работы наберу, подсократимся... Может быть, и что-нибудь продадим... А потом, даст Бог, и ты что-нибудь найдешь... Только такое ищи, чтоб вечера были свободные... Просидел ты, Саша, всю жизнь в библиотеке — ну, так и сиди в ней до самого конца! Кто знает... Кто знает: может, функция у тебя в жизни такая — там сидеть?

Н-да... Функция... Так, значит, функция, говоришь? Занятная мысль, ничего не скажешь... И не кем-нибудь ведь сказанная — тобой... Тойбой, у кого, небось, всю жизнь эта функция вот где сидит... Что ж, это правда. У всех, наверное, своя функция... И у него... И у него тоже функция... Татьяна права... Да-да, функция, именно функция, черт побери! Пусть даже для кого-то это и слишком громко звучит... Сколько поколений нужно, чтобы хоть как-то восполнить ущерб от всех этих побоищ последних десятилетий, чтобы восстановить накопленное веками, не дать ему исчезнуть совсем? И кто это должен сделать? Кто, позвольте вас спросить?.. И если не будет таких, кто готов всю жизнь просидеть в библиотеке ради того, чтобы на полках у читающих людей стояла еще одна книга... Из тех, что должны там стоять во всякие времена и при всяком устройении... Что тогда?! Конечно, нельзя исключать возможности того, что в один Богом проклятый день все в мире вообще исчезнет, превратится в пепел, в дым... Но если этого не произойдет, если будет так, как уже было в истории, и не раз, — кто-то же должен это все восстановить?

Было! Все было, дорогие мои... Был, например, император Цинь Ши-хуан, который, как известно, велел закопать живьем всех ученых, уничтожить все книги Конфуция, где бы они ни находились, чтобы получить вместо мятушегося, непослушного народа какое-то новое сырье и на этой основе вырастить какого-то нового человека, свободного

от всякого груза прошлого, от всяких традиций. И что же?.. Да и зачем лезть так далеко? Был Гитлер. Был Сталин. Был Мао... Ну, переломали все пальцы Лю Шикуню, выбросился, говорят, парень из окна, нет его теперь. Но значит ли это, что китайцы могут жить без него? Нет, судя по тому, что там сейчас делается, — и они не могут. Нет этого парня, который так превосходно играл тогда Листа — тем хуже для них. И, кажется, сейчас даже самые горячие, самые невежественные головы там начинают осознавать, что это плохо, если его нет. Если хотите, и в экономике-то у них все так долго шло наперекосяк именно потому, что его нет. Да-да, именно потому... И если им суждено жить, они это восстановят, вот увидите — восстановят, не могут не восстановить. А вы говорите: не так жил, не так делал, не туда ходил... Моя задача, дорогие мои, достаточно проста, но она моя задача, и никому другому, кроме меня, ее не решить. Мое дело, мои книги, мои дочери. Все? Все. Немного? Может быть, и немного. Но и то — откуда посмотреть... Выгонят из университета, говорите? За ненадобностью?.. Да, выгонят... Скорее всего выгонят... Что ж... Наверное, и это придется пережить... Вот только из жизни, дорогие мои, теперь меня не выгонишь! Все — теперь уже не выгонишь. Время это прошло... Прошло! И как бы кому ни хотелось, назад его уже не вернуть...

Да, все это так... Все это так, конечно... Один вот только вопрос... А выдержишь ли, Александр Иванович? Выдержишь?.. Выдержу... И это выдержу... Я все выдержу... Мне недолго осталось... Я все выдержу, клянусь...

Прозвенел звонок. Пора было уходить. Горт собрал книги стопкой, протер платком припотевшие отчего-то очки, но перед тем, как окончательно подняться, все же задержался взглядом на верхнем листке блокнота, так и пролежавшего без дела весь вечер у него перед глазами. На листке, как и несколько часов назад, было написано только два слова — те самые «засыпая» и «заметая», о которые он споткнулся еще вчера и дальше которых так и не пошел... Да, пропал вечер. Пропал... А впрочем, может быть, и не пропал... Нет, «засыпая» все-таки точнее. Давай-ка, брат, это «заметая», чтобы больше уже не возвращаться к данному вопросу, за-

черкнем... Так все-таки хоть какой-нибудь, а результат... А? Как ты считаешь? Ведь есть же результат? Есть, конечно, есть... Скромный, конечно. Но все же уже кое-что.

Когда он спустился вниз по мраморной лестнице, кто-то попрощался с ним, и опять он не успел сообразить — кто. Но на самой нижней ступеньке лестницы, уже почти перед контролем, его вдруг осенило: Леля! И поздоровалась тогда, в начале вечера, с ним на лестнице тоже она. А он и тогда, и сейчас даже ответить-то толком не успел... Ах ты, Господи! Дожил, нечего сказать. Позор!.. Конечно, они давно уже редко общались друг с другом; так, подойдет иногда к ее столу, когда она дежурит, поговорят немного о разных пустяках, или же она, проходя по залу, где он сидит, приостановится у него за спиной, положит ему руку на плечо, улыбнется, спросит, как дела... Что ж... Что было — то было. У нее теперь муж, семья, и, судя по тому, как она выглядит в свои почти пятьдесят, ей неплохо живется... Но такого, чтобы он не заметил ее, не поздоровался? Нет, этого еще не было никогда... Ах, нехорошо, Александр Иванович, нехорошо... Совсем нехорошо... И никакое это не оправдание — задумался, заботы, дела...

Пока он сидел в библиотеке, похолодало. Моховая и Манеж были покрыты свежим, только что выпавшим снегом, до того чистым, что на него больно было даже и смотреть. Лишь черные следы от машин, пересекавшие Манежную площадь из конца в конец, говорили о том, что асфальт под снегом еще мокрый, что зима еще как следует не легла, что только начинался декабрь. Всю дорогу, пока он шел от Моховой до своей Неглинной, снег продолжал идти — густо, хлопьями, медленно кружась и оседая на спинах прохожих, на лицах, на изогнутых длинноногих фонарях...

— И засыпая след времен,

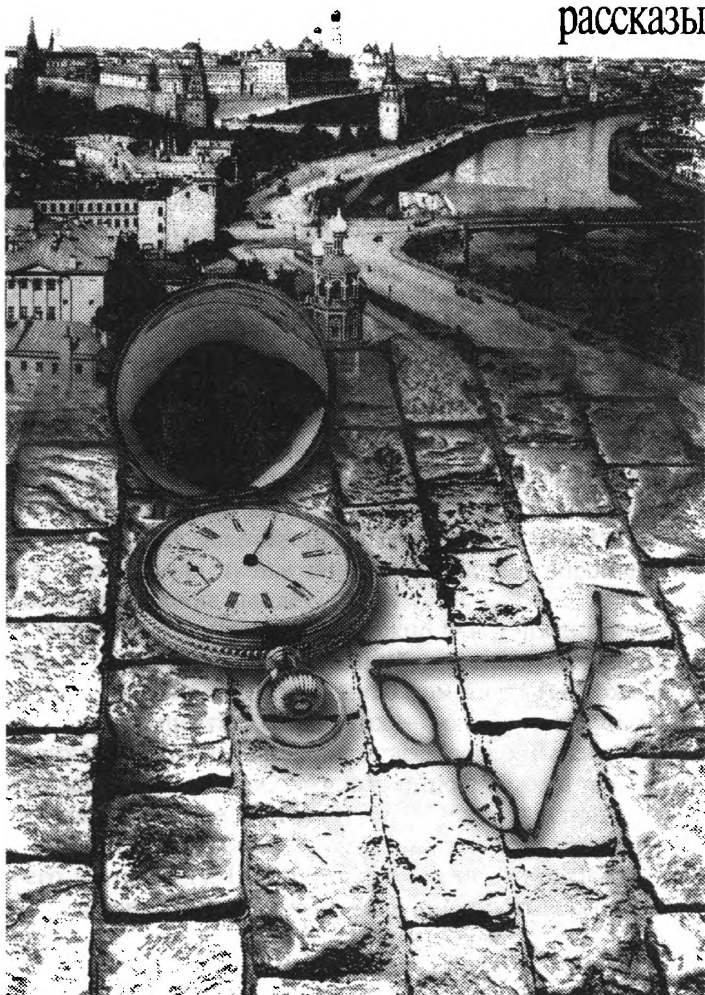
Снег падал с вышины...

Да, так будет лучше... Засыпая след времен... Засыпая все, что было, что есть и что, может быть, будет, а может быть, и не будет никогда.

Был конец 1979 года. Начиналось десятилетие 80-х годов.

Старая Москва

рассказы



Старая Москва

В домах одно за другим зажигались окна. Вечер был душный: судя по всему, перед дождем. Я решительно не знал, куда себя деть. Вновь надвигалось знакомое состояние: уличные фонари, бульвары, чья-то усмешка, скользнувшая мимо, — все это имело давно известный и печальный смысл. Вокруг опять начиналась всеобщая вечерняя интрига, которая неизвестно где и как кончится, но кончится обязательно самым диковинным образом и обязательно — без меня.

Иногда это состояние почти непереносимо. Необходимо сейчас же, сию минуту найти какой-то выход, найти телефонную будку, узнать, что тебя ждут, а не забыли... Но я имел уже некоторый опыт борьбы с собой и понимал, что выхода лучше не искать: ничего хорошего из этого все равно не выйдет.

Впрочем, кое-что все же можно было предпринять — скажем, сесть в первый попавшийся троллейбус. Не удивляйтесь: уверяю вас, иногда это помогает. Тут тоже есть свои преимущества, среди них — возможность быть на людях и не сказать ни слова за весь вечер. Важно только вмяться в угол у окна, устроиться поглубже, а там — как хочешь. Ничто не требует твоего участия в происходящем, и можно без боли отсутствовать — отсутствовать от всего и отовсюду. При этом даже есть свой выбор: смотреть в окно или не смотреть — прикрыть глаза и слушать чью-то невнятную болтовню рядом...

Маршрут шел по бульварам, по старым тесным улицам и дальше, через длиннейший мост — в пустынное безлюдье новостроек. Мне повезло: в машине почти никого не было. Подняв окно, я сел на сиденье за спиной водителя. Освещение здесь было неярко, и здесь

не трясло, а лишь несильно укачивало под шорох несущейся машины. От ветра в окно стало легче, томящая духота исчезла. Мелькали лица прохожих на перекрестках, афиши кино, освещенные телефонные будки... Постепенно в душе устанавливался мир или, может быть, безразличие — неважно что: время шло само собой, ничего не задевая и не тревожа.

Начинало казаться, что все это выдумки: нет нигде никаких событий, никаких особенных страстей, ни любви, ни ненависти, ни столкновений — ничего этого нет, а есть только смутное колыхание чужих обстоятельств, столь же неинтересных, как и твои собственные. И нет никакого смысла ждать новых обстоятельств, стремиться к ним, искать их — они будут столь же тусклы и так же ничего не прояснят и ничего не изменят. «Не трепыхайся», — говорила когда-то одна моя старая знакомая. Не очень вдохновляющая, но, надо признаться, практичная мысль...

Видимо, я почти задремал, потому что не заметил, ни когда эта девочка вошла, ни как она оказалась здесь, у раздвинутой дверцы водительской кабины. Я чувствовал, конечно, что в гудение машины вошел какой-то новый звук, но он был негромкий и ничем не нарушал мое оцепенение. Ее присутствие я заметил лишь тогда, когда она засмеялась: как пробежала по колокольчикам.

Сначала я увидел ее лицо, очень привлекательное, с мягкими чертами, и только потом — костыли и ее беспомощные ноги, почти плети. Ей было лет семнадцать, не больше.

Первое мое движение было отвернуться и не оборачиваться, не смотреть, не слушать. За что? Вопрос, конечно, бессмысленный: Но и все тогда равно бессмысленно тоже... И еще одно: вроде ты здесь ни при чем, и все же ты виноват, и, по-видимому, виноват прямо. У тебя-то две обычных ноги. Лучше отвернуться: не спасение, разумеется, но все-таки какой-то выход — до следующей подобной встречи.

Отворачиваться, однако, было бесполезно. Они разговаривали, а я не Ганди, я не умею приказывать себе отключиться. Сойти? Нет, сойти — это было бы совсем уж плохо... Как будто сдаться раз и навсегда...

— Нет, Леня, — говорила девочка, — просто я боюсь надоесть тебе. Болтаю, мешаю... Я не сказала: вчера ты сначала мимо проехал. Я потом прождала тебя целый круг... Ведь надоела, да?

— Что ты несешь? Прекрати... Где это было? На твоей остановке?

— Почти на ней. Я торопилась, но все равно опоздала немного. У светофора, чуть не доезжая остановки.

— Видишь, у светофора. Известно, что за место... Сегодня весь вечер будем ездить?

— Сколько выдержу.

— А ты попробуй.

— Не знаю... Леня; смотри, смотри! Стадион зажгли!

Мы въезжали на мост. Внизу горели огни стадиона: из чаши в небо, как из преисподней, поднималось зарево, и над ним, в слепом свете прожекторов, тяжело шевелились клубы дыма — вероятно, вдох-выдох всей этой массы людей, сгрудившихся в одном месте. Вокруг же, в изрезанном светом парке и на набережной Москвы-реки, не было видно ни души.

Мост долго шел наверх, на крутой и темный другой берег. Старый город оставался все дальше и дальше позади, огни его слабели, с надвигавшейся кручи начинало тянуть холодом. Далеко в стороне, за трубами и колокольнями, догорала заря...

Троллейбус ровно гудел на бесконечном подъеме. Я давно заметил, что здесь, на мосту, люди в машине всегда замолкали: слишком внизу, слишком далеко отсюда все было, так что и говорить-то, по сути дела, было не о чем. Не стоило ни о чем говорить... Я вытянул ноги, закрыл глаза и больше уж не шевелился. Хотелось теперь одного: чтобы не кончался мост, не кончался убаюкивающий гул машины, в котором сами собой растворялись последние остатки дневных скорбей и суеты. Пусть все останется, как есть, и ничего другого не надо — ни сейчас, ни позже, ни вообще... Фауст был, видимо, вздорный человек. Попробовал бы он родиться не в тот, а в этот век: думаю, удовольствовался бы чем-нибудь поскромнее...

Разом вдруг вспыхнула площадь — мгlistый свет фонарей, косые провода, блеск рельсов, разбежавшихся в стороны. Нехотя, запинаясь и дергаясь в проводах, троллейбус пересек ее пустое пространство.

На остановке кто-то с шумом втиснулся в заднюю дверь и пошел вперед, топая и не помещаясь в проходе. Машину качнуло. На девочку надвинулась огнедышащая гора — спина, багровая шея, шляпа, сдвинутая на затылок, но она как-то высвободилась, и сейчас же весь дверной проем был занят животом этого человека. Человек потребовал билетную книжечку, засопел и ушел назад. Девочка даже не оглянулась, она только переставила костыли на прежнее место.

— Непременно пьянь какая-нибудь влезет, — проворчал водитель. Она не ответила. Но когда машина тронулась, она спросила:

— Не будешь курить?

— А что?

— Ты всегда вытаскиваешь сигарету на этой остановке.

— Не замечал.

— А я заметила. И знаю, почему на этой остановке.

— Почему?

— Мост кончился... Надо тряхнуть головой и начинать опять все сначала,

— Мудришь чего-то.

— Нет, не мудрю. Я тоже так: на мосту забываю про все. А потом опять все сначала.

— Может, ты и права... А я как-то не замечал.

— Дай мне спички. Я тебе зажгу.

В темноте кабины огонек осветил скуластое напряженное лицо мужчины лет тридцати. Спичка метнулась туда-сюда, видимо опалив неумелые пальцы, и потухла где-то внизу, у самых колен девочки...

Машина ворвалась в район новостроек. Но здесь уже не было ни улиц, ни деревьев: сурово и твердо здесь выростала новая эпоха, организованная в магистрали, кварталы и пустыри. Человеческие убежища отодвинулись подальше вглубь и подслеповато мигали оттуда зашторенными окнами, за которыми, возможно, и уцелела еще своя — неторопливая и спрятанная ото всех жизнь. Но сама

магистраль была неумолима: подчиняя все своему ритму, магистраль заставляла машины реветь изо всех сил, а человека — судорожно убыстрять шаги, даже если в этом и не было никакой нужды. По-моему, прохожему на этих магистралях всегда хочется юркнуть поскорей в какую-нибудь дверь или подворотню и затаиться: авось пронесет мимо...

— Не люблю я это место, — заметила девочка, перевернув плечами, как от озноба. — Не люблю...

— Почему? Ехать хорошо.

— Не знаю... Будто ветер свистит отовсюду и некуда от него деться.

— Ничего, обживутся.

— Я ведь тоже понимаю, что здесь удобно, просторно, и все-таки мне назад хочется, и ничего не могу с собой поделать. У нас там теснота, но мне там лучше...

— Стукнешься об угол — и легче вроде, да?

— Нет, ты не смейся. Никогда бы не приезжала сюда.

Пусть их живут...

— Твой-то переулок как называется, все забываю?

— Звонарский.

— Да, ты говорила... Звонари, верно, жили когда-то...

Дом старинный?

— Старинный... Гулкий, и полы скрипят. Люди откуда-то выползут, пошепчутся, потом опять спрячутся... Зашел бы к нам как-нибудь, а?

— Спасибо, зайду.

— Отец, правда, не всегда трезвый... Вернее, всегда — нетрезвый. Но он ничего, он радуется, когда ко мне кто заходит.

— Он кто?

— Был художник. Но это давно было, тогда мама была жива. У него с глазами очень плохо... Теперь он веники продает.

— Это как?

— Поедет за город, наломает веников и продает. У бани.

— Вам хватает?

— Не очень, конечно. Но нам и не много надо. Вино он не пьет — дорого. Купит в аптеке каких-то пузырьков — глазные капли или другое что... Ну и выпьет...

— Понятно. Способ известный.

— И не ест почти что ничего. Говорит, не хочет. Наверное, и правда не хочет.

— У него, кроме тебя, есть кто?

— Никого. Да ему и не нужен никто... Придет, сядет в угол и смотрит на меня. Или дремлет... Он давно так: что-то там думает себе, только что — я не знаю. Я спрашивала — он не говорит. А может быть, и объяснить не умеет... Иногда начнет меня гладить по волосам. Я не выдерживаю — бегу из дому. Он не сердится... Никогда не сердится...

— Трудно с ним?

— Нет, не трудно. Мы оба с ним смирные... У нас чисто. Две картины его остались, он их не трогает... Хорошо у нас, ты увидишь...

— А тебе эти веники... как, ничего?

— Ну, почему же? Я, наоборот, рада за него... Поедет, посидит у речки...

Давно кончились новые кварталы, опять возникли, и опять остались позади мост и стадион, теперь уже успокоенный и опустевший. Последние его посетители еще тянулись по улице. На остановке в троллейбус погрузилась компания уже не молодых людей. С горечью, досадую и не прощая, они осуждали кого-то великого за сделанный им промах — уму не постижимый промах по воротам. Помнится, сначала мне все хотелось спросить их: да правда ли это — ваш гнев, ваша обида? Но потом я забыл про них и не заметил, как все они сошли.

Уже в старом городе пошел, наконец, дождь. Он долго собирался где-то там, в темноте, и хлынул сразу, мгновенно превратив тесные улицы в лужи. Машина пробивалась теперь сквозь стену воды. В окна тоже лилась вода, но свое окно я не закрывал, только отодвинулся немного... Мокрые прокопченные дома исходили горечью, из подворотен тянуло отсыревшим углем, но я радовался, что пока, слава богу, именно это и было — город: его, промокшего и знакомого до последней тумбы, все-таки можно было если не понять, то хотя бы вынести даже в такой неприкаянный вечер, как сегодня... Ну а то другое, сверхразумное, что уже растет на окраинах, — оно,

видимо, будет не скоро и, может быть, даже для многих из нас не будет никогда.

На перекрестке кто-то, еле различимый сквозь потоки дождя, поднял руку. Водитель открыл дверь. В машину вскочил мокрый до нитки парень с собачонкой под мышкой.

— Спасибо вам. Жалко пса, — сказал он, отряхиваясь еще на ступеньках. — Мы скоро сойдем, — тут же сообщил он, не очень-то, видимо, веря в свое везение.

— Ничего, обсыхай, — откликнулся водитель. — Нашел же ты время собачку гулять, профессор...

— Мы уже возвращались. Немного не успели, как он хлынул.

Парень посадил пса на колени и принялся вытирать платком его мохнатую морду. Пес вертел головой, отбивался от платка, скулил и зевал, раздирая до ушей розовую пасть. Потом он затих и улегся, блестя глазами из-под нависавшей на них шерсти. Улыбаясь, девочка наблюдала за ними.

— Ко мне однажды тоже щенок пришел, — сказала она, вновь повернувшись к водителю. — Знаешь... Заскребся, заскулил под дверь — я открыла. Он сразу под диван. Лежит и тявкает оттуда. Потом осмелел, носился по комнате: головой трясет, ушами хлопает. А лапы по полу в разные стороны — скользко, маленький еще...

— А потом?

— Его забрали — он от соседей сбежал. Они вскоре отдали его кому-то.

— Я тебе другого найду, хочешь?

— Спасибо, Леня. Не нужно. Это не для меня...

Они замолчали. Гроза уходила: дождь слабел, да и гром стал глуше, перейдя в далекое и безобидное ворчанье.

— Телевизор вчера смотрела? — спросил водитель.

— Нет, а что?

— Так... Фильм занятный был.

— Мы редко его смотрим... Раньше смотрели, когда мама была жива, а теперь совсем почти не смотрим.

— Почему?

— Даже не знаю... Само собой как-то. Отцу давно уже

это все неинтересно. Ну а мне... Мне тоже. Мне лучше тихо на диване сидеть...

— Что же еще-то делать вечерами? Со скуки сдохнешь.

— Мне не скучно... Я тебе говорила: мне немного нужно. Вот с тобой подружилась: ездим вместе. Иногда я во дворе сижу — у нас лавочки во дворе есть...

Видимо, она начала уставать: она все чаще переставляла костыли с места на место, повисая на них всем телом. При поворотах и рывках она цепко хваталась за дверные косяки, и тогда худые руки ее напрягались, как струны, удерживая равновесие.

— Может, сядешь? — спросил водитель.

— Не хочу...

Ливень вскоре кончился, но улицы оставались пустыми. Был двенадцатый час ночи: сквозь мокрую листву я успел заметить тусклый циферблат часов на бульваре. Троллейбус развернулся на Трубной площади и вновь пошел вдоль чугунных решеток бульвара, почти задевая за влажные ветки, нависавшие над оградой. Цвели липы — белые цветы плыли у самых окон, я мог бы, наверное, протянуть руку и достать их...

На углу, у поворота, троллейбус остановился перед особняком с облупленными колоннами: нижний этаж его был поднят высоко над тротуаром. В распахнутом окне стоял человек в белой рубашке с закатанными рукавами и смотрел прямо на нас. Сзади него сияла люстра, играла музыка, двигались головы, затянутые табачным дымом. А рядом, через колонну, в глубине другой комнаты мирно тлел красный ночничок, и сквозь кисею было видно, как согнутая женщина копошилась у кровати. Мы долго стояли, задержанные светофором: пока стояли, человек захлопнул окно, и тень его ушла с занавесок. Погас и ночничок в соседней комнате — в окне ее заблестела глухая, непроницаемая тьма.

— Леня, как ты думаешь, о чем они говорят?

— Кто?

— Эти люди в окнах...

— Да все о том же, как и все... О чем мы с тобой говорим? О том же и они.

— Нет, не так, наверное. Они о чем-то своем говорят, чего мы с тобой не знаем.

— У меня лично своих забот хватает.

— А я все время об этом думаю... Вот эта женщина, которая лампу погасила, — кто она? Как она жила раньше? Что с ней будет? И почему я ее не знаю, а она — меня?

— Мало ли кого ты не знаешь! Город велик, всех не узнаешь.

— У нас, напротив в доме, окно всегда ночью светится. Просыпаюсь, — оно все горит... Я иногда долго лежу, пытаюсь догадаться — кто этот человек? Как ему живется?

— Небось, трудяга какой до утра вкальвует, на жизнь добывает.

— Может быть. Но ни я о нем ничего не знаю, ни он обо мне. Мне, Леня, хочется про всех знать и чтобы про меня все знали... Чтобы все про всех знали...

— Не дай бог. И так уж, как голый, живешь — все наружу.

— Нет, ты меня не понял. Я в другом смысле. Не это... просто знать, что есть человек, помнить все время, что он есть... И обо всех умерших — тоже... Мне даже кажется, что иначе жизнь доброй никогда не будет...

— На такое ничьей головы не хватит.

— Думаешь, никогда так не будет? А может быть, будет? Не сейчас, конечно, — потом?

Водитель ничего не ответил. Девочка тоже замолчала, видимо понимая, что из этих дебрей ни ей, ни ему не выбраться; Мне показалась интересной ее идея: в ней что-то было, что-то верное, но что — я не мог тогда, да и, похоже, сейчас не смогу объяснить достаточно ясно.

Больше они почти не разговаривали. Уже перед самой ее остановкой нас догнала справа и какое-то время шла рядом машина, за рулем которой сидела молодая женщина. Стекло в машине было опущено: ветер трепал ее волосы, она улыбалась, кажется, даже напевала что-то. Она и нам улыбнулась и помахала рукой, показав на нас своему спутнику. Машина рванулась вперед и обошла нас, мигнув на прощанье красными огоньками.

-- Леня, видел?

— Видел.

— Понравилась?

— Как же... прижать бы эту куклу к тротуару, чтоб справа не лезла...

— Не ворчи. Ты иногда зря ворчишь. Что она тебе сделала? Мне бы тоже хотелось когда-нибудь вот так, ночью, ехать, ехать...

— Твоя остановка.

— Я сойду, Леня. Устала. До послезавтра?

— Ты точно придешь?

— Конечно. Куда же я денусь?

Она осторожно спустилась по ступенькам, взобралась на тротуар и остановилась, дожидаясь, пока троллейбус отъедет. Я не стал оборачиваться...

Это превратилось почти в привычку. Я выходил вечерами и стоял на остановке, терпеливо дожидаясь, пока подъедут девочка и ее угрюмоватый друг, потом занимал свое обычное место у окна, устраивался поглубже и ездил по городу до тех пор, пока для них не наступало время прощаться. Они довольно скоро заметили мое неизменное присутствие, и девочка иногда кивала мне головой при входе, но они никогда не заговаривали со мной, никогда ни о чем не спрашивали, и, пожалуй, так было даже лучше. Мне не хотелось ничем мешать им: они для меня все равно были, а был ли я для них — это не имело никакого значения.

Оглядываясь сейчас назад, я думаю, что я тогда просто лечился — лечился сам, неосознанно, как собака, которая, заболев, начинает рыскать по оврагам в поисках какой-то неведомой травки и, если повезет, находит ее.

Мне нелегко жилось в то время. Закончив крупную работу, потребовавшую нескольких лет и немалых усилий, я очень скоро понял, что она, в сущности, не нужна никому, что ничего бы не изменилось в моем деле, если бы ее и вообще не было: в результате ее появления на свет стрелка общего манометра лишь дрогнула вправо-влево на какую-то сотую долю одного деления и сейчас же застыла на своем прежнем месте. Но даже и дрожания ее, по правде говоря, никто не заметил... Этих лет, естественно, не вернуть, а от них в памяти, пожалуй, только и осталось, что работа — изматывающее сознание добровольно взваленного на себя

долга, нудные поиски якобы значащих что-то мелочей, краткие минуты озарения, которые, как тогда казалось, искупали собой все. И все это ради... чего, собственно, ради?

В то время меня преследовала одна мысль, вернее, одно видение: висит на стене картина — хорошая или плохая, неважно: висит какой-нибудь Александр Иванов, потративший всю жизнь на своего Христа, мимо идут и идут посетители, и их рассеянный взгляд лишь на секунду-другую задерживается на этом полотне, чтобы сейчас же скользнуть дальше, туда, где висят десятки таких же, тоже созданных из мук и крови полотен, но и на них он не задерживается, потому что людской поток неудержимо несет всех и каждого к выходу... Может быть, в его работе не так уж много таланта, но в ней вся его жизнь, которую никому не повторить, — хотя бы уж это одно должно было бы, кажется, задержать идущих мимо...

Вечерами же, в троллейбусе, это состояние отступало. Газетный киоск, человек, бредущий по улице, или дерево, или дом — все они были достойны внимания. Многим из них девочка кивала, как знакомым, другим удивлялась — оказывается, они всегда были где-то тут, поблизости, только она по какой-то причине не замечала их раньше, и эти маленькие открытия каждый раз восхищали ее... Мы трое весь вечер куда-то ехали, и наша машина — это тоже был мир, мир достаточный, а для меня тогда и наиболее приемлемый: за пределами его, как мне казалось, не было ничего столь существенного и важного, что могло бы оправдать новые судороги и новые поиски, к тому же заранее, вероятно, обреченные на неудачу. В конце концов, чем эта жизнь на скамье в троллейбусе была хуже, или проще, или менее значительна любой другой? И зачем, собственно, нужны свершения, достижения, поиски достойного якобы места среди себе подобных? Живешь — ну и живи дальше... Тоже, наверное, не программа — но кто смог додуматься до большего? Или хотя бы до более надежного?

— Леня, можно я тебя попрошу об одной вещи? — спросила как-то девочка, когда в машине, кроме нас, уже никого не было.

— Конечно. О чем?

— Останови на минутку. И выключи свет. Давай так просто постоим немного.

Водитель подогнал машину к тротуару. Свет в потолке погас. Нас поглотила тьма: стало так тихо, что я начал придерживать дыхание. Вдоль улицы тянулась редкая цепь фонарей, и далеко в конце ее, переменяясь, горел то красный, то зеленый глаз светофора. Мимо, фырча, промчалась машина — ее колеса, удаляясь, долго еще шестели по асфальту. Подул ветер, и вслед за ним закачался и заскрипел какой-то жестяной знак, висевший в проводах над нами. Шаркая ногами, по тротуару прошел человек и скрылся за углом в переулке.

Мы долго стояли так в темноте.

— Все? — спросил, наконец, водитель.

— Все...

В следующий раз она не пришла. Не пришла она и в другой раз, и в третий... Начиналась осень. Я никак не мог смириться с тем, что все это было, видимо, не случайно, и продолжал упорно выходить вечерами на остановку. Подходила машина — ее в ней не было, но я все равно садился и ездил почти до ночи, все еще надеясь, что она вот-вот появится. Наконец я решился хоть что-нибудь узнать о ней у водителя.

— А, это вы... — сказал он, когда я сунул голову в его дверь и пробормотал что-то, похожее на приветствие. — Хотите спросить, где Аня? А я и сам не знаю где.

— Она ничего не говорила вам перед тем, как исчезла?

— Ничего. Пропала — и все, не попрощалась даже. А могла бы, кажется. Надоело — скажи, я бы понял... Да что тебе рассказывать, сам все видел, — сказал он, переходя вдруг на «ты». — Сколько ты уже ездешь — почти все лето?

— Да, почти.

— Все лето... А она с весны... Не поверишь, я на работу другим ходить стал. Хрипят, лезут, лаются — а мне наплевать. Я-то знаю, что вечером она придет, станет тут в двери...

— Но, может быть, она заболела? Или так просто, как у детей бывает... ведь она почти ребенок... надоела игрушка — бросила, взяла другую... У них эта не со зла, не от дурного чего...

— Не знаю отчего... Бросить эта все к чертям собачьим, что ли? Да пересесть на грузовую? Может, так и сделаю... А что? Привез груз, получку получил и валяй: «Прости-прощай, подруга дорогая, кто знает, увижу ль я тебя...».

У меня такой возможности не была. К тому же, перевалив за тридцать, я стал бережлив, как старый скряга... Если оглянуться назад, на последние десяток лет, что же была со мной и что у меня было? Любил одну женщину, потом дружку, изнасил два пальто, однажды сменил оправу на очках и тоже однажды — работу... Была еще несколько событий, теперь уже туманных, на которые я тогда, когда они случились, по-моему, даже не обратил особого внимания... Вот, собственно, и все. Что еще отпущено мне? Судя по прошлому — так, ерунда... Мажет быть, поэтому я совершенно не мог и до сих пор не могу выносить такие слава, как никогда, навсегда, ни за что — в общем, все, что необратимо. Признать, что какая-то возможность упущена безвозвратно или что вот этот человек, который сейчас только закрыл за собой дверь, ушел навсегда, — выше моих сил. Сколько бы я ни убеждал себя, что все так и есть на самом деле, я никогда да конца не верил в это, и никакой опыт, никакие размышления ничего здесь сделать не могли.

Найти ее дом и квартиру оказалось довольно несложно — все-таки она была человек приметный в своем квартале. Мне открыла пожилая женщина в халате. Лампочка в потолке освещала начало длинного обшарпанного коридора, сплошь заставленного какими-то нелепыми шкафами. Женщина удивленно вскинула на меня глаза, когда я спросил, здесь ли живет Аня, и молча показала пальцем на одну из дверей, еле видимых в коридорной мгле. Я постучал. Никто не ответил.

— Входите так. Он никогда не откликается, — сказала она.

Поколебавшись, я вошел.

В комнате горел свет. На стуле у окна сидел человек, обмякнув всем телом и почти до полу свесив руки. Измятая его рубашка, распахнутая на груди, была, по-моему, без пуговиц. Он не двинулся, когда я вошел, не спросил ничего — он только посмотрел на меня мутными глазами

и опять прикрыл веки. Вероятно, он давно сидел так — может быть, часы, а может быть, и дни.

Я оглянулся вокруг себя: пустые стены, остатки мебели, куски картона, сваленные в углу. На комодѣ стояла одна-единственная вещь — фотография Ани в черной рамке... Не зная, что теперь делать, что говорить, я растерянно переминался с ноги на ногу.

— Я еще могу это сделать... я даже хотел это сделать, — пробормотал вдруг старик, обращаясь не то к себе, не то ко мне. — Хотел написать ее... Когда-то я умел это делать... Написать и кому-нибудь подарить... Может быть, даже вам...

Надо было что-то сказать ему, но, подавленный только что случившимся открытием, я не мог найти нужные слова: я только сделал неопределенное движение рукой, которое он истолковал, видимо, по-своему.

— Нет, нет, — встрепенулся старик. — Не спорьте. Я много думал об этом. Я не должен ее писать... Для кого писать? Для себя? Мне не надо ничего писать, чтобы она была здесь. Надо только закрыть глаза. Да даже и этого не надо... А для вас... Вам это тоже не нужно...

— Я... я был привязан к ней, — сказал я запинаясь.

— Это пройдет... Не надо ее писать. Так будет лучше... Сам я сошел, чтобы никому не мешать. И она... Она тоже мешала...

— Она не мешала. Наоборот...

— Это только кажется... Теперь ее нет, и другим будет легче жить... Не дорос еще человек, чтобы вместить в себя всех вокруг. Дай бог ему с собой-то хоть как-нибудь разобратъся... Вы про своих, кто поближе к вам, не забудьте... а ее Богу оставьте. И мне... Если вас не затруднит, возьмите там в шкафу... налейте нам обоим...

Я открыл дверцу шкафа, вытащил бутылку, налил ему и себе... Что я мог сказать ему? Если бы я знал. Если бы кто другой знал это...

Впрочем... Если бы кто-нибудь знал... Вероятнее всего, он тогда построил бы еще одну конструкцию жизни. Может быть, даже более стройную и изящную, чем все предыдущие.

Трамвай из предместья

Моросил мелкий осенний дождь. Свет фонарей освещал пустую трамвайную площадь, узкую полосу асфальта у самых рельсов и рядом с ней приземистую будку, — трамвай здесь делал круг. Площадь заросла бурьяном, изломанные стебли полыни дрожали, стелились на ветру, припадая к земле. Вокруг лежали пустыри, тянулись какие-то заборы, стояли низенькие, обветшалые строения, судя по их виду, давно уже, наверное, не нужные никому.

Издаലെка, из темноты, приглушенные расстоянием, доносились сипенье и мерные вздохи исполинской машины. Где-то там без усталости ворочал свои неподъемные тяжести огромный завод, самый крупный в городе К.

Трамвая давно не было. Кончался рабочий день, народу на остановке скопилось много, и он все прибывал, подтягивался, пробираясь по скользким тропинкам, вытоптаным сквозь бурьян. Нахлобучив кепки и подняв воротники, люди стояли, напряженно вглядываясь в темноту. Было холодно, порывистый ветер с пустырей дергал полы пальто, поддувал снизу, заставляя искать убежища за спинами других. Иногда сосредоточенное молчание толпы прерывал чей-то кашель. Пространство между трамвайными рельсами было сплошь усыпано окурками, обрывками газет, остатками еды...

Этот мрачный город тяготил меня. Нескладный, неприбранный, растянувшийся на десятки километров, пыльный летом и насквозь продуваемый свирепыми ветрами зимой, утыканный редкими блочными зданиями, одиноко торчащими среди деревянных домишек, изрезанный глубокими оврагами, развороченный и перекопанный вдоль и поперек... Казалось, чьи-то суетливые руки вечно хватались здесь за что ни попало, бросали

одно, начинали другое и вновь бросали, не закончив ничего. Лица людей были по большей части угрюмы, походка их и одежда корявы, спины согнуты, руки заняты поклажей, взгляд или недобр, или безучастен ко всему...

Я уже не впервые приезжал сюда: как эксперта по ряду технологических процессов меня время от времени вызывали из центра на этот самый завод, что сейчас так тяжело вздыхал за моей спиной. Следует сказать, что в своем узком профессиональном кругу я достаточно хорошо известен, на моем счету числится несколько серьезных изобретений, и, когда в последние годы в моей области затевают что-то новое, обычно консультируются со мной. Человек я знающий, неплохой, незлой, но самолюбив и раздражителен иногда не в меру: что поделаешь, мне уже под пятьдесят... К сожалению, раздражаюсь я всегда по мелочам, по какой-то совершенной уж чепухе, на которую пожившему, знающему себе цену человеку и внимания-то обращать не годится.

Как раз сегодня у меня были все основания злиться на себя. Что, собственно, произошло? Что случилось такого, чего бы я не знал раньше? В моем-то возрасте пора бы уж, кажется, привыкнуть ко всему... Нет, расстроился, как мальчишка, руки вон даже дрожат от обиды, сажу под дождем одну сигарету за другой...

В этот приезд меня, в числе прочих дел, попросили выступить на заводе с докладом о технических перспективах нашей отрасли. Народу в конференц-зал набилось много... Набилось? Нет, не набилось. В том-то и дело, что не набилось: нагнали много — чего ж там обманывать себя. Еще проходя по длинному коридору заводоуправления, я заметил, как какие-то хваткие, расторопные личности выгоняли людей из курилок, вылавливали их из всех углов, хлопали дерматиновыми дверями, вытаскивая из отделов смеющихся, упирающихся сотрудников. Проскальзывая мимо меня в зал, люди смущенно отводили глаза: им было неловко передо мной, но и смириться так сразу с тем, что их заставляют тратить время черт знает на что, они тоже не могли. Надо думать, это был цвет завода — технические отделы, начальники цехов, мастера.

Говорю я хорошо, складно, — я знаю это по долговому опыту, и нет никакой нужды без всяких на то причин приносить себя. Но какие бы горизонты я им ни открывал, до каких бы высот технической мысли я ни поднимался, во всех глазах перед собой я видел одно — скуку, раздражение, какую-то даже неприязнь лично ко мне. В середине доклада в коридоре, за дверями, прозвенел звонок: дескать, все, шабаш, и сейчас же повсюду в рядах поднялись, задвигались фигуры — один, второй, шестнадцатый... — зал загудел, заерзал, пропуская их сквозь себя, над головами поплыли портфели, сумки, зонты... Должен признаться, мне стоило больших усилий не бросить все на полуслове и не уйти так же, как они: прямо по проходу, по ковру, к дверям... А что? Рывкнуть бы с трибуны: «Да пошли вы все к такой-то матери! Мне-то что, больше всех надо?!» Рывкнуть и уйти — пусть их потом разбираются там, как хотят. Так нет же, приличия, выдержка, черт бы их побрал...

Кое-как я все-таки закончил доклад и даже ответил в конце на два-три пустяшных вопроса, заданных просто так, чтобы только что-нибудь сказать. В горле пересохло, сойдя с трибуны, я попытался налить себе стакан воды из графина, стоявшего на зеленом сукне стола: графин, конечно, был пуст, даже на это их не хватило. Председательствующий — спесивый, обрюзгший человек, просидевший весь доклад как истукан, не шевельнув даже бровью, пробормотал нечто благодарственное, вяло пожал мне руку и сейчас же, отвернувшись, забыл про меня, отвлеченный своей секретаршей, сунувшей ему из-за плеча на подпись какую-то бумагу. Никто меня не проводил, не спросил, как я доберусь до гостиницы... «Не мечите бисер...» — злобно повторял я, шагая под дождем от проходной. Чувствовал я себя скверно. Кроме того, я знал, что сегодня вечером ко мне в гостиницу придет одна особа: мы знакомы с ней уже около трех лет, она живет здесь, живет одна, она милая, добрая и совершенно неинтересная женщина, она очень ждет каждого моего приезда, и это тоже уже давно тяготит меня. Конечно, можно спать с женщиной и из жалости, но, боже мой, если б кто только знал, как же это нелегко...

Трамвая все не было. Дождь усиливался, спрятаться от него было негде, и толпа, принимавшая уже угрожающие размеры, начинала терять терпение. Люди ворчали, переминались с ноги на ногу, еще глубже втягивая головы в воротники... Мне показалось, что я узнал в толпе несколько лиц, знакомых мне по заводу. Но уверенности в этом не было: почувствовав мой взгляд, они отворачивались, а по затылкам я уже и вовсе не мог установить, они это или не они.

«...Идет, идет», — заволновалась наконец толпа. Далеко впереди, из-за невидимого во тьме поворота, вывернула маленькая коробочка света и покатила к нам. Трамвай быстро приближался, дуга его искрила, белые искры бежали вслед за ней по проводам, сыпались вниз и гасли, не долетая до земли... Толпа сгрудилась, напряглась: кто-то учащенно задыхал мне в затылок, чужой портфель больно вдавился в спину, чьи-то крепкие локти плотно стиснули меня с боков.

Трамвай лихо прокатил по кругу и встал, зашипев раздвигаемыми дверьми. Водитель пошел отмечаться в будку.

И сейчас же началось нечто невообразимое: крик, хрип, стоны, отдавленные ноги, выпученные глаза, задыхающиеся рты — люди лезли все сразу, распихивая и давя друг друга. Инвалид — не инвалид, старость — не старость, беременная — не беременная, какое там! Все было забыто в эту минуту. Локтями вперед, в грудь, в спину, в бога, в мать — вот она, дверь, вот она, подножка, только бы устоять, не упасть, не дать себя оттеснить другим! Подножка встала слишком высоко от земли, приходилось тянуться, чтобы ухватиться за поручни, какая-то женщина с тяжелой сумкой застряла в дверях, не в силах одолеть эту высоту, образовалась пробка, народ поднатужился, нажал — напором плеч женщину наконец внесло в вагон, но на последней ступеньке она все-таки споткнулась, зашаталась, замешкалась опять — ее, как щепку, тут же отшвырнуло в сторону. Обгоняя, отталкивая друг друга, люди опрометью бросались дальше по вагону, к свободным местам. Тяжелый трамвай дрожал под топотом множества ног, под телами, плюхавшимися с размаху

на сиденья... «Господи, зверье, зверье...» — шептал я, неизвестно как внесенный в этот вагон, раздавленный, расплющенный, притиснутый к заднему стеклу.

Через минуту все было кончено. Зашипели закрываемые двери, уминая последних, застрявших на ступеньках... Медленно, скрипя и скрежеща на поворотах, трамвай вывернул напрямую и покатил по пустырю. На остановке, под фонарем, остался стоять какой-то старик: он сонно посмотрел нам вслед и отвернулся. Вскоре огни на кругу растаяли в дожде, трамвай со всех сторон поглотила мгла.

Холодный вагон быстро наполнился дыханием сдавленных тел, испарениями промокшей одежды, окна его запотели изнутри, — зато стало тепло. Люди стояли, вжатые друг в друга: ни шевельнуть рукой, ни повернуться, ни сдвинуться с места хоть на сантиметр было нельзя. Все молчали. Лица вокруг меня были еще мокры от дождя, скулы напряжены, рты полуоткрыты, руки вытянуты по швам... Никто не держался за поручни — в такой тесноте они были не нужны: когда вагон кренило на поворотах, все вместе падали в одну сторону, наваливаясь на сидящих, когда он ускорял ход всех откидывало назад, и тогда тяжелый груз опрокидывающихся спин всей тяжестью давил на тех, кто стоял у задней стенки.

Поначалу я был уверен, что долго мне не выдержать — не смогу: забьюсь, закричу, потребую остановиться — плевать, пусть думают обо мне что хотят, только бы вырваться отсюда... Но странное дело: прошло совсем немного времени, и оказалось, что и так можно жить, ни с кем ничего не случилось, все как-то обмялись, утряслись, пристроились кто как мог. Только тишина стояла какая-то гнетущая, настороженная тишина, как будто никто пока еще не верил, что локти уже больше не понадобятся и худшее — позади... Но и молчание тоже длилось недолго: кому-то понадобилось что-то спросить, кто-то ответил, получилась какая-то путаница с билетами — в ней тоже надо было разобраться, женщина выронила зонт, и ее соседям пришлось перестраиваться, чтобы все-таки дать ей возможность его найти...

Все предместье трамвай шел без остановок. В запотевшее стекло было видно, как убегали назад редкие фонари, расставленные вдоль шоссе, как удалялись, уменьшались красные огоньки машин, проносившихся нам навстречу... Понемногу я начал приходить в себя: стало легче дышать, грудь уже не так давило, а чужие плечи и спины, все еще плотно, но уже не зло, не жестко сжимавшие меня со всех сторон, теперь, наоборот, даже создавали ощущение какого-то неизвестного мне прежде уюта и покоя. Хотелось так, на чужих плечах, и задремать, а там — будь что будет... Кто-то сопел у меня за спиной, теплое, ровное дыхание щекотало мне шею, сквозь гул и стук колес я различал голоса, обрывки фраз, даже смех где-то там впереди, в дальнем конце...

«Что ж ты так, в самом-то деле, а? Чего это ты вдруг разволновался? Подумаешь, катастрофа... — вяло, дремотно всплывал в голове прожитый день, уже успевший стать прошлым. — Ну, скучно было людям, устали к вечеру, дома дела ждут, в магазин надо еще успеть, ехать всем далеко, дождь, слякоть, трамвай редко ходит... А тут ты со своими проблемами... Да наплевать им на твои проблемы! Не им их решать... Их же тоже надо понять... Да и не злые, не зверье они вовсе — вон чуть полегче стало, и ничего, мирные люди, даже улыбается кое-кто, разговаривают, билеты друг другу передают... Ну а председатель... Что ж председатель... Хам он и есть хам... Было так, есть и будет во веки веков... Плюнь, нашел из-за чего расстраиваться... Придешь сейчас, разденешься, номер теплый, сунешь ноги в тапочки, нальешь себе стаканчик, трубочку набьешь — хорошо! Целый вечер можно будет сидеть, читать, ни о чем не думать — часто они у тебя бывают, такие вечера?. Как же, целый вечер... Разбежался! Читать, трубочку набить... А сегодняшняя договоренность — забыл? Забыл... Да... Не тут-то было... Вечер в тапочках отменяется... Ну и что из этого? Что тебе, противен человек? Нет, не противен. Лучше бы был противен — тогда бы и не было ничего... Жалок... Так жалок, что иногда заплакать хочется, глядя на нее... И ведь хороший, добрый человек, и внешность вроде бы привлекательная,

и молодая еще... А вот лежит на ней печать неудачи, несчастья — и ничего поделаться с этим нельзя, ничем эту печать не сотрешь... Не я один, и другие тоже это знают... И хуже всего то, что она и сама это знает... Как она ждет этих моих командировок... Радует, оживает, глаза блестят... Голову даю на отсечение — нет у нее больше никого, я один... Как так получилось? Кто, откуда взвалил на меня эту ответственность? Как будто теперь я... я и никто другой... должен отвечать за ее судьбу... Перед Богом и перед людьми... Да при чем тут Бог, люди? Перед собой отвечать. Неизвестно еще, что хуже... Конечно, всех не спасешь. Но одного... Одного-то можно спасти... А, брось ты все на свете усложнять! Что за привычка дурацкая?! Спаси... Никак не меньше, как спаси... Ты хоть вечер хороший устрой — ей и этого хватит. На полгода хватит... А то и больше... Что, разве ты не можешь? Можешь. Ну, так о чем тогда разговор?.. О чем? О том, что доброту эту, взгляд этот трудно выдержать — вот о чем... Не ранить, не дать ей заподозрить... Вот о чем... Вот в чем все дело...»

Трамвай наконец достиг какого-то перекрестка, зазвонил, затормозил, сбавляя ход: перед окном поплыли витрины, троллейбусы, люди, столпившиеся у перехода... Вагон остановился. Зашипели открываемые двери, подножка закачалась — те, кому нужно было здесь выходить, один за другим проталкивались сквозь сомкнутые спины и выскакивали на улицу, вобрав голову в плечи, надвинув на глаза кепки, сразу съжившись под косым, особенно холодным после тепла дождем.

В вагоне скоро стало почти свободно, можно было даже сесть, но я как стоял на задней площадке, так и остался стоять, положив локти на поручни и прижавшись лбом к мокрому стеклу. «Мечемся все чего-то, толкаемся, суетимся...» — думал я, рассеянно провожая глазами длинную череду домов, брусчатую мостовую, лужи в выбоинах трамвайной колеи... Трамвай теперь шел по центральной, ярко освещенной улице: вокзал, банк, телеграф, большой гастроном, сквер перед обкомом — я уже узнавал эти места, до гостиницы оставалось совсем немного, остановки две или три. Сейчас будет люминес-

центная башня какого-то проектного института, потом белый двухэтажный особнячок городской библиотеки — кажется, бывший купеческий клуб, а за ним серая громадина и вдоль нее зеленая неоновая вывеска с обломанными буквами — здесь мне и выходить... Но не хочу, не хочу я выходить! Не хочу в номер, не хочу в тапочки, не хочу никого видеть...

Щелкнул репродуктор, и придушенный ненатуральный голос прохрипел: «Гостиница «Московская»... Нет, надо выходить... И все-таки предстоящая вечером встреча уже больше не пугала меня. Надо думать, и на этот раз... И на этот раз обойдется как-нибудь.

Последний этаж

Один мой относительно юный друг — ему сорок, мне семьдесят три — утверждает, что в истории человечества только трое решились публично вывернуть себя наизнанку до конца: блаженный Августин, Руссо и Толстой. Трое или не трое — не знаю, в этом я не специалист, спорить, во всяком случае, не берусь. Следует, однако, сказать, что друг мой — профессиональный философ, человек очень думающий, и, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, обычно он знает, о чем говорит.

Года два назад с его легкой руки я прочел все эти знаменитые исповеди. Признаюсь, тягостное было чтение: ничего или почти ничего, кроме разочарования и раздражения, мне оно не принесло. Времени мне осталось немного, если оно вообще осталось, и теперь, на пороге перехода, так сказать, в иную систему координат, мне думается, я могу, не поддаваясь гипнозу столь громких имен и не опасаясь вместе с тем обвинений в какой-то скрытой личной предвзятости, позволить себе высказать некоторые вещи, которые в устах более молодого человека, чем я, могли бы, допускаю, показаться по меньшей мере экстравагантностью, а то и того хуже — прямым святотатством.

Во-первых, никогда еще в своей жизни мне не пришлось сталкиваться с такой несокрушимой уверенностью, с таким непомерным, я бы даже сказал — неумным вниманием человека к самому себе и ко всякой ерунде, которая когда-то, где-то и, бог его знает, по какому стечению обстоятельств могла приключиться с ним. Как будто каждый их вздох, каждая завитушка мысли или ничтожное житейское происшествие есть действительно достойные истории и должно войти в общий багаж, мало того —

в золотой фонд всего человечества. Если бы еще это было написано для себя и только для себя — я бы понял, наверное. Но нет же! Все, каждое слово с самого начала предназначалось на всеобщий суд... Далее: не верю, не могу я поверить в это якобы смирение, именно якобы, потому что под ним — это видно, что называется, невооруженным глазом — гордыня, гордыня тотальная и по сути своей, и по замаху, упорное стремление заставить всех, обязательно всех, не меньше, жить по своей методе, выдуманной в кабинетной тиши, свирепая нетерпимость к живому, спотыкающемуся, страдающему человеку, которого бог в своем милосердии бросил, как щенка, на произвол судьбы: мол, барахтайся там, как знаешь, может, выплывешь, а может, нет... Взять бы этого Августина за бороденку: а грудные-то младенцы в чем у тебя виноваты, отче? Их-то ты за что проклял? Или так, для стройности концепции, чтобы уж никого не обойти?.. И, наконец, — ложь, постоянная ложь самому себе, лицемерное признание своих мнимых грехов и удручающее, ничем не прошибаемое бессердечие в отношении грехов действительных, да не грехов даже — преступлений! Подумаешь, яблоко украд... И вот разводит, разводит вокруг этого сопли... А что двух женщин сгубил, любовницу и невесту, жизнь им искалечил — ну, что ж, жалко, конечно, очень даже жалко, виноват, каюсь, но прошу, однако, учесть: ради господа моего и спасения в вечной жизни, ради души моей нетленной — ни за чем другим... Эх, святой отец, святой отец... Ничего, господь милостив, не ты первый — не ты последний: надо думать, из уважения к твоей искренности заодно вместе с яблоком он и их тебе когда-нибудь простит... Особенно возмутила меня в этом смысле исповедь Руссо: загнал пятых своих детей в воспитательный дом, так что ни имени, ни следа от них не осталось, а туда же — высокий строй души, благородство мыслей, любовь к добродетели, кротость, чувствительность, никому от него никаких обид. И ведь действительно уверен, сукин сын, что он «лучший из людей» и имеет право учить других!.. Да и Толстой тоже хорош. Воистину, как в Писании: поступайте, люди, по словам проповедника, не по делам его...

Но я отвлекся. К тому же я явно опять начинаю злиться, раздражаться, а при тех задачах, которые я здесь перед собой ставлю, мне это не нужно и, если хотите, даже не к лицу: в какой-то мере тот случай, о котором я собираюсь сейчас рассказать, для меня своеобразное подведение итогов, и мне хотелось бы до конца сохранить спокойную, уравновешенную интонацию человека, закрывающего последнюю страницу своей жизни и полностью отдающего себе отчет в том, что он делает именно это, а не ввязывается опять, пусть в иной форме и под иным предлогом, в суетную, утомительную житейскую борьбу, не ведущую, как известно — особенно людям моего возраста, — ни к чему. Перечтя, я было хотел даже зачеркнуть первые страницы, но потом решил, что, если зачеркну, — это тоже будет ложь, и прежде всего ложь самому себе, то есть то, чего я самым решительным образом хотел бы избежать именно здесь, поскольку и по замыслу своему, и по цели эта работа имеет смысл лишь в том случае, если мне удастся обойтись в ней без вранья как себе, так и другим... Все, больше никакой полемики, я должен успокоиться... Тем более, что это не так и трудно: валидол теперь всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе как раз в той самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка, — года три уже, как пришлось упрятать ее в нижний ящик стола, подальше от соблазна... Ну вот, звон в ушах утих, сердце опять стучит ровно — теперь постараюсь по возможности без эмоций объяснить, к чему я затеял весь этот разговор.

Мне за семьдесят, и, естественно, я о многом думал, пока жил. Я почти ровесник века, ни одно из его значительных событий не миновало меня, не обошло стороной, и на что на что, но на скуку или недостаток впечатлений, начиная с первых моих сознательных лет, я пожаловаться не могу. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Не знаю, как насчет блаженства (помоему, в блаженном состоянии я находился всего каких-нибудь полгода или год в своей жизни, в сорок седьмом, когда, как в угаре, писал и переписывал единственную свою книгу, а потом заново переживал написанное и все

никак не мог понять, как же мне, именно мне, не кому другому, это удалось), но материала для размышлений мне судьба подвалила столько, что даже и сейчас, когда никакие страсти уже не волнуют меня, и ничто не мешает думать, и склероза, слава богу, пока нет и, надеюсь, уже не будет, я не могу из этой груды впечатлений выстроить ничего прочного, не могу соорудить никакой логической конструкции, определить, хотя бы для самого себя, что было причиной, что следствием, что было во-первых, а что было во-вторых. Единственное, в чем я отдаю себе полный отчет, что я действительно знаю, — это свои симпатии и антипатии, а почему они возникли, как складывались, да и справедливы ли они в конце концов, убедить, сказать не могу.

Плохо, но я помню первую мировую войну, тоже плохо, но все-таки более отчетливо помню войну гражданскую, тиф, голод, разруху, в двадцатые годы я уже вел активную, деятельную жизнь, окончил Московский межевой институт, работал маркшейдером на шахте в Донбассе, потом каким-то боком был втянут в «процесс промпартии», но отделался, по молодости, пустяками — хотя этих пустяков, естественно, мне хватило на всю жизнь, — и вскоре вышел живым и здоровым на свободу, в тридцатые годы работал геодезистом в полевых партиях, исходил, исколесил всю Россию из конца в конец, сороковые провел на Дальнем Востоке, в военно-топографическом отряде, был даже дважды награжден, в пятидесятые перебрался в Москву, преподавал геодезию в Геологоразведочном институте, потом перешел в НИИ, защитил за чем-то под старость диссертацию... Вот уже четвертый год я на пенсии, сплю, читаю, гуляю по Тверскому бульвару, беседую с такими же старичками, как и я, беседую преимущественно о былом, но иногда и о злобе дня — ей, как известно, нет конца и не предвидится, пока человек жив... Все мило, скромно, тихо, достойно — чего ж еще и желать на старости лет?

Мне хотелось бы быть правильно понятым с самого начала: я действительно давно уже не думаю ни о боге, ни о своем, так сказать, месте во вселенной. Я глубоко

убежден — даже неловко как-то об этом говорить, заранее прошу у читателя извинения за подобные банальности, — что никому еще и никогда не удавалось додуматься в этих вечных вопросах до большего, чем простая констатация унылого, согласен, неприятного и тем не менее абсолютно бесспорного факта: каждый из нас — лишь песчинка в пустыне бытия, и пришел ли ты в мир или вовсе не был в нем, не имеет ровным счетом никакого значения ни для кого, кроме разве что тебя самого да еще немногих твоих близких, кого судьба так или иначе связала с тобой в один узел. В молодости, помню, все во мне топорщилось, протестовало против этой горькой истины, но со временем я смирился, вернее, вынужден был смириться с ней: после того, как на моих глазах десятки миллионов людей, не повинных ни в чем, кроме того, что они вообще имели несчастье появиться на свет, сгорели в огне войны или погибли в концентрационных лагерях — как мог бы я по-другому смотреть на мир, как мог я продолжать искать какие-то резоны, какие-то высшие оправдания своему собственному существованию и существованию других? Повезло, остался жив по какой-то непонятной случайности — ну, и слава тебе, господи, дыши, радуйся, пока не пришел и твой черед...

Постепенно, не сразу, уже под старость, я включил в круг этих размышлений и так называемых великих людей, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что и в этом я тоже прав. Был ли человек по имени Лютер или не было человека по имени Лютер — какая кому, в сущности, разница? Его имя — просто удобный символ для обозначения очередного всплеска безбрежной человеческой стихии, и в этом смысле оно ничем не отличается от таких обыденных и безликих понятий, как дождь, ветер, слякоть, дым. Для него самого все было так же, как и для других, «прах ты и во прах возвратишься», а для людей что же, для людей, может, и действительно был человек по имени Лютер, а может, его и вовсе не было, черт его знает, как оно там на самом-то деле было четыреста с лишним лет назад, да и недосуг, по правде говоря, этим всем заниматься, у каждого своих забот по горло, а тут

еще какой-то Лютер — да пошел он! И без него, что называется, голова кругом идет... Конечно, по-человечески я восхищаюсь величием замысла Николая Федорова — всех когда-нибудь воскресить всеобщими усилиями морали и науки — но, если вдуматься, если на минуту допустить, что это когда-нибудь будет возможно, ну и что из этого всего может получиться в конце концов? На практике, в реальной жизни? А ничего. Ничего не получится. Опять будет толпа, толпа безликая, только много большая, чем сейчас, и человек как был незаметен в этом море голов, так и останется, и никаких его проблем это тотальное воскрешение не решит... Мое глубокое, выстраданное жизнью убеждение: нет выхода из этого тупика, было так от века и так и пребудет во веки веков, только вот жаль, что чужой опыт никогда никого и ничему не учит, каждый заново сам, ощупью, а то и обдирая в кровь бока, пробирается сквозь эти дебри, тратит лучшие свои годы на поиски ответа, которого вообще не существует, не может существовать, и в конце концов, естественно, — как это было до него и будет после него, — не находит ничего.

Равным образом мне глубоко претят всякие попытки учить людей, разрабатывать для них спасительные рецепты жизни — каждый раз заново и каждый раз обязательно в расчете на поголовный, всеобщий охват — создавать умственные конструкции, в которые реальную жизнь надо впихивать ногами, силой, потому что никак иначе ее туда не впихнешь, не лезет она ни во что, ни в какие конструкции: слава Богу, наш век, чуть было не захлебнувшийся в крови, кажется, уже начинает это понемногу понимать. Сколько их было, великих моралистов прошлого? И где они? И что стало с их наследием? Согласен, все это провозглашалось и делалось, как правило, с лучшими намерениями, в порыве искренней, жаркой, всепоглощающей любви к людям, но... Но за каждым святым с удручающим постоянством неизменно следовал свой Великий Инквизитор, и опять все начиналось заново, пока не появлялся очередной святой, и с ним очередная — и тоже обреченная на провал — надежда... Будда, Христос, Толстой, Ницше, Ганди — как го-

ворится, несть им числа... Конечно, по крохам можно отыскать много полезного, доброго у каждого из них, но не дай бог вновь сложить все эти крохи в нечто целое: опять получится черт знает что, опять будет кровь, насилие, вражда, и больше ничего... Иногда я думаю: если бы люди удовлетворялись десятью заповедями, — я не в смысле их божественного происхождения, а в смысле их удобства для жизни, сам я неверующий или, точнее сказать, почти неверующий, в дедушку с бородой я, естественно, верить не могу, но и отрицать всякую возможность существования каких-то высших сил тоже не решусь, нет у меня никаких доказательств ни за, ни против этой возможности, — право, этого было бы более чем достаточно для разумного устройства всех их дел на земле. Но, как известно, самое простое решение — это как раз то, которое приходит в последнюю очередь, если оно приходит вообще.

Однако один вывод, чуть-чуть все же смахивающий на рецепт, я, пожалуй, позволю себе сделать: человек — сам себе вселенная, сам себе бог, сам себе судья и палач в одно и то же время. Не оригинально? Конечно, не оригинально, я и не претендую на это, я достаточно образован, чтобы знать, что у меня были предшественники, и многие из них, сознаю, по калибру не мне чета. Но сама мысль от этого не делается ни менее актуальной, ни менее значительной, ни — что самое печальное — менее труднодостижимой. В своей крайней, доведенной до абсурда форме она звучит так, как ее когда-то сформулировали стоики: «Человек может быть счастлив и на дыбе» — мир не властен над человеком, пока он сам себе отдает в этом отчет. Бесспорно, как принцип, как руководство к жизни эта мысль рассчитана на людей каких-то совсем уж титанических масштабов, людей уникальных по величию и силе духа, были ли действительно такие в истории — сомневаюсь, думаю, что вряд ли. Для человека с улицы она неподъемна, и в этом смысле ей место скорее в кунсткамере, чем в повседневном житейском обиходе. Но кое-что в этой системе рассуждений могло бы, уверен, быть полезно и обычному, рядовому человеку со всеми

его страстями и слабостями, могло бы уберечь его от ненужных страданий и несчастий, на которые он по большей части напрашивается сам, без всякого толчка извне, сохранить ему силы если не для счастья, то хотя бы для душевного равновесия, некоей удовлетворенности собой, а значит, и окружающим миром, — наверное, это и есть единственно возможное, единственно достижимое счастье, по крайней мере здесь, на земле... Всеобщая борьба? Нет, хватит и борьбы с самим собой, да еще не забудь о тех немногих, кто так или иначе зависит от тебя — вот, наверное, все или почти все, с чем я пришел к концу своей жизни, Убогая программа, не так ли? Нет, не убогая — самая тяжелая из всех возможных программ, и не случайно лживый, изворотливый человеческий ум вместо нее все время подсовывает какие-то суперидеи и планы, потому что всеобщая идея — это как раз то, что требует усилий и страданий не от меня лично, а от других, а меня лично, даст бог, — ясно же, что я умнее и хитрее других! — эта идея когда-нибудь, может быть, даже и вознесет: ведь, естественно, я буду руководить, а выполнять — нет, это уж, пожалуйста, вы бросьте, выполнять, конечно, буду не я, на это есть другие, я-то один, а их, как известно, легион... Кроме того, эта программа требует, пользуясь терминологией Марка Аврелия, абсолютной честности «наедине с собой», а что может быть труднее для человека, чем не врать самому себе?

...Начало всей этой истории надо отнести к той зиме с сорок седьмого на сорок восьмой, когда я только что закончил свою книгу, — о ней, если помните, я уже упоминал. Дело было в одном городке неподалеку от Хабаровска, мы сидели на камеральных работах, обрабатывали материал, полученный во время летних экспедиций: если память мне не изменяет, готовили мелкомасштабную карту какого-то глухого, гористого района, очень важного, однако, в оборонном отношении. Поначалу, помню, запарывали один лист за другим, приходилось по нескольку раз переделывать, и не из-за спешки, а большей частью по неумению: горизонтали на листах сплошь и рядом ложились столь густо, а расстояние между ними было столь

мало, что у некоторых наших чертежниц — это были, как правило, молоденькие девочки, вольнонаемные, приехавшие сюда за длинным рублем или в расчете выйти наконец замуж, — очень быстро начинали болеть глаза и кривоножка от напряжения сама собой вываливалась из рук.

Но вообще-то работали не торопясь, с ленцой: горюнок был по крыши завален снегом, вставали поздно, ложились рано, развлечений почти не было никаких, время тянулось медленно, как во сне. Картчасть, начальником которой я тогда был, располагалась в уютном, добротном срубленном бараке, у меня был свой крохотный кабинет, одну стену которого занимала печка с заслонкой, я подтапливал ее сам и сам же кипятил себе чайник, стоявший обычно на подоконнике, в маленькой лужице от наледи, медленно, капля за каплей оттаивавшей от тепла, — хватало на целый день, а за ночь она нарастала вновь. Окно мое всегда было плотно затянуто толстым слоем инея, и мне приходилось по нескольку раз в день дышать в одно и то же место, а потом долго скрести иней ногтем, чтобы сделать дырочку в стекле и иметь возможность хоть так, изредка, взглянуть на белый свет. Подчиненные не очень докучали мне, я вволю дымил в одиночестве трубкой — у меня тогда было около десятка хороших трубок, первую из них я еще, помню, выменял на что-то в тюрьме, она и сейчас лежит у меня в столе — и писал, писал до самозабвения, сохраняя полную убежденность в том, что, во-первых, я ни у кого ничего не ворую и никакого служебного времени не трачу зря, что, наоборот, жизнь мне гораздо больше должна, чем я ей, и, во-вторых, что моим сослуживцам никак невозможно догадаться, чем я в действительности занят здесь, за закрытыми дверьми. Последнее убеждение, однако, как показали недавние события, было ошибочным: они все прекрасно знали, только виду не показывали, опасаясь, вероятно, как-то испортить весьма неплохие отношения, которые у нас установились сами собой, без всяких видимых усилий как с их, так и с моей стороны.

Мы с женой и сыном снимали в тот год две комнаты в доме у одного одинокого старика, когда-то, в граждан-

скую, воевавшего в этих местах, а потом осевшего здесь же, как он говорил, «на тягло» и работавшего возчиком на лесоскладе. Старик был неглуп, только пил много и во хмелю тяжелел, мрачнел, а когда совсем уж перебирал, то становился слезлив и даже неприятен. Иногда я, для поддержания тишины и согласия в доме, сам ставил ему бутылку спирта, он наваливал миску ядерной кочанной капусты, резал сало, хлеб, и мы вдвоем распивали эту бутылку до конца, беседуя о том о сем. Как я теперь понимаю, он тогда весьма добросовестно и по-своему талантливо учил меня жить, только вот материал ему попался, к сожалению, неподходящий: нередко он сердился на мою неподатливость, но был терпелив и дела своего не бросал, вновь и вновь возвращаясь в этих застольях к одному и тому же. «Что тебя все носит? Таскаешься, таскаешься — и все зря... — говорил он. — Бродяга ты... Нет в тебе ни солидности, ни должности настоящей... Погоня снимешь — садись здесь, портфель тебе дадут, здесь же и помрешь, когда срок придет... Земля крепка могилами, где погосты, там и жизнь... Понял? Нет, скажи — ты понял? То-то... Сибирь обживать надо... Я тебе дом свой продам, хочешь? Мне все равно скоро помирать...» Распорядившись так собой, он вздыхал, замолкал, голова его свешивалась, по щеке скатывалась слеза и кончалось это все всегда какой-то тягучей, заунывной песней, каждый раз той же самой, другой я от него не слышал, после чего я обычно не выдерживал — уходил.

Зарабатывал я тогда много, в смысле снабжения в городке тоже было очень неплохо: мы проходили по какому-то особому списку, кроме того, у меня, естественно, был офицерский паек, да и жена тянула в школе не одну, а две ставки, преподавала в старших классах и географию, и историю одновременно, и не из жадности, конечно, а просто потому, что в тот год не смогли найти специалиста-историка и уговорили ее, все-таки как-никак — Московский университет: пришлось ей, что называется, на ходу осваивать целый курс. Молодец, она сумела откопать в этой дыре у какой-то древней старушки петербургских, видимо, происхождений, застрявшей

здесь еще с прошлых времен, великолепную историческую библиотеку, включая Устрялова, Соловьева, Костомарова, Ключевского, — в конце концов мы купили эту библиотеку всю на корню, и она до сих пор со мной... Интересно, кому она достанется после меня? Сын? Сын очень хороший, очень неглупый человек, но он морской офицер, все время в плавании — на кой черт она ему? Да, честно говоря, и не для служивого человека такое чтение — расслабляет, а им этого нельзя... Вечера напролет жена заповсем читала, переживала все это неожиданно свалившееся на нее богатство, втравила в это дело и меня — я тоже увлекся не на шутку. Даже сейчас, когда, закрыв глаза, я оглядываюсь назад, во мне с прежней силой оживают ощущения той зимы, и будто вновь все, как прежде, когда в полутьме по углам нашей комнаты, куда не доставал свет от настольной лампы, толпились, спорили, грозились нам оттуда кто перстом, а кто и кулаком вероломные Шуйские, спесивые Милославские, дикие, разбойные или, наоборот, утонченные донельзя Голицыны, когда тупой убийца Бирон, или хитрюга Остерман, или методичный бюрократ, великий технолог власти Бестужев-Рюмин были для нас с ней, по существу, реальнее, ближе, чем все другое вокруг, — морозная стылая темь за окном, скрип полозьев по снегу, кряхтенье старого деревянного дома, сменившего на своем веку многих хозяев... Ближе, чем даже крики и смех собственного сына, заигравшегося с мальчишками допоздна где-то там, на краю оврага, разделявшего нашу улицу пополам... Было, все было! И все, что есть, было, и все, что будет, тоже уже было... К этому выводу я пришел именно тогда, а было мне в ту зиму не так уж много — всего сорок один год.

Но главным, конечно, и для меня, и для нее была моя книга. Жили мы с ней довольно замкнуто, у нас бывали, и то очень не часто, всего два-три человека, сын с малых лет проявлял редкую самостоятельность и почти не требовал присмотра: сам готовил уроки, сам, не спрашивая нас, гонял где-то по полдня на лыжах, мы и не знали, где, сам разбирался в своих маленьких обидах и конфликтах, которых, объективно, даже в детстве у него было не-

много — товарищи любили его, в этом смысле ему, надо сказать, всегда везло... Про книгу мы говорили с ней утром, когда вставали, о книге же мы говорили и вечером, когда сын укладывался спать, а мы долго еще сидели за столом, у настольной лампы: что я еще написал сегодня, куда все поворачивает, как должен, а как не должен поступать тот или иной из тех, кого она уже знала не хуже, чем я. Жена болела за книгу, пожалуй, даже больше меня самого: я еще сомневался, я еще никак не мог решить для себя, графоман я или не графоман, — а вдруг это все чудовищная ошибка, ослепление, бывает же так с людьми, ведь недаром говорят «ошибка всей жизни», значит, может быть ошибка масштабом в целую человеческую жизнь, где гарантия, что именно это и не происходит со мной, разве могу я быть беспристрастен, разве я сам себе судья? — а она уже поверила и в меня, и в книгу окончательно и бесповоротно, оценила ее по самому высокому счету и потом до самой своей смерти никогда, ни на йоту от этой оценки уже не отступала. Должен сразу сказать: она была права.

О чем была книга? Это деликатный вопрос, и я надеюсь, что к концу рассказа читатель сам поймет, почему я не хочу ничего говорить ни о ее сюжете, ни о содержании. Скажу только, что, как и все книги такого рода, она была о людях, о жизни, в ней почти не было политики, но зато много было житейских наблюдений и размышлений, то есть того, что трогает и волнует каждого человека, и именно поэтому она имела такой успех, когда вышла в свет.

Повторяю, политики в ней почти не было, и не было даже не потому, что времена тогда были трудные, очень трудные, опасные были времена, а потому, что внутренне меня всегда интересовали не какие-то гигантские исторические смещения — я достаточно наглядился на них и знаю, что они не зависят ни от меня, ни от тех людей, которых я каждый день встречаю на работе, на улице, с которыми я бок о бок прожил всю свою жизнь, — а человек, если хотите, один человек: как он родился, как и чем он жил, как он умрет. Более того, до сих пор я сохраняю

подозрение — нет, не подозрение, а скорее убеждение, — что все эти гигантские смещения есть только рябь на поверхности огромной толщи жизни, а сама жизнь на самом деле заключается не в них, а в чем-то другом, в том, что происходит каждый день со мной и с моим соседом, и даже не в этом, а в том, что происходит во мне, именно во мне и в миллионах таких же, как я, которым тоже надо каждое утро вставать на работу, пить, есть, растить детей, думать о близких, тянуть свой воз, пока есть силы, и в конце концов умирать.

В книге было всего одно место, где я позволил себе подняться, так сказать, на макроуровень, и это-то место и сыграло для меня роковую роль. Один из моих героев, старый инженер, выведенный из себя какой-то явной служебной бестолковщиной и понимая в то же время, что нет и не может быть никакого выхода из создавшегося тупика и единственное, что остается, это смириться с тем, что есть, в сердцах бросает своему собеседнику: «По натуре я, видимо, анархист. Я не люблю всякую власть: прошлую, нынешнюю, будущую — мне все равно. Но я не слепой, я же вижу, что без власти нельзя, без нее будет еще хуже, все развалится к чертям собачьим — только и всего. Как там у Пушкина? «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» Так вот, я его видел и, признаюсь, больше видеть не хочу. Вот потому-то я и служу верой-правдой этой власти и буду служить, пока не подохну или пока меня не поставят к стенке...» По-моему, достаточно лояльная и конструктивная позиция, не так ли? Особенно если смотреть сегодняшними глазами... Однако в то время рассуждали иначе: нечего и говорить, что, когда книга вышла в свет, это место в ней было опущено все без остатка, совсем.

Эх, какое же это все-таки великолепное было время для меня — та зима с сорок седьмого на сорок восьмой! Если я и жил когда-нибудь полной грудью, если я хотел когда-нибудь, чтобы время остановилось и не двигалось с места, — так это было именно тогда. Не нужно мне было ничего, никакого будущего, пусть только эти люди, голоса, эта жизнь, которой я населил толстую общую те-

традь, с утра до вечера лежавшую у меня перед глазами, останутся со мной. И не на время! Нет, не на время — навсегда. Я не только сознавал — я нутром, печенками, спинным хребтом, наконец, чувствовал, что я живу сейчас, именно сейчас, а не в прошлом или будущем, где мы обычно живем всю свою сознательную жизнь... Э, да что об этом говорить... Под конец я даже начал, кажется, понемногу сходиться с ума: я стал заговариваться, путать реальных и выдуманных мной людей и временами терять всякое представление о том, где и с кем я нахожусь. В одну из таких минут жена, придя в ужас от моего почти уже бреда наяву, сказала: «Ну, все, хватит. Еще немного — и ты спятишь. Я не хочу жить с помешанным... Надо, наконец, выносить это все на люди...»

Почему я, дурак, не послал сразу рукопись в какую-нибудь редакцию? Зачем мне понадобилось проверять себя на ком-нибудь еще? Мало мне было жены? Видимо, мало. Видимо, иначе, несмотря на весь подъем, в котором я тогда жил, мне было бы не побороть глубокой, не поддающейся никакому контролю неуверенности в себе, так часто заставлявшей меня просыпаться по ночам в холодном поту... Конечно, то была дьявольская случайность. Впрочем... Как знать... Случайность, конечно, случайностью... И тем не менее с каждым случается именно то, что удивительно ему подходит, — мысль не моя, мысль Хаксли, но как же часто за свою теперь уже долгую жизнь я убеждался в том, что она верна...

В мае сорок седьмого я перенес острейший аппендицит, еще немного бы — и мне конец, перитонит был мне гарантирован. Спас меня хирург местной лагерной больницы — вблизи городка тогда располагался довольно крупный лагерь, интересно бы посмотреть, что сейчас осталось от него? — человек умелый, решительный, лет тридцати или чуть побольше, с голубыми ясными глазами, шапкой белокурых волос и открытым, охотно улыбающимся лицом. Естественно, я испытывал тогда чувство глубокой благодарности к нему, кроме того, мне всегда были интересны люди, так явно ни в чем не похожие на меня: он прекрасно пел песни под гитару, здорово,

просто восхитительно здорово ел — моя жена очень любила готовить именно ему, он был, пожалуй, единственным, кто мог по достоинству оценить ее кулинарные способности, так никогда и не раскрывшиеся до конца, — мог усидеть бутылку спирта и остаться на ногах, только глаза его при этом наливались кровью, но речь оставалась связной и твердой, по слухам, переспал не только со всеми своими сестричками, но и со всеми моими чертежницами тоже, был охотник, спортсмен, кутила, приятель всему городу и, ко всему прочему, надо признать, был неглупый, думающий человек — каким-то образом среди всей этой кутерьмы он умудрялся еще и успевать читать книги, и, я знал, не только детективы. Единственное, что меня корбило в нем, — его неизлечимое, постоянное гыканье, но в конце концов я и к этому привык.

Вот ему-то, после долгих размышлений, я и решился первому показать то, что я сделал. Расчет был простой и, я бы сказал, в принципе довольно верный: вот так, головой, с размаху — бух в омут, выдержу — хорошо, не выдержу — туда мне и дорога. С другой стороны, если уж ему, человеку, несомненно, благожелательному и в то же время совершенно несхожему со мной в своих привычках и образе жизни, будет интересно, — значит, все в порядке, значит, лучше или хуже, но меня поймут и другие, ну, а уж дальше что — это, как говорится, моя забота. Помню, он сразу очень серьезно отнесся к моей просьбе, не удивился ничему, только поморщился немного, увидев, что все это пока от руки, — для меня же перепись на машинке была в тот момент слишком уж значительным шагом, требовавшим дополнительных усилий над собой, да и не хотелось печатать здесь, в городке, где меня тоже все знали, — сунул рукопись под мышку и пообещал вернуть ее никак не позже, чем через неделю. Доктор был человек слова: через неделю, день в день, он был у меня.

Этот вечер, как сейчас, стоит у меня перед глазами: ничего более значительного — я имею в виду событийную сторону жизни — со мной не случилось ни до него, ни после него. Помню, как был накрыт стол, помню, где сидел доктор, где я, где жена, помню, как мы смеялись, болтали

о всяких пустяках, откладывая, по молчаливому обоюдному согласию, разговор о важном на потом, когда мы останемся вдвоем, — жена с самого начала заявила, что они с сыном попозже бросят нас ради какого-то трофейного боевика, о котором уже неделю только и разговоров было в городке, — помню даже, что я чуть ли не с момента его прихода уловил в нем что-то необычное, мне показалось, какую-то растерянность, нерешительность, что ли, но после первого же стакана эта нерешительность исчезла, и он опять стал самим собой — четким, собранным, уверенным в жизни и в себе. Когда жена, пожелав нам хорошо провести остаток вечера и не очень все же налегать на спирт, — была пятница, завтра предстоял обычный рабочий день, — закрыла наконец за собой дверь, он выложил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, положил его перед собой и, твердо, ясно глядя мне в глаза, сказал:

— Георгий Михалыч, ты меня знаешь, я не люблю петлять вокруг да около. По мне лучше нож, лучше сразу проткнуть нарыв, чем мучиться со всякими припарками, от которых все равно никакого толку... Один раз я тебе спас жизнь? Надеюсь, ты не станешь такое отрицать?.. Только получается, что на этом не кончилось... Приходится, вижу, и в другой раз тебя спасать... На, прочти. Это копия. Предупреждаю, что оригинал уже запечатан в конверт и лежит у меня в сейфе...

Ничего не понимая, я развернул протянутый мне лист. В углу было напечатано: «Районному уполномоченному...» Ниже шел текст: «Считаю своим гражданским долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе мною обнаружены факты вражеской контрреволюционной пропаганды...» Дальше шла моя фамилия и прочие данные обо мне, сообщалось, что рукопись у меня изъята, что в настоящее время она находится у нижеподписавшегося и может быть представлена, куда следует, в любой момент, а в качестве примера ее вредительской направленности цитировалось то самое место, которое я уже приводил здесь, включая и слова Пушкина. Внизу стояла полная подпись автора докладной.

— Прочел? Чувствуешь, чем пахнет? — расставив локти и навалившись грудью на стол, продолжал он нарочито прямо, не отрываясь, смотреть мне в глаза. — Я тебе скажу... Не столько тебя... Мальчишку твоего и жену твою жалко — им-то за что страдать?.. Ну, так вот... Мои условия следующие: рукописи этой нет и никогда не было, место ей в печке, куда я сам ее и засуну в ближайшие же дни, а конверт этот я на всякий случай еще поддержу — черт тебя знает, что ты еще выкинешь... Когда отлежишься, придешь в себя, поймешь, что я прав, — как говорится, милости прошу к нашему шалашу, я с тобой ссориться не намерен... Тем более из-за такой чепухи...

Комната, он, окно — все закачалось, поплыло у меня перед глазами: сказал я что-нибудь или нет — не помню, и не помню, как я очутился у портупей, висевшей на стене... Помню только, что кобура никак не поддавалась, не расстегивалась, пальцы мои дрожали — в ту же секунду чудовищной силы удар чуть не перешиб мне руку у запястья...

— Не балуй, дурень. С пистолетом, сам знаешь, шутки плохи... — миролюбиво, даже добродушно проворчал он, оттаскивая меня от стены к дивану: он был на целую голову выше и намного крупнее меня. Потом он расстегнул кобуру, вытащил из пистолета обойму и положил ее себе в карман. Уже одевшись, в дверях, он еще раз повернулся ко мне:

— Будь здоров... И поберегись: с ума сойдешь — на меня не рассчитывай, это не по моей части... Предупреждаю: конверт я сегодня же сдам на хранение своему фельдшеру. Так что, если опять за пистолет схватишься, учти...

Потом... Что было потом? Помню белое, без кровинки лицо жены, сидящей на диване, ее руки, зажатые в коленях, губы, почти беззвучно повторявшие одно и то же: «как же так... как же так... так же не может быть...», помню тиканье ходиков в простенке у двери... Помню острый, захватывающий дух холод улицы, по которой я бежал, темноту, сугробы, тоненький серп луны над головой, помню дерматиновую обивку на двери барака, где

жил доктор, торчащую из нее паклю, ожог на пальцах — я схватился за дверную ручку голой рукой, клубы кислого пара из коммунальной кухни в конце коридора, фигуру доктора в дверях его комнаты, его быстрый взгляд по сторонам — не видят ли соседи... Помню, что я что-то лепетал, просил его, умолял, клялся, в конце концов повалился на ноги — помню колени в галифе, за которые я хватался, помню его домашние тапочки без задников... Все было тщетно. Через неделю мы с женой узнали, что он взял отпуск и уехал в Россию. Из отпуска он не вернулся, и больше я его никогда не видел.

Нельзя сказать, чтобы я так сразу и сдался: нет, по-своему я боролся до конца, мне не в чем себя упрекнуть, я сделал все, что мог... Мне стоило огромного труда восстановить рукопись заново, — легко себе представить состояние, в котором я тогда находился, — но я это сделал и после перепечатки сразу же послал ее в один из сибирских журналов. Спустя несколько месяцев мне пришел отказ, а в какой-нибудь другой журнал я ее послать уже просто не успел: весной следующего года моя книга вышла в свет под фамилией доктора, под которой она и живет в литературе до сих пор. Успех она имела большой. Многие еще и сейчас помнят ее, и даже новое поколение, как я имел уже случай не раз убедиться, читает ее и читает, надо сказать, не без интереса.

Что я еще мог сделать? Пойти на крест? Ради идеи, ради главного, так сказать, дела своей жизни? Нет, это был не выход. Рукопись это не только бы не спасло, а, наоборот, скорее всего окончательно бы погубило — стгрызли бы ее в конце концов мыши в подвале какого-нибудь архива, ну, а что мне самому в таком случае, по всей вероятности, не жить — об этом, по-моему, и говорить не надо. И, думаю, даже не это остановило меня тогда. Я боюсь боли, боюсь мучений — а кто их не боится? Но умереть с достоинством я, наверное, могу. Было два-три случая в моей жизни, во время экспедиций, когда мне приходилось смотреть смерти в глаза, — ничего, выдержал: помню, тело как-то сразу подбиралось, голова пустела, весь я вытягивался в нечто прямое, устремлен-

ное в одну точку — ну, что ж, прямо — так прямо, в лоб, вот она, косая, вот и все, хватит, конец — значит, конец... Страшно было не только и не столько это, страшно было другое — жена и сын.

Сейчас, оглядываясь назад, я иногда думаю: странно как-то, непохоже на других сложилась наша с ней жизнь... Ведь я, можно сказать, не любил ее вначале, жалеть — жалел, а любить — нет, начинали мы с ней не с этого, само слово это было в нашем с ней случае не очень-то уместно, по крайней мере с моей стороны, и мы оба понимали, что это так. Да и встретились мы с ней, и поженились как-то не по-людски, не так, как все: тридцать пятый год, узловая станция в степи, в Казахстане, осень, дождь, подтеки на окнах, сарай — не сарай, барак — не барак, какая-то развалюха, только и название, что вокзал, телеграфист стучит за перегородкой, тусклая лампочка, мешки, сапоги, дым, мат-перемат, уголовники в углу куражатся — выпустили после очередной амнистии, цыганки с детьми, толстые бабы на лавках, пьяные мужики — и она, тоненькая, хрупкая, сжалась, спряталась, таращит глазенки: убьют — не убьют, а все равно страшно, и до места назначения еще ехать и ехать, а что там будет, одному богу известно, глушь, степь, тоска... На другой день она стала моей женой... Спряталась за меня? Или действительно полюбила? Не знаю... Во всяком случае, не каждая бы выдержала потом ту жизнь, которую ей пришлось со мной вести. Как сезон, так полгода, а то и больше меня нет, черт меня знает, где там шляюсь, с кем живу, что делаю — я не святой, она это прекрасно понимала. Но никогда она не требовала от меня никаких клятв и обещаний, да и сама, надо сказать, не связывала себя ничем... Впрочем, по-моему, ей это и не нужно было... Не знаю, так до самого конца я ни разу и не спросил у нее, была ли она мне верна, нет ли... Да какая, в сущности говоря, разница? Разве это важно? И разве в этом жизнь?

К старости у многих людей — и я в этом смысле не исключение — особенно сильно начинает болеть совесть. Старость, помимо всего прочего, в том и состоит, что твои проступки, давно уже пережитые и, казалось бы, успешно

забытые навсегда, вдруг оживают ни с того ни с сего с новой силой, преследуют, мучают по ночам, и ладно бы только по ночам — в конце концов есть же снотворное, — нет, иной раз и прямо, что называется, на свету, посреди бела дня: сидишь, смотришь в окно, или тихо-мирно читаешь газету, все спокойно, все хорошо, и вдруг как кольнет, как вонзится что-то в самое сердце — дыхание сразу останавливается, на лбу проступает пот, хочется куда-то бежать, где то спрятаться. с головой от самого себя, отбиться, отмахнуться от этого наваждения... Но как отмахнуться? Нет никакой возможности от этого отмахнуться, и лекарства никакого тоже нет, никакой водкой то, что было, не залыешь, а молиться... Кому молиться? Кого молить о прощении? Вот в чем весь ужас-то: некому молиться, некого просить о прощении, кроме как самого себя... Я не хочу этим сказать, что я совершил в жизни что-либо особенно уж тяжкое: нет, слава богу, я никого не предал, ни на кого не донес, никого не пхнул ногой, не оттолкнул локтем, к деньгам и власти всегда был, в сущности, равнодушен... И, конечно, не о яблоках речь: если бы еще и такая дребедень всерьез ложилась камнем на человеческую душу — кому ж тогда и жить на Земле?.. Но многое, очень многое мне все-таки хотелось бы исправить в своей жизни, и если уж не исправить, то хотя бы забыть совсем.

Два воспоминания почему-то особенно часто мучают меня. Одно — девушка, тоже топограф, любившая меня в ту памятную алтайскую экспедицию, за год перед войной. Два аборта за один полевой сезон... Милое, преданное существо, не надеявшееся ни на что серьезное — у меня уже был сын, — ее глаза и сейчас стоят перед мной, и мне все кажется, что, когда она прижималась ко мне, когда гладила, ерошила мои волосы, заглядывая мне куда-то даже не в зрачки, а куда-то в самую мою душу, она все хотела, но так и не решилась никогда сказать, попросить меня — пощади... А я... Что я? Какой здоровый тридцатилетний мужик думает о чем в ослеплении страсти? Но в отместку за все я и сегодня никак не могу отогнать от себя одну и ту же картину: осенний березняк, лошадка

идет шагом, я иду рядом с телегой, на телеге сено, тулуп, из-под тулупа выглядывает бледное, почти детское лицо, и глаза ее смотрят куда-то мимо меня в небо... Но иногда она поворачивает голову и улыбается мне слабой, вымученной улыбкой: мне опять удалось уговорить врача местной маленькой больницы помочь нам, и я везу ее после операции домой, в ту деревушку, где мы с ней тогда жили... Что она, как она? Как сложилась потом ее жизнь? И как она помнит обо мне? Ничего не знаю...

Другое воспоминание тоже связано с больницей. Умирает мой отец, умирает медленно, долго, мучительно, уже третий месяц, желтый обтянутый лоб, провалившийся рот, глаза, затуманенные болью, но когда боль отступает, прежний острый, как бритва, ум опять светится в них, а взгляд печальный, каждый раз прощающийся со мной, и взгляд этот, как и прежде, видит меня — здорового, сытого, полного каких-то планов, торопящегося жить — насквозь, а мне нечего ему сказать, никаких слов для него сейчас я не знаю, мне тяжело, я мучаюсь, мне неудобно, надоело сидеть на колченогой больничной табуретке, и отвратительная малодушная мысль опять начинает расти, подниматься во мне: скорее бы ты умер, отец, чего ж тянуть, и для тебя было бы лучше, и для других. И от этого мне так тошно, так хочется вскочить и убежать отсюда, что я окончательно замолкаю и так сижу, только глазу его ссохшуюся руку, перебираю пальцы, а он вдруг отвечает мне слабым, еле уловимым пожатием — мол, понимаю, все понимаю, брат...

Почему именно это, а не другое? Почему, например, я до сих пор не чувствую никакой вины перед женой, хотя умом и сознаю, что я доставил ей немало горьких минут, особенно в начале нашей с ней жизни? Не знаю почему... Не знаю. Положа руку на сердце — не знаю... Может быть, потому, что те далекие первые годы успели потускнеть, расплыться в нечто полуреальное, а возможно, и вообще не бывшее никогда еще задолго до того, как мы попрощались с ней в последний раз в углу Даниловского кладбища... «Прошло и не было — равны между собою...» А может быть, и потому, что эти горькие минуты

на самом-то деле ничего или почти ничего не значили ни для нее, ни для меня, потому что их действительная величина была ничтожной по сравнению с тем огромным, враждебным, что давило нас с ней со всех сторон — то, что люди называют словом «жизнь», — и что мы выдержали с ней, вероятно, только потому, что были всегда не поодиночке, а вместе... Любил, не любил — какая же это все, в сущности, ерунда... Мы ведь прожили с ней не месяц, не год — всю жизнь... Прожили, протерпели, и не было у меня ничего дороже ее, не было ни тогда, когда я еще колобродил, ни потом, и уж тем более ни сейчас, когда вокруг меня лишь четыре стены и даже кот мой — и тот однажды ушел и не пришел, а нового заводить, признаюсь, уже нет больше ни желания, ни сил... Сын? Я уже двадцать лет как не нужен ему, и обижаться на это нечего — жизнь есть жизнь, он не лучше и не хуже других... Книга? А что книга? Сколько этого барахла скопилось на полках у людей, одной больше, одной меньше — какая разница, все равно все они об одном... Вот так: жил, ценил, дорожил, а может быть, иногда и не ценил, забывал ценить, ведь жена всегда была под рукой, рядом, даже, небось, и вовсе не замечал иной раз, есть ли она вообще, нет ли ее, сколько было всякой ненужной изо дня в день суеты — разве теперь расскажешь... А вот ушла — и все, пустота, и оказалось, что другого-то, в сущности, нет и не было ничего, что бы привязывало меня к жизни...

Конечно, теперь для полноты картины мне следовало бы рассказать о том, как я жил все последующие годы — ни много ни мало, тридцать лет, — что я думал, что делал, каких людей встречал, как я относился к ним и как они ко мне... Но делать я этого все-таки не буду. И не только потому, что это утомительно — вновь ворошить свою уже практически прожитую жизнь, силы ушли, я теперь нередко засыпаю просто так, сидя за столом, но и потому, что, убежден, вряд ли это будет представлять интерес для кого-нибудь еще, кроме меня. Что обычно интересно в любом рассказе? Или событие, или мысль. Событий в моей жизни с тех пор, если не говорить о смерти жены, по существу, не было никаких, а что касается мыслей — мысли

уже давно вложены в ту единственную мою книгу и, хорошо ли, плохо ли, уже давно живут своей жизнью... Да и вообще, если бы не эта история, которая побудила меня вновь взяться за перо... Нет, вру: конечно, я не раз с тех пор брался за перо, извел, надо сказать, пропасть бумаги, но каждый раз с грустью обнаруживал, что писать-то мне, по сути дела, больше не о чем, все так или иначе — лишь перепев того, что уже было в той книге. Писать же ради куска хлеба, слава богу, мне никогда не нужно было, теодолит и геодезия вплоть до пенсии неплохо кормили меня, да и того, что я имею сейчас, мне одному — хотя и очень скромно, конечно, — но в общем-то вполне хватает. Могу даже позволить себе роскошь — послать внукам в Североморск по случаю праздника какую-нибудь ерунду...

В прошлый понедельник, под вечер, я сидел у себя в кресле: то ли дремал, то ли читал — не помню. Скорее всего дремал, в последние год-два я уже не столько читаю, сколько дремлю над книгой. Я живу на самом верхнем этаже, и у меня тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Но зато очень удобно с богом разговаривать — до неба рукой подать... Вдруг раздался телефонный звонок, я вздрогнул — я уже давно вздрагиваю, когда звонит телефон, он теперь нередко молчит по неделям, что поделаешь — некому звонить. Это не жалоба, нет, а просто необходимая, как мне кажется, ссылка на ту обстановку, в которой я теперь живу.

— Георгий Михайлович? Здравствуйте. С вами говорят из группкома союза литераторов... У нас тут возник один вопрос, мы чувствуем, что без консультации с вами нам его не решить... Не могли бы вы принять нашего сотрудника? На часок, не больше... Когда? А когда вам удобно?.. Хоть сегодня? Очень хорошо. Давайте сегодня — нас это тоже устраивает... Значит, договорились: наш товарищ подъедет к вам сегодня часов около семи. Время вам подходит?.. Вы, если не ошибаюсь... Так, пишу: Тверской бульвар, Малая Бронная, дом номер...

Ровно в семь в дверь позвонили. Гость оказался помятым, потертым человеком с большой лысиной и остатками волос, уложенных поперек черепа, с животом, в ру-

ках у него был портфель, в кармане сложенная газета, костюм серый, дешевенький — вид служивый и не скажу, чтобы очень симпатичный. Я проводил его в большую комнату, пододвинул ему стул: он уселся, водрузил портфель к себе на колени, вытащил из него пачку каких-то бумаг, скрепленных канцелярской скрепкой, потом поставил портфель рядом с собой на пол, вплотную к ножке стула...

— Итак, чем могу служить?

— Георгий Михайлович, дело довольно тонкое, и без вашей помощи нам, по-видимому, не обойтись... Дело вот в чем... Мы знаем, что автором одного достаточно известного романа являетесь вы, а не писатель Н... Скажу вам даже больше: мы знаем об этом, если не ошибаюсь, уже лет двадцать пять — не меньше...

— Так... Вон оно, значит, что... Откуда?

— Сейчас скажу... Мир не без добрых людей, Георгий Михайлович... Спустя несколько лет после выхода романа в свет мы получили сигнал из известного вам журнала, что автором книги, о которой идет речь, на самом деле являетесь вы, а не он. Письмо было подписано, и в нем были указаны некоторые ваши основные данные... Поэтому-то, кстати, мы и не потеряли вас из вида... Потом был сигнал, правда анонимный, от ваших бывших сотрудников по картчасти. Мы, конечно, проверили и его... Потом ваша покойная жена за несколько лет до своей кончины рассказала всю эту историю одной своей приятельнице. Это тоже стало нам известно... Так что, как видите, свидетельств хватает, — и он похлопал ладонью по пачке бумаг, лежавшей перед ним. — Но все они, к сожалению, носят... как бы сказать... косвенный характер. Нам теперь нужно одно: ваше собственное заявление с подробным изложением обстоятельств всего дела.

— Интересно... Интересно... Позвольте тогда вопрос: а раньше-то где вы были? Сами же говорите: столько лет...

— Вопрос, конечно, законный... Хотя, прямо скажем, не такому умному человеку, как вы, казалось бы, его задавать... Что вам сказать, Георгий Михайлович? Люди

есть люди, жизнь есть жизнь... Времена были непростые, а книга была нужная, хорошая была книга, таких тогда не много выходило. Бросить тень на нее — кто бы решился тогда на это? Нас бы не поняли, Георгий Михайлович, уж кому-кому, а вам это и без разъяснений должно быть ясно. Недаром вы сами не давали о себе знать все эти годы... Да и мнимый автор ее тогда был в большом фаворе, человек он, сами знаете, энергичный, хваткий, такого голыми руками не возьмешь...

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас другое дело. И времена другие, и он уже не тот — постарел, обмяк... Много пьет... Ведь он так больше ничего и не написал с тех пор...

— И что же... Если я напишу заявление... Справедливость, так я вас понимаю, будет восстановлена?

— Непременно, Георгий Михайлович! Непременно будет восстановлена... Надеюсь, вы понимаете, что без предварительных консультаций там, где надо, я бы к вам не пришел. Дело теперь за вами...

— А если я не напишу такого заявления? Тогда что?

— Как то есть не напишете? Я вас что-то не понимаю... Почему же не напишете? Вам что, безразлично, чье имя будет на книге — ваше или этого проходимца? Не говоря уже о деньгах...

— Не знаю... Для меня это все как снег на голову... Дайте мне опомниться... Подумать... Я, наверное, позвоню вам на днях...

— Обязательно позвоните. Я буду ждать... Очень ждать вашего звонка. Запишите мой телефон... И мой вам совет: не откладывайте в долгий ящик. Конечно, над нами с вами не каплет, но ведь все, как говорится, под богом ходим. Мало ли что...

После его ухода я, конечно же, провел бессонную ночь: нашлась где-то в ящике стола пачка сигарет, дымил,пил воду, ходил из угла в угол... Собственно говоря, когда он еще сидел за столом, я уже знал, как я поступлю. Но ведь надо же было обосновать свое решение, убедить самого себя, что это не причуда, не блажь выжившего из ума старика, а естественный, так сказать, итог половины, да что

я говорю половины, — по сути дела, всей моей жизни... Мечь? Отомстить наконец негодяю, хотя бы под занавес, на краю могилы? А зачем? И он, и я уже прожили жизнь, ненависть давно потухла, я уже давно привык к тому, что все сложилось именно так, а не иначе... Да и вряд ли доктор так уж был счастлив все эти годы: тридцать лет знать, что ты ничтожество, что ты живешь на ворованное, каждый день лгать, изворачиваться, щеки надувать, напускать на себя значительный вид — нет, не хотел бы быть на его месте! По ночам-то, небось, суй не суй голову под подушку, а от себя никуда не денешься, разве что бутылкой себя оглушишь, свалишься снопом, но ведь это же не день, не два — всю жизнь... Люди? История? Мое имя? Господи, это-то совсем уж чепуха... Кому какое, по правде говоря, дело, кто написал эту книгу — я или он? Как меня в действительности звали, как я жил?.. Какая, скажите, разница — Шекспир или Френсис Бэкон? Нет, на самом деле — какая разница? Да никакой. Никакой разницы. Разве что для десятка-другого профессионалов, которые кормятся либо от того, либо от другого из этих имен... Для меня же лично... Для меня? Что для меня? Моя песенка, как ни крутись, спета — восьмой десяток, тут уж, как говорится, не до иллюзий. Сколько мне еще осталось? Ну, год, ну, два от силы — больше, вероятно, я не протяну: сердце уже никуда не годится, и все чаще по утрам охватывает такая слабость, что прямо хоть сейчас ложись и помирай. Нет никакой возможности выбраться из-под одеяла и поползти хотя бы до ванной, лежу, глядя в потолок, до полудня, а то и дольше, надо бы встать, да сил никаких на это нет... Не могу же я в самом деле верить, что там, куда я скоро уйду, сохранится хоть какая-то связь между тем, что останется от меня — если от меня вообще что-либо останется, — и тем, что будет здесь после меня, включая и такую, в сущности, безделицу, как вопрос о том, кто же в действительности был автором одной из многих десятков тысяч книг. Всего поколение-два, и о ней, по всей вероятности, уже и помнить-то никто не будет. Грустно, но что поделаешь: сидеть на краю облачка и поглядывать, как там внизу, на земле, идут без

меня дела, — нет, на что другое, а на это надежды нет никакой. Все эти миллионы галактик, миллиарды световых лет и всякие там шестые измерения к лучшему ли, к худшему, но уже лишили человека надежды на такой эгегический исход... И еще одно для меня, может быть, самое важное соображение... Унизительно все это... Такое ощущение, что, подай я это заявление — я тем самым тоже распишусь в собственном ничтожестве... В том, что сама по себе, без этой книги, моя личность была недостаточна для того, чтобы жить на земле... Выходит, что только книга оправдывает мою жизнь, мое существование среди себе подобных, мое право на то, чтобы дышать и думать? Что без нее я — так просто, дерьмо, и больше ничего? Ну, а если бы я ее вообще не написал — что тогда? Я ведь прожил семьдесят с лишним лет — и что же, это все был навоз истории, мусор на гигантской человеческой стройке, какой-то обломок битого кирпича, которого и вообще-то могло и не быть? Может быть, так оно и есть на самом деле, более того, скорее всего именно так оно и есть, но я-то с этим согласиться не могу! Даже перевалив на восьмой десяток и зная подлинную, прямо скажем, плеваю цену отдельной человеческой жизни, — все равно не могу. Гордыня? Гордыня — не гордыня, называйте как хотите, мне уже стесняться нечего. Ясно, что это последний раз, когда я говорю в полный голос, скоро, надо думать, намолчусь всласть... В тишине и вечном-то покое... Кстати, в этой связи уместен будет и вопрос: зачем я написал этот рассказ? Зачем? А затем, что я писатель. Я писатель, и наконец-то у меня вновь появилось что сказать, не мучаясь страхом за перепевы одного и того же. И не ловите меня на вранье самому себе: учитывая нашу обычную издательскую канитель, я абсолютно уверен, что если это и будет когда-нибудь напечатано, то только после моей смерти.

Через день или два я позвонил человеку, приходившему ко мне. Не буду скрывать, он был очень удивлен, более того, возмущен моим отказом, долго убеждал меня, напирал на совесть, на чувство долга, но я остался тверд.

Разговор был тягостным, и мы так и расстались, не поняв друг друга...

Мне вспоминается, как года три назад я сидел в доме отдыха за столом с одним глубоким стариком. Ему было уже за восемьдесят, он был сух, строг, прям, и я невольно ежился под его каким-то странным, немигающим взглядом, который смотрел все время сквозь меня и позади меня, — как потом выяснилось, это были последствия операции по поводу катаракты. Естественно, мы разговорились, стали вспоминать прошлое, у него тоже была нелегкая жизнь — тоже сидел, но, в отличие от меня, не месяцы, а годы — жена его так и умерла, не дождавшись его возвращения, детей не было, теперь он ждал очереди в дом престарелых, ни родных, ни даже более или менее близких знакомых вокруг него уже не осталось — он пережил всех. Поговорили, конечно, и о болезнях — какая-то, уже не помню, хворь мучила его тогда — я, разумеется, сказал что-то такое очень бодренькое, что-то насчет того, что это все, дескать, пустяки, от этого не умирают, выглядит он еще молодцом, еще рано, еще только, мол, жить да жить... Он вдруг замолчал, потом поднял на меня свой немигающий взгляд и сказал — медленно, серьезно, обращаясь, как мне показалось, даже не ко мне, а к самому себе: «Нет... не нужно. Надоело... Пора...»

Помню, я тогда пожал в недоумении плечами — не поверил: как это так надоело? Врет, наверное, старик... Не много же мне понадобилось, чтобы убедиться, что старик не врал, а говорил святую истинную правду! Всего три года... Да нет, даже меньше, ведь и со мной это началось, конечно, тоже не вчера... Надоело, скорей бы — с меня хватит, я тоже устал ждать. Больше мне неинтересно... Я не могу это объяснить, я прошу просто поверить мне... Разве что только воробьи на подоконнике еще иногда развлекают меня или тополь, который вырос на моих глазах до самого верхнего этажа, вровень с моим окном. Но и с ними, я чувствую, я расстанусь без всяких сожалений... Мне хотелось бы закончить одной мыслью, и, прошу вас, не отмахивайтесь так просто от нее: как ни странно, во всем этом тоже есть надежда. Какая-никакая — и все-таки надежда.

Азиатский грипп

Уже ночью, в вагоне, Русанов почувствовал, что ему худо. Бил озноб, но под одеялом становилось невыносимо жарко, тело покрывалось испариной, воздуха не хватало, хотелось пить. В купе все места были заняты, и как-никак август только начинался: в Москве и по всей средней полосе стояла душлимая жара, даже ночи не приносили облегчения.

Ничего более нелепого, как простудиться в такую погоду, нельзя было и придумать. «А может, не простуда, может, что-нибудь еще?» — сквозь полусон-полубред, уже как будто даже и не про себя, думал Русанов. В газетах писали, что по Европе пополз грипп, явившийся черт-те откуда, чуть ли не из Гонконга.

Самое плохое было то, что ему не только предстояло ехать еще весь следующий день: на маленькой уральской станции он должен был ждать целую ночь пересадки на другой, местный поезд. И, конечно, ни в какую гостиницу на этой станции ему не попасть — да и есть ли она там? Придется всю ночь изнывать на вокзале, пристроившись где-нибудь в уголке, на жестком, как камень, станционном диване. Ехал он на один из старых уральских заводов, куда его послали помочь разобраться с документацией на какое-то импортное оборудование. Он был толковый, грамотный инженер и, несмотря на свои двадцать восемь лет, пользовался определенным доверием у начальства.

«Ах ты, Господи, как не повезло, как не повезло! — вновь очнувшись и вновь медленно проваливаясь в небытие, думал он. — Может, плюнуть на все и на ближайшей же станции махнуть обратно? Да нет, не солидно, не поймут. Дотерплю».

Утром стало еще хуже. Весь день он провалился на своей верхней полке, не в силах оторвать голову от подушки. Ломило виски, болели волосы, стук колес молот-

ком отдавал в затылке, руки-ноги были чужими и не слушались его. И вообще было два Русановых — один, еще кое-как присутствовавший здесь, и другой, постоянно нырявший в какие-то потусторонние глубины, в черную пропасть без конца и без края: летел он туда бесконечно долго, все время уменьшаясь в размерах и в конце концов превращаясь в точку, в бесплотное нечто. Однако чего-то последнего ему никак не удавалось достичь, и он тогда опять выныривал на поверхность, но только затем, чтобы сейчас же начать погружаться в эту пропасть вновь. «Так и до Бога добраться можно», — с некоторым даже интересом отмечал Русанов, когда сознание возвращалось к нему.

Если приходилось слезать с полки, его качало, и по вагону он передвигался, только держась за стенку или за оконные поручни. «Ведь у меня сейчас тридцать девять, не меньше, а то и под сорок», — думал он, касаясь рукой лба, полыхавшего огнем. Соседи по купе что-то спрашивали у него, что-то сочувственно советовали, но слова их не доходили до его сознания: улыбнувшись им вымученной улыбкой, он опять забирался на свою полку и там затихал.

На станцию К. поезд пришел поздно вечером. Не то начинался, не то уже кончался дождь. Русанов сел на скамейку под навес: на перроне было пусто, кроме него здесь, видимо, не сошел никто. Через минуту-другую поезд тронулся, мимо проплыл длинный ряд окон с задернутыми занавесками, грохот колес утих, и он остался один. Неторопливо прошел дежурный милиционер, глянул на него и на его портфель и исчез в дверях старенького, еще николаевской постройки вокзала. Сначала Русанова оглушила тишина, потом он постепенно, один за другим стал различать таинственные звуки ночной станционной жизни. Где-то лягнули сцепляемые вагоны, тонко свистнул маневровый тепловоз, глухой, далекий голос диспетчера что-то раздраженно крикнул во тьму, и в ответ ему низко загудел рожок, сообщавший тоже что-то очень важное и нужное. Над вокзальными дверями горел тусклый матовый шар, освещающий косые струйки дождя, сбегавшие из-под навеса, влажно блестящие рельсы и черные лужи на утопанной, угольно-твердой поверхности колеи. Окутанный паром, шипя и от-

дуваясь, подошел паровоз без вагонов и остановился прямо напротив него. Горький, саднящий привкус гари проник в горло. Русанов замотал головой, но ощущение тошноты лишь усилилось. Да и озноб, отпустивший было ненадолго, опять начинал потряхивать его. Потянуло в тепло.

Зал ожидания был набит до отказа. Парное дыхание сотен тел, сгрудившихся в одном месте, густо стояло в воздухе, по залу и коридорам плыли сизые полосы табачного дыма, мешаясь с острым аммиачным запахом, исходившим от туалета. Под потолком висела полуприглушенная люстра, смутно, сквозь дым, освещавшая длинные вокзальные лавки с сидевшими и лежавшими на них вповалку людьми. В конце же зала затаилась темнота, и лишь пустые стекла аптечного киоска, закрытого на ночь, подслеповато отсвечивали оттуда.

На лавках кто ел, разложив на коленях нехитрую дорожную еду, кто дремал, свесив голову на грудь и привалившись плечом к соседу. Более удачливые расположились почти с удобствами, свернувшись калачиком и прикрыв лицо от света кепкой или газетой. В проходах между лавками и у стены тоже сидели, больше бабы, уложив детей на мешки, а сами кое-как пристроившись на полу у них в головах или ногах. Дети, старики, женщины в платках, мужики в ватниках... Где-то хлопали двери, шаркали ноги, громко, вздохнув, плакал ребенок, и чей-то дремотный, скучный голос шикал на него, пытаясь уговорить его и успокоить.

«Ну куда они все едут, куда? — думал Русанов, медленно кружа по залу. — Тронулась Россия с места лет сто назад и с тех пор все едет куда-то, едет... А куда, зачем — кто знает? Спроси вон ту бабу с ребенком на руках — ему и года нет, наверное, — так небось скажет: крестную навестить, давно не виделись, письмо прислала. Сдалась ей эта крестная... Нет, будет ночи сидеть на вокзале, в вагон карабкаться, мешки пропихивать и доедет-таки до своей крестной...»

На одной из лавок у стены он заметил просвет между телами. Сидевшие подвинулись, освобождая для него место. Похоже, он помешал беседе, занимавшей их: в проходе на чемодане сидел человек с нездоровым, но сейчас оживленным лицом, и соседи его, пропустив Русанова,

опять сдвинулись поближе, видимо, ожидая продолжения какого-то рассказа. Поставив портфель в ноги, Русанов откинулся на спинку лавки и закрыл глаза.

В голове гудело, из расстегнутого ворота рубашки несло жаром, дыхание было частым и прерывистым. Людские испарения плотным слоем обволакивали его, и голоса извне, как в бане, тонули в них, превращаясь в глухое невнятное бормотанье. Медленно, от головы к ногам, он опять начал опускаться в бездонную яму, в знакомую пустоту. Но теперь это состояние было уже не интересно для него, и хотелось только одного — поскорее заснуть и обо всем забыть.

Однако заснуть не удавалось. Время от времени соседка слева, беременная баба, вдруг начинала ерзать и толкать его локтем в бок: наверное, причиной тому была тяжелая авоська с продуктами, лежавшая у нее на коленях и явно мешавшая ей.

Человек, устроившийся в проходе на чемодане, тоже раз-другой основательно пнул его ногой, переставляя свой чемодан, и Русанову в конце концов пришлось подобрать ноги, отчего они вскоре заныли и затекли. Да и голос этого человека — торопливый, навязчивый, по временам даже визгливый — стал раздражать его, выделяясь из приглушенного гуденья, наполнявшего зал. Но единственное, чем Русанов мог защитить себя, это еще плотнее прикрыть веки, и так уже налитые тяжестью, как свинцом.

— Да я-то тут при чем, говорю, я-то при чем? — рассказывал человек на чемодане. — Нет, говорят, вина твоя явная, лучше признайся, тебе же легче будет, меньше дадут. А в чем признаваться-то? Ну подошел он, просит: дерни разок тросом, дерево, говорит, подпиленное, чуток только не хватило — пила отказала. А мне что, жалко — трактором дернуть? Ну, завели трос, зацепили, дал я газ. Слышу, затрещало, повалилось. А он как закричит — я даже из кабины услышал... Выскочил — он лежит, мертвый уже. Прямо по виску садануло, и не мучился. Как он под ствол попал — почему я знаю? Я же в кабине сидел, ничего не видел. Следовательно говорит: ты выпимши был. Да какой же выпимши? Вечером, правда, взяли, было дело. Ну, утром

еще красного одну пополам разлили, починиться надо было. Это, что ли, выпимши? Может, не я, может, этот, которого придавило, — он был выпимши? Зачем же он иначе под ствол полез? Ты установи, разберись, легче легкого невинного человека засудить. Да кто разбираться будет? Разве им человек нужен? Им бы дело поскорее списать, чтоб не висело. А я — вот он, тепленький, тут сижу, делай что хочешь. Раз-два и готово — получай свое... Вот и скажи: виноват я? А, отец? Скажи — виноват?

Русанов приоткрыл веки: человека на чемодане слушали двое — пожилой мастеровой и совсем юный весь новенький, с иголочки, солдат. Лицо мастерового было странно знакомо Русанову. Плешь во весь лоб, глубокие, как врезанные ножом, морщины... «Дядя Михаил? Но откуда он здесь взялся? Мы же похоронили его недавно, — путано, сквозь боль и мусть в голове, шевельнулась недоуменная мысль. — А если это он на самом деле? Сейчас ведь для меня все возможно... Но, может быть, я сплю и он просто снится мне? Да какая мне разница, в конце концов? Пусть будет он, пусть будет другой. Это все очень сложно, и мне сейчас не справиться с этим, может быть, я после когда-нибудь пойму, он это или не он...»

— Я, парень, тебе не судья, — медленно, нехотя проговорил мастеровой. — Муторное это дело — судить-рядить, кто прав, кто виноват. Не повезло тебе, это точно, а так — кто ж знает, как все получилось. Я там не был, не знаю.

— Ты, дядя, инструкцию нарушил, — вставил солдат. — С тебя и спрос.

— С меня спрос? — человек на чемодане даже встал. Лицо его покраснело, стало злым и угрожающим, губы мстительно сжались. — Так... Я, значит, виноват. А скажи-ка, служивый может, ты знаешь... Почему это я всегда перед всеми виноват? А что, передо мной нет виноватых? Передо мной никто не виноват?.. Я вот вернулся из заключения — хахаль ее за столом сидит, да в моем же пиджаке. Это тоже я виноват? Она говорит — ты сам нас бросил, в тюрьму попал, денег не присылал. Да какие там заработки — ей что, неизвестно? А пацана моего они зачем на верхотуру выселили? Мешал, значит? При нем небось

не шибко погуляешь? «Папа, — кричит, — папа приехал!» А она на него — цыц, какой он тебе отец? И в этом я тоже виноват?.. Понятно, шум вышел, поуродовались малость, я тогда злой был — откуда только сила взялась? И опять я прямиком назад, три дня только вольных и было. Да мало драку — еще и деньги мне приписали: будто я у них деньги стащил, часы там, еще какую-то дребедень. Как они это доказали — до сих пор не пойму. Люди потом говорили — она чуть не весь район самогонкой залила. А мне чем отбиваться? Виноват... Виноват я в том, что на свет родился. Да и то меня об этом не спрашивали.

Дрожащими руками вытащил из смятой пачки сигарету, потом пошарил по карманам в поисках спичек и, не найдя их, встал. Стоя он оказался еще более пришибленным: мелкокостный, худой, неряшливо одетый, растопыренные уши торчат из-под замызганной кепчонки...

— Пойду на холодке покурю. Присмотри, отец, за чемоданчиком, ладно? Я вернусь.

«Сколько же сейчас, в эту самую минуту, рассказывается таких же историй на других лавках, на других вокзалах, и в поездах, и в иных местах, где люди сидят, не спят и чего-то ждут? — думал Русанов. — И у каждого своя единственная, никем и нигде неповторимая жизнь, своя печаль и поиски своего выхода, нужного только для него... Придет утро, и этого человека в кепчонке понесет куда-то дальше. И опять он будет протискиваться, спотыкаться, обижаться и протестовать, и чья-то жизнь пересечется с его жизнью, переплетется с ней, и другие судьбы неизвестно как и откуда вплетутся в этот узор, а дальше еще узоры, узлы, нити — и не найдешь этому ни начала, ни конца, ни причины, ни следствия. Так, суета да толкотня — где действительно по нужде, а где и просто по привычке или по бестолковости... Однако именно из этой толкотни вырастает движение, вырастает история, но вот как, почему — ни уследить, ни понять невозможно: ведь всегда видишь перед собой одного или другого, а всех не видишь, потому что всегда найдется что-нибудь более живое и более важное для тебя, чем движение всех... Наверное, нужно сделать шаг далеко в сторону и там сто-

ять и смотреть оттуда, и нужно списать со счетов одного и думать только о всех, без лица и без имени, и только так, видимо, и можно понять, что есть люди, куда они и зачем они. Но это редкий дар, он под силу лишь немногим; Моисей, или Петр Великий, или Наполеон потому, наверное, и стали тем, кем они стали, что они раз и навсегда решились забыть про судьбу одного и думали только о судьбе всех... А может быть это не дар — это проклятье? Как можно забыть про этого человека в кепчонке, когда он что есть силы кричит о том, что он есть? Какое ему дело до мировых движений, если его выгнали из дому, лишили сына и ни за что ни про что посадили в тюрьму? И есть ли вообще на свете мера между тем, огромным, и этим, крохотным, найдя которую человек стал бы наконец спокоен и счастлив?».

— На жалость бьет, — после долгого молчания сказал солдат. — Не люблю я таких. Не верю. Все у него виноваты, один он чист. Человека убил — не виноват. Жену изувечил — не виноват. Деньги спер — опять ни при чем. Больно много наворочено. И все случай да случай, да поклеп на него, на безответного. Ведь есть закон, есть люди — и все они против него? Свет, что ли, клином на нем сошелся, чтобы гонять его не по вине, а просто так, за здорово живешь?

— Может, и не врет, — не сразу, подумав, ответил мастеровой. — Нет, не врет, наверное. Кто мы ему с тобой, чтобы врать? Поговорили и разошлись... Без нужды человек редко когда врет. Ты лучше верь, чем не верь, — так спокойнее, так меньше ошибаться будешь.

— Верь? Без разбору, всем подряд?

— Да, пожалуй, всем.

— Ну, это ты отец, загнул! Если верить всем и каждому, это что же тогда будет?.. Вон у нас в деревне бабка одна есть. Старая старуха, но громкая! Как заведет, на другом конце слышно. Видения у нее, понимаешь, — то ангел ей явился, то Богородица, то икона у нее в углу слезами омылась... И ей верить прикажешь?

— Не знаю. Может, и ей.

— Чудеса, значит, допускаешь, отец?

— Мне чудеса не открывались, это я точно знаю. А насчет других... Некогда мне много об этом думать. Жизнь другим занята. Да и голова моя небольшая — всего не охватить... А только если бы всем верить — плохо бы не было. Все бы тогда стройно было. И небо, и люди, и мы с тобой.

— А если война?

— Что — война?

— И на войне надо всем верить? Врагу, предателю — им тоже надо верить?

— Война — другое дело. На войне убивают, каждый за свою шкуру дрожит — она у него одна. На войне, конечно, легче видно, что черное, а что — белое. Я это, парень, не на словах — на себе знаю: слава Богу, жив остался, хоть и весь продырявленный. Но и там место для веры есть. И там не все просто. Также другой раз не знаешь: прав ли человек, виноват ли... Да и война не мерка. Не человеческое это дело — война... И люди на войне — не люди...

«Нет, и голос знакомый, такой же медленный с хрипотцой, и говорит так же, как будто ему совсем неохота говорить, потому что говорить бесполезно, а нужно делать дело и побольше молчать, — думал Русанов, вновь уходя в свое. — Когда же я впервые услышал этот голос?.. Дядя Михаил... Зима с сорок первого на сорок второй. Новый год. Тогда он и дядя Степан лошадь привезли, убитую. Где-то достали полуторку, ночью ездили к линии фронта, тайком привезли, наверное, тогда эта лошадь и спасла нас, детвору. В ту зиму весь наш клан ютился в развалюхе на Таганке, в двух комнатухах. И сколько же нас было? Одной детворы — раз, два... восемь человек, и еще старшие, всех теперь и не сосчитаешь, наверное. Как размещались, как спали — разве сейчас поймешь? Туалет во дворе, заледеневшие окна, герань, керосинки в дощатом коридоре... Потом уже, летом, где-то за городом, его же приглушенный голос: «Тише собирайтесь, вы, клуши, детей не разбудите...». А утром странные, таинственные и, кажется, виноватые лица матери и теток, и в углу мешок и полные сумки картошки, в темноте, крадучись, выкопанной на колхозном поле. И такие походы повторялись и не раз и не два, а я каждый раз не спал, ждал их возвращения и боялся за них, и какое

же это было облегчение, когда наконец раздавалось топтание на крыльце, затем тяжелая возня в сенях и счастливый, приглушенный смех матери или кого из теток. Обычно они потом долго пили чай, шептались, и свет от керосиновой лампы тоненькой полосочкой пробивался под дверь, и, глядя на эту полосочку, добежавшую до моей кровати, я засыпал. Помню, пахло тогда хорошо в комнате — сосной, а из стены торчала пакля, которую я зачем-то обязательно дергал перед тем, как заснуть... Потом другое: гнетущая тишина за столом, все сидят и молчат, а бабушка плачет, вытирая передником слезы. С дяди Степана сняли бронь, завтра он идет на фронт. Жена его, не выдержав, вдруг начинает несвязно бормотать о том, что дядя Михаил с кем-то не так поговорил, что-то не сделал и вот теперь Степану надо идти, а сам-то он небось останется на своем заводе и с ним ничего не будет, а она теперь одна с тремя детьми, и чем это все кончится — одному Богу известно. «Что мог — я сделал. Однако не вышло», — отвечает дядя Михаил, и от этих слов тетки тоже начинают плакать. Бабушка потом часто собирала нас, детвору, и читала нам письма, которые приходили от дяди Степана. Некоторые из них мы знали наизусть. Я всегда сидел на полу, у ее ног, черная сатиновая юбка ее, вся в мягких складках, была совсем близко от моего лица. Но когда пришло последнее письмо и коробочка с его медалями — почему-то его товарищи решили распорядиться с ними именно так, — нам его не читали. Тетка потом пластом лежала два дня, а когда встала, у нее были иссиня-черные круги под глазами и остановившееся лицо. С этим лицом она и умерла в позапрошлом году... Помню также какой-то угрюмый вечер, потеки дождя на стекле, холод в комнате — топить еще не начинали. За столом сидит небритый грязный человек и жадно ест. Это наш близкий родственник, Иван-меньшой, нам говорят, что он с фронта, через день-другой ему надо обратно, эту ночь он переспит у нас. Никто его ни о чем не спрашивает, а он ни о чем не говорит, только ест. Бабушка опять украдкой смахивает слезы, и опять все говорят шепотом и что-то скрывают от нас, детей. Утром он исчез, а вечером пришли два милиционера и наш дворник, ходили по комнатам, стучали

сапогами и когда ушли, то увели с собой дядю Михаила. Семья оцепенела. На всю ораву теперь осталось только две рабочих карточки. Наверное, в эти два-три месяца, пока тянулось следствие, мы и заболели чахоткой — мать, ее младшая сестра и я. Нам с матерью удалось все залечить после войны, а сестра ее так и зачахла и умерла в двадцать лет. Причиной же всему был Иван-меньшой. Он, оказывается, уже давно дезертировал и где-то скрывался, постоянно меняя места и запутывая следы. Занесла же его нелегкая в тот вечер к нам, обсушиться и обогреться: утром он выпросил у дяди Михаила паспорт, чтобы без опаски устроить кое-какие дела в Москве, но попал в облаву, испугался и каким-то образом сумел сбежать из милиции, оставив там этот злосчастный паспорт. На обыске у дяди Михаила нашли чемодан зажигалок: о их тайком делал у себя в цеху, а жена его их продавала или меняла на продукты. Спасло его то, что он работал на ЗИСе, был высочайшей квалификации лекальщик, о нем даже дважды писали в «Вечерней Москве». Дали ему год или два условно, с вычетом из зарплаты. Семья вздохнула свободно. Но сколько я себя помню, никто из старших, даже бабушка, мамина мать, никогда ни единым словом не осудила Ивана-меньшого. Я же его видеть потом не мог, никогда не здоровался с ним, и мать, не решаясь спорить со мной, все-таки все время меня за это не одобряла... Так почему же у них — а это все были хорошие, трудовые люди, пили редко, жен не мучили, старуху мать чтили и уважали, — почему же у них никогда не возникал вопрос: где здесь грань, где мера, кто прав, а кто виноват? Или некогда было об этом думать — от смерти бы только спастись и своих спасти? Страшное тогда творилось в мире, творилось не по их вине, не по их согласию. А жить все равно нужно было...»

«Но что они сейчас хотят мне сказать? Зачем они опять собрались все вместе, как живые? — думал Русанов, постепенно теряя всякую связь времен. — А может, они и впрямь сейчас живые, и я среди них, и мастеровой только притворяется, что меня не знает, а на самом деле он дядя Михаил, и это он со мной разговаривает, а не с солдатом? Плохо только, что не каждый раз это возможно — разве что в бо-

лезни, а иначе они никогда не собираются все вместе и никогда не пускают туда, где они и есть живые. И если мне сейчас еще ненадолго полететь вниз, в глубину, я, наверное, смогу понять что-то очень важное, может быть, самое важное, а не пойму — они мне подскажут. Только вот как спросить это важное, чтобы было понятно и им, и мне?..»

— Пра-кли-наю! — раздалось вдруг в зале. Гудение голосов сразу смолкло, его сменила настороженная тишина. — Себя забывших, людей забывших — пра-кли-наю! Дымом пахнет, смрадом подземным... Не ждите добра, люди! В такси ездить стали... Парня от девки не отличишь!.. Услышьте голос истинный все, кто не глух от рожденья! Пра-кли-наю-у!

Посреди зала стоял худой, костлявый старик в разорванной рубашке. Глаза его горели, седые патлы стояли дыбом, он размахивал стиснутым кулаком и грозил всем, всему притихшему залу. Сейчас же появился милиционер, за ним двое дружинников с повязками на рукавах: они попытались увести старика добром, но он стал отбиваться, несколько раз вырывался у них из рук, потом упал на пол и забился. Пока его волокли к выходу, он истошно кричал и что было силы колотил ногами по бетону. Зал, очнувшись, неодобрительно загудел. «Полегче, вы, ироды! Человек ведь. Припадок у него», — слышались голоса, преимущественно бабьи. Потом вдалеке, в конце длинного коридора, глухо хлопнула дверь, и крики стихли.

Вернулся хозяин чемодана.

— Ну что, угомонился дед? Куда они его дели? — спросил солдат.

— В медпункт заперли. Его, оказывается, все тут знают. Он им каждый день такое представление показывает. У них и приказ есть — ни под каким видом его на вокзал не пускать. Да вот прохлопали. Старшина недоглядел.

— Большой дед?

— Большой. Полечат — выпустят, опять полечат — опять выпустят. Старшина говорит: так-то дед безобидный, пчелами занимается. Одно что и есть за ним — выступать любит. И все больше на вокзал его тянет. Все сказать чего-то хочет... Людей остеречь...

— Должно быть, к смерти готовится. С долгами рас-
плачивается, — сказал мастеровой.

— Не хуже нашей бабки деревенской, — встрепенулся
солдат. — Ну, так как же, отец? Что, по-твоему, и ему ве-
рить надо?

— И ему... Словам его не веришь — ему самому поверь...

— А чему в нем верить? Что в нем такое есть, чему ве-
рить надо?

— Печали его поверь.

— Чему?! Нет... Не понять нам с тобой друг друга, отец...

— Не грусти, парень... Когда-нибудь и ты поймешь.
Больно хорошо тебе сейчас живется — оттого и не пони-
маешь. Хуже станет — все поймешь.

— Думаешь, станет?

— Кто знает? На то и жизнь, чтобы в ней всякое было.

— А как ты думаешь, отец, война будет?

— Это ты лучше свое начальство спроси. Оно по долж-
ности знать обязано. А мы с тобой в этих делах ровня. Ни
ты не знаешь, ни я не знаю. И знать не можем...

Волнение в зале понемногу улеглось. Была уже глубо-
кая ночь, почти все вокруг спали, но Русанов все никак
не мог приладиться, чтобы заснуть.

В голове, несмотря на тупую, чугунную боль, все
время теснились обрывки каких-то давних неоконченных
разговоров, которые ему неизвестно почему приходилось
кончать именно сейчас. С дядьями он уже повидался, но
этого оказалось мало, вслед за ними пришел отец. Они
были очень разные с ним, с отцом, и до самой его смерти
между ними оставалось что-то недосказанное, о чем Ру-
санов-младший никогда не переставал жалеть и за что он
нередко потом казнил себя. Отцу все казалось, что сын
его вырос мямлей, без нужной жизненной силы, не спо-
собным никому дать отпор, способным только гнущься
и уклоняться. Сам Русанов-старший был по природе
мягкий человек, но время — гражданская война, трид-
цатые годы, другая война — заставило его считать это за
порок, за непростительную слабость, и он, когда впадал
в гнев или обиду, нарочито делался грозным, даже сви-
репым, кричал, топал ногами, тяжело сопел, но успока-

ивался в две минуты и потом долго был грустным, как будто стыдился за себя. Перед смертью он был особенно грустным, часами сидел в кресле, иногда плакал, не замечая и не отирая слез...

— Как ты будешь жить? — часто говорил он. — Бороться ты не умеешь, обиды прощаешь, а то и того хуже — не замечаешь их, подлеца подлецом назвать не можешь, даже руку ему подаешь, принципов у тебя нет...

— Есть, — отвечал Русанов-младший.

— Есть? Какие же?

— Один. Принципиальная мягкотелость.

— А! — взрывался отец. — Хочешь прожить жизнь без столкновений, без обид, без борьбы? Не выйдет! Оттого и жена от тебя ушла, от размазни. Согласен, баба была стерва. Ну, так и надо было с ней обращаться соответственно. А ты — образуется, обкатается... Ведь я знаю, ты до сих пор все ищешь в ней что-то хорошее, прощаешь, себя винишь... Ерунда все это! Есть люди негодяи, есть подлецы, есть разбойники с большой дороги, и это надо принять как факт, без всяких мудрствований. Искать в них что-то человеческое — напрасный труд, оно в них в таких мизерных дозах, что в лупу не разглядишь. Кому нужны твои оттенки, полутона, все эти штучки? Ты живешь, а не картинку разглядываешь! Но я же вижу... Как какое уродство — ты каждый раз одно и то же: авось пройдет, авось пронесет, а вдруг человек когда-нибудь повернется другой стороной. Да нет же у него ее, этой другой стороны! Его уничтожить надо, а не ждать, пока в нем проснется совесть: у него ее нет и не будет никогда...

— Уничтожать — это не мое. Мне не с кем воевать, отец.

— Ты так считаешь? Ты думаешь, у тебя нет врагов? Ты просто не замечаешь их. Ты слепой, слепой из принципа. Тебе так удобнее. Но все это до поры до времени. Тебе слишком спокойно живется, ты удачливый, у тебя пока все получается. Ты думаешь, всегда так будет? Нельзя прожить всю жизнь в тумане, в полусне, в смутных этих твоих мечтаниях. О чем ты там думаешь, я не знаю... Все это хорошо на полчаса, перед тем как заснуть, но с утра до вечера жить с этим — такую роскошь позволить себе безнаказанно не

может никто. Когда-нибудь реальность достанет тебя, и ты не будешь к этому готов — вот чего я боюсь и что мне, как отцу, не дает покоя. Жизнь не может быть без катастроф, без разломов, когда все рушится и летит в тартарары. И такие, как ты, при катастрофах погибают в первую очередь. Вы не знаете, что черное, а что белое, не можете взять чью-либо сторону, У вас нет сил ни нападать, ни обороняться...

Вот эта-то мысль и была тем, что они с отцом не сумели как следует прояснить, как следует обсудить до самого его конца. Почему глубоко начитанный интеллигентный человек отец был так уверен, что только четкое знание грани и есть то, что делает нас стойкими перед лицом больших и, как правило, трагических перемен? И почему полуграмотные дядья не знали и не хотели знать этой грани и тем не менее выстояли и вынесли все, любые перемены... Вот и этот мастеровой... Ведь и война, и все прошлое, и судьбы стольких людей — казалось бы, все против него, а он все-таки стоит на своем и, видимо, умрет с этим... Но, может быть, гибкость, податливость — это и есть как раз то самое, благодаря чему род человеческий неистребим? И почему основной пласт, самая толща его, а не поверхность, всегда выживает, несмотря ни на что?

...Уже давно Русанов начал чувствовать какое-то новое неудобство, но все никак не мог понять, что это. Наконец он все же с усилием открыл глаза и машинально провел ладонью по щеке — ладонь сразу стала липкой. Откуда-то сверху по виску его, по шее и дальше вниз, под рубашку, капля за каплей стекала зловонная густая жидкость. Медленно, чтобы не растревожить притихшую боль, Русанов посмотрел вверх. На оконном шпингалете висела сумка с продуктами: текло из нее. Как она там очутилась, он не знал: никаких движений рядом с собой вспомнить он не мог, видно, какое-то время был в беспамятстве. Беременная баба по-прежнему дремала рядом с ним, сложив руки на животе, однако сумки на коленях у нее уже не было. «Это ее сумка, — догадался Русанов. — А что же такое течет из нее? Запах рыбный. Селедка, что ли?»

Он осторожно тронул локоть соседки. Баба открыла глаза, мутно, сквозь дрему, посмотрела прямо перед со-

бой и опять опустила веки. Русанов еще раз тихонько толкнул ее в бок и показал на сумку, а потом на пятно, растекшееся у него на рубашке. Баба проследила за его движением, видимо, поняла, в чем дело, но одутловатое, в бурых пятнах лицо ее не выразило ничего, а глаза опять закрылись, так и не удостоив его ответным взглядом.

— Тетка, слышь, шла бы ты отсюда со своей сеledкой, а? Вонь от нее, да и человека, смотри, залила совсем. Кто ж так делает, голова садовая?.. — заметил мастеровой, наблюдавший со скамейки напротив всю эту сцену.

Баба снова открыла глаза, но ничего не ответила и ему.

— Вы уж, пожалуйста, уберите сумку, а то мне сидеть нельзя, — сказал Русанов, с трудом поднимаясь со скамейки. Ему надо было в туалет. Портфель он на всякий случай поднял с пола и поставил на то место, где сидел.

Когда он вернулся, портфель его стоял на полу, а баба лежала на скамейке, отвернувшись к стене и зажав продуктивную сумку в согнутых коленях. Мощный туго обтянутый зад ее не мог целиком уместиться на лавке — он горой нависал над проходом. Русанов поначалу как-то даже не понял, что произошло.

— Что, парень?.. Растолкаешь или тут, у лавки, пристроишься? — спросил его мастеровой.

— Н-не знаю... Как же так?..

— Да вот так... Не связывайся ты с ней. Плюнь... Животное... Ей хоть кол на голове теши... На-ка тебе газетку, постели. И располагайся на полу. А портфель под голову положишь... Недолго ждать-то осталось. Скоро утро.

— Пиджачок жалко. Совсем новый. Попачкается, — заметил человек на чемодане.

— Ну а что ему делать? Видишь, на ногах еле стоит. Ты, парень, никак болен? Горишь весь.

— Болен.

— Не дай Бог — тиф. Тогда плохо дело.

— Какой теперь тиф? Скажешь тоже, отец, — зевнул, потягиваясь, солдат. — Вошь-то всю перевели.

— Не торопись, солдат. Больно ты быстрый... Ее еще лет на сто хватит... Тебе, парень, далеко ехать? — спросил он, обращаясь к Русанову.

Русанов ответил.

— Жаль. Наш со служивым поезд раньше. А то бы могли... Да ты устраивайся, не стесняйся. Потом отряхнешься...

Русанов постелил на полу газету, положил под голову портфель и растянулся в рост. Последнее, что он помнил, — солдатские сапоги у самого своего лица и слой семечек на пыльном полу под лавкой, где не подметали, наверное, много дней. Потом он сразу провалился в черный колодец и уже не чувствовал больше ничего.

После он смутно вспоминал, что его вроде бы будили, втаскивали на лавку, будто чей-то голос бурчал ему в ухо: «Ты поглядывай, парень, не нравится он мне...» — и будто бы это был голос солдата, а мастеровой, кажется, попрощался с ним за руку; потом кто-то обнимал его, и голова его, нестерпимо болевшая даже во сне, лежала на чужом плече, и когда ему вдруг стало холодно и он начал дрожать, его сверху укрыли еще чем-то теплым, пахнувшим бензином и табаком, потом кто-то под руку вел его по перрону, подсаживал в вагон, что-то объяснял проводнику и пристраивал его в углу, у окна, и это был, кажется, тот человек в кепчонке, который тогда обижался на всех; потом и этот человек исчез, и поезд тронулся, и он опять то терял сознание, то вновь приходил в себя, стучаясь затылком о вагонную перегородку, когда поезд бросало и подкидывало на стрелках...

Совсем очнулся он уже незадолго до конечной своей станции. На опущенном столике перед ним стоял нетронутый стакан чая, а на плечи было наброшено вагонное байковое одеяло — видимо, позаботилась проводница. «Надо бы дать ей рубль, хлопотала ведь», — подумал Русанов и сунул руку в карман за деньгами. Но денег там не было. Он пошарил по всем карманам, проверил портфель — денег не было нигде, хотя все документы и билет лежали на том самом месте в бумажнике, куда он их накануне положил.

«Вот так приключение, — думал он. — Что же мне теперь делать? И как же это произошло? Сам обронил, или вытащили? Вытащили, наверное, — они ведь в бу-

мажнике лежали, а бумажник цел. Тогда кто же это был? Наверное, тот человек в кепчонке, больше некому. Значит, он все-таки вор? И мастеровой не прав, и я не прав, а прав солдат? И отец покойный тоже, значит, прав?.. Постой, постой, при чем тут отец? Нет, отец при чем, он очень при чем, он при чем, наверное, больше всех. Только я эту связь как-то выразить прямо не могу, голова очень болит... Но зачем же тогда этот проходимец возился со мной, укрывал ватником, сажал в вагон? Он ведь мог просто взять деньги и уйти, бросить меня — ему же так спокойнее было бы, меньше риска... А может, не он? Но кто же еще? А, да какая разница! Денег-то все равно нет... Ну а если и он — что это меняет, в конце концов? Черт с ним, как-нибудь обернусь, телеграмму дам, не пропаду же я из-за этого, в самом-то деле. Видно, не сладко человеку приходится, если идет на такое... Стоп. Опять все сглаживаешь? Опять оправдание ищешь? Ведь вор же человек... Вор, согласен, но мне-то, отец, откуда взять злобу, желание мести, ненависть, если у меня их нет? Я не могу измениться, таким я родился, и это происшествие тоже, наверное, ничего не изменит во мне... Ну а дальше как, Николай Ильич? Как же ты будешь жить дальше? Ладно, это, скажем, пустяк — мелочь. А если что крупное, отчего иной раз сама жизнь зависит? Опять зажмуришься?.. Не знаю, отец. Не знаю. Ничего я не знаю. Проживу как-нибудь... Говоришь, в полусне? Пусть в полусне. А ты действительно уверен, что нельзя прожить в полусне? В полусне хорошо: несет куда-то — ну и ладно, пускай себе несет. Картиночки мелькают, люди, дни... Ты не ругай меня, отец, — я иначе, наверное, не могу... А вдруг все-таки в конце концов я буду прав, а не ты? Когда-нибудь мы ведь еще поговорим с тобой об этом — да, отец? Мы еще должны с тобой об этом поговорить, обязательно должны... Пусть даже перед самой моей смертью, но должны...».

Поезд резко замедлил ход. Перед окном проползла водокачка, потом пакгаузы, потом потянулся длинный выщербленный перрон... Русанов нагнулся, взял портфель и побрел к выходу.

«И аз воздам...»

Из-за непогоды самолет задержали в пути, на каком-то незнакомом ему аэродроме, и, когда Николай Ильич Русанов, командированный в старинный сибирский город Н., прилетел на место назначения, было уже не утро, как полагалось по расписанию, а поздний вечер. Стюардесса сказала, что здесь уже зима — снег и двадцать градусов мороза.

На трапе, глотнув колючего свежего воздуха, он даже пошатнулся — видно, ослаб от нескончаемых этих суток, когда он то пытался заснуть в самолетном кресле или хотя бы вытянуть поудобнее затекшие ноги, то бродил, неприкаянный, по залам и коридорам аэровокзалов, заполненных истомившимися, как и он, от ожидания людьми. Скрюченные тела на лавках, табачный дым, хриплый предрассветный кашель в туалете — все это, слава Богу, было теперь позади.

Его никто не встречал. За спиной горели стекла аэропорта, впереди же лежала тьма, прошитая тусклой ниточкой фонарей, уходивших в город. Мело. Струйки сухого снега извивались и ползали под ногами, дымились над сугробами, носились взад-вперед по черному асфальтовому пространству.

Нужно было ждать автобуса. Это не радовало Николая Ильича, одетого по-московски легкомысленно. Озноб от бессонной ночи уже пополз по спине, и никак нельзя было унять мелкую дрожь в руках, не отпускавшую его, как в тяжком похмелье. Но ему повезло. Присмотревшись, он все же заметил в дальнем углу площади машину, мотор которой был включен, судя по белым облачкам дыма, клубившимся над багажником. Водитель спал — сквозь заиндевшие стекла угадывалась его голова, отвалившаяся на сиденье. Русанов открыл дверцу, водитель выпрямился и протер глаза. Столковались на пятерке.

Всю дорогу водитель чему-то хмурился и молчал, но Русанов был только благодарен ему за это: не хотелось ни о чем спрашивать, ни тем более отвечать на вопросы. В машине было тепло, дорога бежала ровно, глаза видели только бесконечный темный коридор в лесу и снег, летящий наискось сквозь свет передних фар.

Город занесло снегом под самые крыши. Новые каменные дома, открытые всем ветрам, одиноко торчали на перекрестках, а вокруг них плотно и крепко стояли старинные купеческие строения в два, иногда три этажа — неказистые, насупленные, но живучие, несмотря на весь свой порядком одряхлевший вид. Была в этих облупленных лабазах какая-то упорно хранимая идея, идущая издалека и, видимо, еще не исчерпавшая себя.

Номер, отведенный ему, оказался чистым и даже уютным. Внизу под окном лежала белая заснеженная площадь и посреди нее — маленький сквер, обнесенный решеткой. Метель порывами вздымала столбы снега и гнала их сквозь сквер все дальше и дальше — в темные устья улиц, где местами еще теплились огоньки зашторенных окон... Несмотря на усталость, Русанов чувствовал, что сразу не заснет. «Чаю, что ли, выпить. Или водки?» — подумал он. Швейцар внизу сказал, что на другой стороне площади работает ресторан и, возможно, его еще пустят.

Тяжелая дверь, отделанная белым металлом, подалась не сразу. Метель и здесь намела целый сугроб, и ему пришлось протискиваться в узкую щель, борясь с ветром, норовившим стукнуть его дверью по спине. Пахнуло теплым, застойным запахом кухни. Все было как всегда: вестибюль, хихикающие девицы у телефона-автомата, бравый покачивающийся лейтенант под руку с дамой, обмякшие сослуживцы, заботливо поддерживающие друг друга за плечи...

Чаю, конечно, не дали — не было. Пришлось выпить водки. Русанов сидел и блаженствовал, прислушиваясь, как живительное тепло разливается по жилам. «И чего меня все носит? — думал он, но думал уже лениво и без раздражения. — Сидел бы сейчас дома... Ведь мне теперь везде одинаково — на Неглинке ли, в Мангышлаке или здесь, в этом заснеженном сибирском городе, где я впер-

вые в жизни. Нового мне, вероятно, ничего уже не узнать, и нет смысла надеяться на то, что жизнь что-то подскажет, куда-то забросит, где все будет по-другому — просто и ясно. События, города, люди — они, как это ни грустно, ни при чем. Пора бы, кажется, с этим смириться. Сорок скоро». Русанов вздохнул и провел ладонью по уже заметной проплешине в волосах.

Когда начали гасить свет, он поднялся. В гардеробе образовалась небольшая очередь. Русанов рассеянно смотрел, как маленькая сухонькая старушка в очках, не выпуская папиросы из зубов, металась от стойки к вешалке и обратно, стараясь сразу захватить в охапку как можно больше шуб, шинелей и шапок. Лицо ее было коричневым, с желтыми белками глаз, как у всякой давно и много курившей женщины, морщинистую шею аккуратно облегал белый кружевной воротничок, на плечах болталась какого-то странного вида кофта, зашнурованная крест-накрест, наподобие венгерки. Передав свой номерок, Русанов машинально нащупал другой рукой в кармане мелочь и протянул ее старушке.

— Зачем же вы обижаете? Этого не нужно, — вдруг затрясла головой старушка, вскинув на него свои выпцветшие глаза. — Если хотите поблагодарить, у нас книга благодарностей... Нет-нет, уберите, пожалуйста, — добавила она, заметив, что оторопевший Русанов все еще стоит с протянутой рукой.

За спиной его раздался чей-то короткий смешок.

Получилась неловкость. Русанов чертыхнулся в душе: поди знай, вот так, ни с того ни с сего задел человека, а ведь и в мыслях не было. Пробормотав что-то невнятное, он напялил пальто и побрел к себе.

«Пустынники. Святители... Постом и молитвою... — ворчал он, поднимаясь по лестнице в номер. — Тоже мне... Протопоп Аввакум в юбке... Эх, нетерпимость российская! И ведь самой небось не весело, и я как оплеванный...»

Уснул он сразу, едва донеся голову до подушки...

Весь следующий день Русанов провел в беготне по учреждениям, имевшим отношение к его командировке. Опыт и выработанная годами хватка позволяли ему не тра-

тить лишних нервов и спокойно, не особенно вникая даже, делать свое привычное дело. Уже с порога он знал, кому что сказать, кому улыбнуться, когда сделать подчеркнутый серьезный вид или просто стерпеть очередную глупость. Конечно же, одного нужного человека не было на месте, другой не отвечал на телефонные звонки, третий просто так, на всякий случай, разыгрывал недоумение и никак не хотел понять, что от него требуется. Но к концу дня все так или иначе удалось наладить, и дела пошли сами собой — не медленно и не быстро, а нормально, то есть как всегда, когда в устоявшуюся рутину вдруг неожиданно включается новый импульс и громоздкая машина, нехотя, сопя и ворча, начинает постепенно набирать обороты. Важно одно — начало: потом машину уже никто остановить не сможет и она сама, через ахи и вздохи, отнекивания и проклятья, но доведет начатое дело до неизбежного конца.

Вчерашняя старуха, однако, не выходила у него из головы. В душе остался какой-то осадок, недовольство собой, и Русанов знал, что не избавится от него до тех пор, пока чем-нибудь не загладит свою неловкость.

Вечером в ресторане, расплатившись по счету, он долго топтался в вестибюле, дожидаясь момента, чтобы у вешалки никого не было. Наконец вестибюль опустел. Старушка не замечала его. Она сидела на стуле, курила и смотрела в одну точку. Русанов кашлянул.

— Извините меня. Я тут вчера допустил некоторую бестактность...

— Вчера? — недоуменно переспросила старушка. — Ах, да... Я не сразу вас вспомнила. Да нет, я не сержусь. Не вы один так. Я привыкла... А вы, наверное, приезжий?

— Приезжий. Из Москвы.

— Из Москвы?.. У меня там дети — дочь и сын.

— Взрослые?

— Взрослые. Трое внуков. Старший школу кончает...

А вы надолго к нам?

— Не знаю еще. Как дела пойдут. Буду, наверное, каждый вечер ходить сюда ужинать.

— Милости просим. У нас здесь не так уж плохо.

— Не плохо. Чаю вот только нет.

— Да, чаю нет, — согласилась старушка. — Вернее, то он есть, а то нет. Я и сама не знаю почему. А вы правда чаю очень хотите?

— Я, видите ли, водки выпил. Но от чаю бы не отказался. День был очень хлопотливый, — признался Русанов.

— Хотите, я вас к себе пригласю? Чаем вас угощу, а вы мне про Москву расскажете... Я здесь недалеко живу.

— А это удобно?

— Удобно, удобно. Подождите, будьте добры, минут пять. Мы сейчас закрываем.

В переулке, куда они свернули с площади, было темно, и снег здесь не убирали с неделю, не меньше. Морозило, как и вчера, но метель улеглась. Русанов шел след в след за старушкой, глядя в ее согнутую спину. Серый брезентовый балахон на ней топорщился углами и издавал на морозе жестяные звуки.

Старушка жила в приземистом белом домишке с фундаментом почти в человеческий рост. Вход был со двора, где к стене дома прилепилось деревянное крыльцо с покосившимися стойками и скрипучими ступеньками. При их приближении с крыльца шарахнулись в разные стороны кошачьи тени, но отбежали недалеко и там уселись в кружок, как будто ожидая чего-то. «Заждались бедняги. Сейчас, сейчас», — закивала головой старушка, обивая о ступеньки снег с валенок.

Она провела его в крохотную комнатенку, обклеенную светлыми обоями. Половину одной стены занимала изразцовая печь с медной заслонкой, начищенной до блеска. На полу у печки лежала поленница дров, сложенных так, как дети складывают спички. Выцветший абажур на лампе, кожаный продавленный диван, аккуратно застеленная кровать... В углу в рамках висели две фотографии: старинный, в рост, снимок молодой женщины в белом платье, опирающейся одной рукой на туалетный столик, заставленный цветами, и двоих малышей — мальчика в матроске и девочки с пышным бантом, — чинно, рядышком сидевших на одном стуле.

Посреди комнаты, прямо на обеденном столе, лежал толстый кот. При их появлении кот поднялся, зевнул и,

выгнув спину дугой, начал медленно, с наслаждением, скрести когтями по скатерти.

— Брысь, баловень, не видишь — гость у нас, — крикнула на него старушка.

Кот грузно шлепнулся на пол, а затем перебрался на диван, на мягкую плюшевую подушку, и там затих.

— Сейчас я чайник поставлю... Вас как зовут? Николай Ильич? А меня Наталья Алексеевна. Вы пока располагайтесь, я быстренько, надо зверей накормить, замерзлись небось, пока меня ждали...

Старушка собрала какой-то кулечек и исчезла. Русанов прислонился спиной к изразцам, прижал занемевшие ладони к их гладкой поверхности. Тихо тикали часы. Старые стулья и белые, недавно, видимо, выстиранные занавески издавали запах, знакомый с детства, но давно уже потерянный в сутолоке жизни. «Когда это было? — думал он. — До войны? Нет, и в войну, и после нее тоже. А когда же это забылось? Вот и не заметил когда. Наверное, пока мама была жива, что-то похожее еще было. А теперь уж только вот так, случайно, можно натолкнуться на этот запах и все вспомнить. Еще немного, и вообще уже никто не будет знать, что было время, когда в домах пахло так — чистотой, бедностью, высохшим деревом. И само это время будут знать тогда только умом и по книгам...»

Глухо стукнула входная дверь: старушка вернулась.

— Заскучали, Николай Ильич? — спросила она, входя в комнату. — Сейчас будет чай готов... Спасибо соседям, печь натопили. Милые люди, и котов моих терпят, не гоняют никогда.

— Много их, ваших подопечных?

— Когда как. Они ведь все бродячие, одни приходят, другие уходят. За всеми не уследишь. А тут еще ловить их стали, варвары. Скажите, ну кому они мешают?.. Еще два пса приходят, бездомные. Но я их кормлю отдельно, чтобы с кошками не дрались.

— Не накладно, Наталья Алексеевна, кормить такую ораву?

— Как вам сказать... Самой мне, в общем, хватает.

— Вам, наверное, недолго до пенсии?

— Недолго? — старушка усмехнулась. — Ценю, голубчик, вашу деликатность... Мне, Николай Ильич, семьдесят два, и пенсии я никогда не получала. Да у меня и прав на нее нет.

— Как то есть?

— Да вот так. Все бумаги, будь они неладны. Вечно у меня с ними одни неприятности. Прямо рок какой-то. Работала я всю жизнь, еще девчонкой начала, а никаких бумаг сохранить не сумела. Вот и получилось, что уж и помирать пора, а у меня стаж год-два и обчелся.

— А раньше где вы работали, Наталья Алексеевна?

— Где угодно. Пела, например, в Курской опере. В гражданскую войну там была опера, не знаю, как сейчас. Преподавала языки. Работала секретаршей, счетоводом... И всякий раз как-то так выходило, что я или бумагу какую нужную потеряю, или сама в ней такое напишу... Правда-правда, Бог знает что иной раз напишу. Одному начальнику, помню, написала на его бумаге: «Как же вы так можете, нехороший вы человек?!» Ну, меня и выгоняли, конечно, отовсюду. Потом уж сама решила — подальше от бумаг, не для меня это. В войну старые парашюты порола — знаете, есть такая работа? Нет? А я несколько лет этим жила... Мороженое на улицах продавала, городской бульвар подметала. Много, в общем, чего было...

— И никаких документов не сохранилось? Ни следа?

— Ни следа... В тридцать пятом, когда в одну ночь пришлось из Ленинграда выселяться, все бумаги там остались — забыла в суматохе... Уже здесь, после войны, дом наш сгорел. Сама еле выскочить успела... Потом архив отсюда в другой город перевели. Я писала — не ответили.

Старушка разлила чай по чашкам, достала из шкафа сахарницу и варенье, пододвинула поближе стулья.

— Садитесь, прошу вас... Вы курите?

— Да. Если позволите, конечно.

— Позволю?! Да я сама смолью с самой революции. От этого, наверное, и голос совсем пропал. А когда-то, не поверите, я хорошо пела. Фотографию на стене видите. Это я после спектакля. Господи, неужели это все было?

— Очень жизнь бросала?

— Очень — не то слово. Швыряла, как хотела. Да все больше об асфальт, со всего размаху... Время такое было, Николай Ильич. Вы-то уж небось ничего этого не застали.

— Кое-что застал.

— Ну, тогда сами знаете. Никто ведь не был себе хояин... Первая война с немцем. Потом гражданская, голод, тиф. Все эти перемены: десять миллионов туда, двадцать сюда да еще двадцать — обратно. Ну, и я среди них, конечно. Потом опять немец, будь он проклят... И ныне, и присно, и во веки веков.

— Аминь.

— Аминь. Вы верующий?

— Нет... Лба, во всяком случае, ни разу в жизни не перекрестил.

— Я и сама уже не помню, когда последний раз в церкви была. Наверное, когда муж меня бросил. А было это сорок с лишним лет назад...

Русанов еще раз обвел глазами комнату: ни иконы, ни чего другого из духовного обихода в ней не было.

— Странное было время, — продолжала старушка, разминая побуревшими от никотина пальцами плохо набитую папиросу. — Как будто Господь-Бог вообще забыл о людях. Живите, мол, как хотите... Может, насчет миллионов у Бога и были какие-то высшие идеи, которых нам не понять, а уж об одном-то человеке Он точно забыл. А отвернувшись от него, Бог и его от всего освободил. Какая тут могла быть воля, решимость, какие правила, какие поступки, когда в одну ночь подхватит тебя неведомая сила и несет неизвестно куда: то ли в преисподнюю, то ли к лучшей жизни — кто тогда знал? Стихия — разве кто в ней виноват?

— Кто-то виноват, наверное.

— Нет. И не ищите — напрасный труд. Никто не виноват... Это уж теперь, когда все понемногу наладилось, человек опять сам за себя отвечать начал. А тогда...

Прошло, наверное, часа два или три, чайник давно остыл, старушка все чаще стала замолкать, иногда даже на полуслове. Кот неодобрительно косился на них и не раз уже демонстративно чихал, намекая на дым, столбом стоявший в комнате.

Пора было подниматься. Но уходить не хотелось. Тепло от печки укутывало его. Прислушавшись, можно было уловить в тишине какие-то скрипы, шорохи, кряхтенье, которыми всегда наполнен дом, спящий глубоким сном. Луна светила за окном, разложив по снегу длинные синие тени от дворовых построек... «Старая, может, ты так, сидя, и заснешь? Я бы еще тогда посидел немного», — подумал Русанов.

— Чайник подогреть, Николай Ильич? — вдруг встрепенулась старушка. — Бога ради, извините. Возраст, что поделаешь.

— Наталья Алексеевна, я все хочу спросить вас... Почему вы с мужем разошлись? Простите за вопрос...

— Да нет, почему же? Это все давно уж отболело... А вот ответить и сейчас, наверное, толком не смогу. Он был путейский инженер. Много ездил, встречал разных людей. Однажды прислал телеграмму в том смысле, что, дескать, встретил наконец свою судьбу, и не вернулся. Вот я и осталась одна с двумя детьми на руках. Какое-то время он помогал, а перед войной исчез совсем. Потом уж, стороной, до меня дошел слух, что он и с новой женой разошелся, начал сильно пить и умер... Знаете, не верю я во всю эту беготню туда-сюда. Любовь, конечно, любовью... Да не ужился с одной, и с другой вряд ли уживешься...

Русанов наконец встал. Старушка проводила его на крыльцо.

— Приходите еще, Николай Ильич. Я почти всегда дома. Кроме работы, я никуда не хожу, и у меня мало кто бывает. Девушка одна тут ходит ко мне, отогревается. Да пару раз в неделю ребятишки с нашего двора собираются, я их языкам учу... Правда, приходите еще, прошу вас. Ведь про Москву-то вы мне так и не рассказали...

Назад Русанов шел по узенькой цепочке следов, ими же и протоптанных еще в начале ночи. Над городом в полную силу светила луна. Свет ее блестел в снежных крышах, утыканых печными трубами, искрился на чистой, никем пока не тронутой проезжей части улиц, дробился на осколки в темных окнах безмолвствовавших строений. Изредка тишину нарушал далекий собачий

лай, да совсем рядом, у вокзала, негромко пересвистывались маневровые тепловозы...

Русанов стал бывать у нее почти каждый вечер. Он приходил, незаметно совал куда-нибудь плитку шоколада, — как выяснилось, старушка питала слабость к шоколаду, — и устраивался в угол дивана, поближе к печке. Кот, признавший в нем наконец своего, взбирался к нему на колени и сейчас же, не дожидаясь, пока его погладят, заводил свою нехитрую песенку, которой хватало на весь вечер. Русанов старался зря не шевелиться, чтобы не тревожить зверя, — кот этого не любил.

Говорили они обо всем, что взбредет в голову. Старушка охотно перелистывала страницы своей жизни, Русанов же больше предпочитал слушать, не перебивая и не понуждая ее.

Детская в их петербургской квартире... Степенный, сановитый директор гимназии в парадном вицмундире, его торжественная речь перед обмирающими от восторга выпускницами... Тряская теплушка времен гражданской войны, случайные попутчики, сгрудившиеся вокруг единственной крошечной коптилки... Угрюмый управдом, дотошно отделяющий правых от виноватых в очередной квартирной склоке... Исхудалое лицо сына, тяжело опирающегося на палку: Господи, жив, отвоевался, принят в институт — ну что же еще можно было вымолить у судьбы? Ничего больше не надо, только бы было все, как есть, и не нужно искушать судьбу никакими другими мольбами...

— Николай Ильич, — неожиданно вдруг спрашивала она, — почему сейчас ругают Куропаткина? Уверяю вас, очень достойный был человек. В конце концов, что он мог сделать. Решал же государь, не он. Вот Стессель — другое дело. Этот так отвратительно вел себя...

И они начинали всерьез обсуждать достоинства и недостатки того и другого. «Бог ты мой, — спохватывался Русанов, — ну какое кому сейчас дело до этого Куропаткина? Куда ты завела меня, старая?» Но он уже и сам не мог высвободиться из этого потока жизни без границ и без времени, где нельзя было разобрать, что же было в начале, а что в конце, что уже ушло, а что еще будет...

Однажды Русанов пришел, когда еще не начало смеркаться: по случаю выходного дня старушка пригласила его зайти пораньше. В комнате кроме нее была еще милостивая женщина лет тридцати, может быть, меньше. Она сидела на полу, у раскрытой заслонки, и смотрела на огонь, трещащий в печи. При его появлении женщина смутилась, быстро поджала под себя ноги и вскочила, встряхивая сор с юбки и сладоней. Рукава цветастой рубашки доходили ей до запястий, ворот у шеи был раскрыт, обнажая смуглую кожу и худые ключицы. Черты лица у нее были, может быть, и неправильными, несколько островатыми, но их искупали глаза — большие темные глаза с золотистыми крапинками в зрачках.

— Мария Викентьевна. Мой большой друг, — представила старушка. — Ах, Николай Ильич, какой голос, какой голос! Вот только учится никак не хочет.

— Опять вы за свое, Наталья Алексеевна? И как вам не надоест? — улыбнулась женщина. — Поздно мне уже. А ей я все еще девочкой кажусь, — добавила она, обращаясь к Русанову.

В голосе ее, однако, была какая-то тень вопроса, и по тому, как широко раскрылись ее ресницы, а в глазах промелькнуло нечто похожее на тревогу, он понял, что ему сейчас были бы благодарны за любую, пусть даже самый неуклюжий жест несогласия. Но он промолчал, вежливо улыбнувшись, и тотчас же взгляд ее потух, а губы вытянулись, приобретя какой-то горьковатый изгиб. Русанов заметил, что по шее у нее пробежала первая полоска, еще не резкая, но и не случайная тоже.

Поначалу разговор как-то не клеился, Русанов даже стал жалеть, что пришел именно сегодня. Неожиданно в голове промелькнула спасительная мысль.

— Наталья Алексеевна, а что, если нам устроить небольшой праздник? Извините меня, я сейчас. — И, не давая хозяйке возможности возразить, он схватил пальто и выскочил на улицу...

Кутеж удался на славу. Старушка расстелила белую хрустящую скатерть, поставила на стол рюмки, аккуратно разложила возле них тщательно вычищенные

столовые приборы. Две тяжелые зеленые бутылки, чуть припотевшие с холоду, были торжественно воздвигнуты посреди стола, и серебро их пробок засверкало царственным блеском, сразу придав убогой комнатушке значительный и праздничный вид.

Обе женщины оживились и приободрились. Наталья Алексеевна успела даже переодеться: вместо неизменного казакина на ней теперь была кофточка с отложным воротничком, на шее появилась цепь с какой-то старинной побрякушкой, волосы были гладко причесаны на висках и собраны в узел на затылке. Маша суетилась, переставляла тарелки, долго выбирала место, чтобы как-то позаметнее пристроить вазу с конфетами. Она откровенно радовалась новому человеку и тому, что все это происходит, в сущности, из-за нее и, возможно, даже ради нее.

Русанов был в ударе. Он хорошо говорил, рассказывал какие-то забавные истории из своей жизни, легко, без надсады посмеиваясь над собой и над другими. Это было заразительно и вместе с вином немного кружило голову: угрюмый зимний день светел, обшарпанные стены раздвигались, и казалось, что все, что было, они так или иначе преодолели, и все, что еще будет, преодолеют тоже. Маша смеялась, иногда по-детски хлопала в ладоши, а когда он замолкал, сейчас же просила его рассказать что-нибудь еще. Русанов догадывался, о чем она думает, да и нетрудно было догадаться: дескать, вот, где-то все же живут люди, у которых все время что-то происходит, веселое ли, грустное — неважно, важно, что никак не похожее на тот тягучий, монотонный скрип колеса, который и есть ее жизнь. Иногда в нем просыпалась совесть, и тогда ему хотелось сказать: ради Бога, не верьте, все это ложь, вы милая, обаятельная женщина, но нигде ничего не происходит, это все писатели выдумали или болтуны вроде меня, все и везде живут так же, как и вы, и нигде нет ничего другого.

Вьяснилось, что Маша разведена, что мужа своего она не любила и вышла за него замуж в каком-то помрачении рас-судка — от тоски, должно быть, а еще потому, что все вокруг уже давно повыходили замуж. Русанову хотелось еще что-

нибудь узнать про нее, но старушка постаралась побыстрее прекратить этот опасный разговор, понимая, что он может далеко завести и, чего доброго, спугнуть то настроение, которое так счастливо возникло сегодня... К тому же и шампанское уже начало оказывать свое действие. Старушка даже попробовала голос, спела две-три фразы, но сейчас же сконфузилась и, сокрушенно покачав головой, будто укоряя себя за такое легкомыслие, обратилась к Русанову:

— Николай Ильич, попросите Машу спеть. Она вам не откажет. Честное слово, это редкое удовольствие. И гитара у меня в порядке, настраивать не надо.

Гитара действительно была в порядке. Маша долго перебирала струны, видимо не решаясь, на чем остановиться. Потом тихо, словно издали, надтреснутые звуки и низкий глуховатый ее голос стали наполнять комнату... Русанов сразу узнал эту вещь: суровый, временами даже мрачный его отец, когда, бывало, слышал ее, всегда плакал, уронив голову на руки и не скрывая слез.

*Новых я песен совсем не пою.
Старые петь избегаю...*

— Нет, лучше не ворошить, не тревожить прошлое, — говорила она. — Поменьше прошлого, ради Бога, поменьше, иначе нельзя жить, а жить нужно, и до конца еще не близко... Но куда человеку деться от него, от своего прошлого? Разве это кому-нибудь когда-нибудь удалось?.. Отцу не удалось. А мне? И мне тоже не удалось... Да, все так. К сожалению, все это так... Сначала был отец, теперь, я... Потом будет мой сын или кто-то, еще не родившийся на свет... Так было, так есть, и так будет во веки веков... И так, наверное, и должно быть...

— А ведь не знаете небось, Николай Ильич, чья это вещь? — когда она кончила, спросила старушка, прикладывая платочек к набухшим старческим векам.

— Представьте себе, Наталья Алексеевна, знаю. Варя Панина.

— Да неужели знаете, голубчик? Значит, и сейчас еще ее знают? Господи, как же хорошо это слышать! Помню... Э, да что там — помню... — пригорюнилась она.

Маша опять тронула струны, опять ее низкий голос наполнил комнату... Одна за другой оживали почти забытые ныне песни, и волнение все больше и больше охватывало его. О, какие же, оказывается, силы жили в душе этой худенькой, угловатой, похожей скорее на подростка женщины! И сколько же их было, этих сил...

Уже в дверях, целуя ей руки, он сказал:

— Спасибо вам. Вы даже не представляете себе, какое вы мне доставили наслаждение...

— Вам правда было хорошо?

— Правда. Очень.

— Вы бы меня украли, Николай Ильич, приведись случай?

— Украл бы.

— И в медвежью шубу бы завернули?

— Завернул бы, запахнул бы, в сани бросил — а там...

— Николай Ильич, это запрещенный прием! — засмеялась старушка, прибиравшая в этот момент со стола. — Мы здесь люди доверчивые. Так и до греха недалеко.

— Украдут ее когда-нибудь у вас, Наталья Алексеевна. Помяните мое слово.

— Некому здесь красть, — не очень весело улыбнулась Маша. — Ладно, все это глупости. Вы лучше скажите мне, у вас много дел завтра?

— Да какие мои дела, Мария Викентьевна? Все дела — сидеть и ждать, пока здешнее начальство одну бумажку подпишет.

— Пойдемте со мной завтра на лыжах, а? Снегу уже много. И день, наверное, будет солнечный.

Они шли, держась края леса. Не было ветра, и солнце слепило глаза так, что приходилось отворачиваться, но когда лыжня врезалась в чащу или ныряла в овражек, то становилось зябко и неприятно и хотелось поскорей выскочить обратно, на свет. Лес молчал, иногда только, встревоженная их приближением, с кустов с треском срывалась птичья стайка, обсыпая их затылки и плечи сухой снежной пылью. Лицо горело, и Русанов ясно ощущал, как холодом вымывало из груди всю муть, хрип и копоть, накопившиеся за жизнь, вытравить которые нельзя уже

было даже сулемой. Никакие мысли не занимали голову, и взгляд, не задерживаясь, скользил по кустам с повисшими на них жухлыми листьями или гроздьями красных ягод, по низким, отяжелевшим от снега еловым веткам, по заячьим следам, перескакивавшим через лыжню.

Сначала Русанов старался держаться поближе к ней, но чужие ботинки плохо сидели на ногах, да и ходок он был не ахти какой, так что довольно скоро он стал отставать, и ей приходилось время от времени замедлять шаг. На какой-то полянке она усадила его на толстый пенек, заставила разуться и, присев на корточки, принялась быстро-быстро растирать его онемевшие ступни, а потом долго еще мудрила над его ботинками, с силой дергая то за одну, то за другую тесемку. Русанов смотрел на густые волосы, сбившиеся ей на лицо; снег на них не таял, и он, не удержавшись, осторожно провел по ним раз и другой ладонью, стряхивая снежную проседь. Она не подняла головы, только вся как-то сжалась на мгновение.

На одном из поворотов лыжня круто свернула в сторону и вскоре вывела их к старому городскому кладбищу, прямо к проему в его покосившейся ограде. Они пошли по березовой аллее, в конце которой виднелась белая церквушка и на ней крест, поблескивавший на солнце. Внезапно Маша остановилась.

— Вот здесь Наталья Алексеевна и просила положить себя, — сказала она, указывая на просторную могилу, обнесенную чугунной решеткой. Там уже лежал один камень. — Отец ее здесь похоронен. В японскую войну его тяжело ранило. До дома не довезли, здесь в госпитале и умер.

— По церковному наказала похоронить?

— Нет. Об этом она ничего не говорила. Наверное, ей это все равно. У нее ведь... как бы это сказать... все счеты с самой собой, не с Богом. И не с людьми... Вы знаете, Николай Ильич, что она со своих учеников денег никогда не берет? Ей, правда, и спасибо за это никто не говорит. Люди злые: она к ним так, а они ей вслед — полоумная, чудит, дескать, старуха. Еще котов ее гоняют, ей назло. Да ей все это безразлично, вот только за котов обижается иногда...

Им захотелось есть, и неподалеку они нашли маленькую закусную, где торговали пивом и сосисками. Народу в нее набилось сверх меры: шофера с проходившего мимо тракта, строители, какие-то опухшие личности, с утра, видимо, не отрывавшиеся от стойки. Сначала его свитер и очки привлекли внимание и даже, судя по одному-другому слову, пущенному в спину, вызвали некоторую враждебность, но Русанов по опыту знал, что у пивной довольно своеобразный принцип деления на своих и чужих, и не сомневался, что через пару минут по каким-то ей одной известным признакам пивная отнесет его к своим и сейчас же забудет о нем. Кое-как пробившись сквозь этот рык, гам и клубы пара, они наконец отыскали свободное место у окна в углу.

— Вы их не боитесь? — наклонившись к нему, шепотом спросила Маша.

— Кого?

— Ну, вот этих всех...

— Нет. Не боюсь.

— А я боюсь.

— Враждуете?

— Нет, я не вражду. Я просто боюсь. Иной раз такое вот страшилище схватит за руку... Вы, наверное, вообще ничего не боитесь, да?

— Если бы так, Маша... много боюсь... Сейчас вот вас боюсь.

— Меня? Почему?

— Потому что вы мне очень нравитесь, а мне через два месяца сорок, и скоро надо уезжать, и вас уже больше никогда со мной не будет.

Он испугался, что она сейчас выскочит из-за стола и убежит, — так, в пружину, подобралось все ее худенькое тело. Но она только накрыла его ладонь своею и сказала, вернее, прошептала, не глядя на него:

— Не нужно, Николай Ильич. Пожалуйста, не нужно... А то я сейчас заплачу. И вам будет за меня стыдно...

Вечером они с Натальей Алексеевной ужинали вдвоем — Маша была занята на работе. Русанов впал в меланхолию, невпопад отвечал на вопросы, и старушка

скоро бросила все попытки вернуть его в прежнее, покойное и ровное, состояние духа. Они уже довольно долго молчали, думая каждый о своем, когда она вдруг сказала:

— Я хочу вас попросить, Николай Ильич... Уважьте старуху... Не заходите слишком далеко, а? Я ведь знаю ее. Мучиться потом будет — ужас просто.

Русанов встрепенулся. Незачем было притворяться: старушка сейчас читала в нем, как в себе.

— Наталья Алексеевна... Вы мне лучше вот что скажите... — ответил он, запинаясь. — Что же мы всегда так: нельзя, опомнись, что потом будет? Ну нет сейчас ничего, ну будет что-то. Что плохого в этом? Вы-то откуда знаете, как ей лучше? Даже и не мне, а ей?

— А, дорогой мой... Вы там, а ей здесь жить. Жить с тем, что здесь, а не там где-то. Хочешь не хочешь, а с этим нужно свыкнуться, и чем меньше мечтаний, тем легче свыкнуться... Мало ей своего, еще и вы камнем на душу ляжете. Да не дай Бог навсегда ляжете — вот что тяжелее всего.

— Не доводилось мне еще ничего подобного встретить, Наталья Алексеевна... Поверьте мне... Не доводилось...

— Красивая женщина, спору нет. Ссылные поляки здесь когда-то жили. Их корень... Да разве в этом дело? Нет, Николай Ильич, хоть и полюбила я вас, а как хотите — пора вам уезжать. Иначе, чувствую, все это добром не кончится... Очень прошу вас, уезжайте.

Потом Русанов сидел у себя в номере. На улице валил снег. Верхний свет он не зажигал, и тусклое пятно от слабенькой лампы на письменном столе было теперь средоточием мира и всей его жизни.

«И старуха права, я прав, и виноватых нет никого, — думал он. — Но как же мне-то быть? Позвонить? Или завтра чемодан в руки и деру отсюда?.. Ах ты, черт!» — хватался он за телефонную трубку, но сейчас же бросал ее, вскакивал и начинал ходить из угла в угол.

Было почти одиннадцать, когда в дверь постучали. Русанов открыл: на пороге стояла Маша. Видимо, она бегом взбежала по лестнице — она задыхалась, шубка ее еще была покрыта снегом, на ресницах дрожали капельки

воды. Не подхвати он ее, она, наверное, тут же бы опустилась на пол. Волна неожиданной радости нахлынула на него. Он прижимался губами к ее холодному виску, к мокрым ресницам, к теплому кусочку кожи где-то там, в углублении между ухом и шеей...

«Только, пожалуйста, не говори ничего. Только без слов», — беззвучно повторяла она...

Проснувшись, но не открывая глаз, он уже знал, что она не спит и смотрит на него. Лба его коснулась влажная ладонь, пальцы осторожно сдвинули прядь, сбившуюся ему на глаза, мягкие губы тронули уголки его рта, еще стянутого сном. Легкое дыхание пробежало над ним, и ноздри его вздрогнули, пытаясь ухватить еле заметный, исчезающий запах ее волос и тела.

— Лежи так. Не открывай глаз, — прошептала она.

Но он приоткрыл веки: ее лицо и волосы отовсюду нависали над ним, и в глубине ее зрачков мерцали крохотные точки света, явственно различимые в темноте. Устав опираться на локоть, она положила голову ему на плечо и так затихла, далеко, до полного бессилия вытянув руку вдоль его голой груди.

Ночь в комнате стояла как-то странно, будто завалявшись набок. Причиной тому, вероятно, было зеркало у стены, вкосью, как прожектор, отражавшее свет уличного фонаря. По потолку скользили дымные тени — видимо, сквозняк шевелил кисейные гостиничные занавески. Под окнами прогремыхал трамвай, и в ответ ему мелко задребезжали стекла в оконной раме. Было шесть, начиналось утро.

— Ты не спала? Совсем?

— Совсем.

— О чем ты думала так долго?

— Ты хорошо спишь. Дышишь ровно и даже улыбаешься во сне.

— А еще о чем думала?

— Обо всем... О том, что теперь я могу жить дальше. У меня есть ты... Здесь ли, там ли — неважно. И даже, наверное, лучше, что там... Я бы извела тебя: цеплялась бы, хватала за руки, плакала...

— Кто знает... Может быть, все было бы как раз наоборот...

— Сказать, какая чепуха у меня сейчас в голове?

— Скажи...

— Нельзя ли, если очень-очень захотеть, целиком рассластаться, раствориться в тебе — и так остаться? Исчезнуть и жить в тебе?

Весь их роман продолжался три дня. На работу они не ходили. Потом, в Москве, он даже не мог толком вспомнить, выходили ли они вообще в те дни из комнаты или все так и было на самом деле, не прерываясь и не меняясь ни на минуту: задернутые шторы, скомканная постель, ее большие темные глаза и небывалое, вернее, бывавшее только во снах, да и то в детстве, ощущение чистоты и доверия ко всему. О том, что будет дальше, они не говорили — зачем? Да, люблю, да, знаю, что это единственный раз, и больше мы вместе уже не будем, но об этом не нужно сейчас думать, на это еще будет много, очень много времени впереди...

Стояло морозное трескучее утро, когда они проводили его. В залах аэропорта было шумно и беспокойно. Они вышли наружу, к барьеру. Маша не плакала, не говорила никаких печальных слов — она лишь теснее прижалась к Наталье Алексеевне, державшей ее под руку.

Прощались недолго, Наталья Алексеевна обняла Русанова, приложилась смерзшимися губами к его жесткой щеке, потом, помедлив, быстро-быстро перекрестила его мелким крестом. Маша спокойно поцеловала его, и так же спокойно выдержала ответный поцелуй, и не отдернула руку, когда он не слишком ловко ткнулся носом к ней в варежку, пытаясь добраться до теплой ее ладони. Заметив, что грудь его раскрылась, она участливо поправила на нем шарф, чтобы ему не было холодно идти по летному полю. Но в самую последнюю минуту силы все же изменили ей. Она обеими руками вцепилась в борта его пальто и замотала головой, будто прогоняя боль, ставшую вдруг невыносимой:

— Это ошибка. Я знаю, что это ошибка... Тебе тоже нельзя без меня...

Когда, поднимаясь по трапу, он обернулся, они еще стояли там, у барьера. Старушка помахала ему. Отсюда они выглядели как-то совсем уж беззащитно: две маленькие фигурки на фоне серой бетонной громадины, величественно и твердо возвышавшейся у них за спиной...

Самолет утомительно гудел, нагоняя сон, но заснуть не получалось. В голове, монотонно повторяясь, чей-то голос медленно, как на уроке, выговаривал одну и ту же фразу: «Das ist eine alte Geschichte... Это старая история...» Нет... Он понимал, что на этот раз ему не отделаться ухмылкой над собой и нет надежды на то, что все как-нибудь рассосется, потускнеет и забудется в потоке житейских обстоятельств. В его жизни наконец случилось то, что бывает лишь однажды, и все это осталось теперь там, позади, куда ему, вероятно, больше уже дороги нет.

Итак, и это позади. Тогда что же впереди? И есть ли вообще теперь что-нибудь впереди, чего стоило бы ждать?

...Примерно через полгода из Н., от Натальи Алексеевны, пришло письмо. Жена принесла его с пачкой газет и положила к нему на письменный стол, на то место, куда она имела обыкновение складывать почту.

«Я с большой теплотой вспоминаю о вас, дорогой Николай Ильич, — писала старушка. — Вспоминаю наши беседы, наши чаепития. Кот мой — и тот помнит вас. Я иногда играю с ним, говорю: «Проснись, баловень, сейчас Николай Ильич придет». Он сразу вскакивает с дивана, бежит к двери и смотрит на нее, ждет, когда она откроется. У нас все по-старому, зиму прожили мирно и без особых забот, теперь весна в полном разгаре, как будто ничего и не было. Кстати, Николай Ильич, про Куропаткина-то теперь хорошо пишут — я сама читала. Вот видите, я же говорила, что все так или иначе наладится... А я, кажется, начинаю сдавать: по утрам стало трудно подниматься...»

Русанов отложил письмо в сторону. Все оживило перед глазами, и на душе опять стало, как тогда.

Выходит, думал он, и такую нелегкую жизнь можно прожить без вражды к другим и, в общем-то, без борьбы

с ними, и даже перед концом ни о чем не жалеть и не считать, что судьба не задалась, что жизнь не получилась. Мир, конечно, не замечает ее, затерянную где-то в далеком углу, среди своих кошек, скрипучих стульев и воспоминаний, и никто не знает о ней, и нигде на виду, на поверхности жизни, нет и следа от нее. Но ей-то какое до этого дело? Ей важно другое: день, прожитый в мире с собой, кусок хлеба, благополучие тех немногих, кого она в силах взять под свою защиту. Она нашла свое, и для нее нет и не было этого вопроса, попусту отравившего жизнь многим, в том числе и ему самому: один и все, один и мир, один и небытие... Наверное, человек потому и страшится смерти — страшится, что уйдет без следа и без него все будет так, как будто его и вовсе не было на свете. Ну и что из этого? Ведь и при нем все так же и было...

«В отношении М.В., — читал он дальше, — я, к сожалению, была права. Этому человеку сейчас худо. Найдите время, голубчик Николай Ильич, приезжайте к нам еще. Правда, приезжайте, а? Может, и меня еще застанете...»

В коридоре раздался раздраженный голос жены: она опять за что-то отчитывала сына. Русанов вздохнул. Как бы там ни было, а уж эти-то двое без него пропадут наверняка.

Взгляд его остановился на горке служебных бумаг, скопившихся за неделю. Завтра, вспомнил он с тоской, очередное бестолковое и ненужное заседание, на котором даже и курить нельзя — такую теперь взяли моду. А дальше... А дальше еще, и еще, и еще — и так до конца, по ночам уже видимого иногда в темноте.

1974—1975

Дело о шубе

Часы в большой комнате пробили двенадцать. Виктор Иванович давно уже пришел к выводу, что лучшими минутами в его жизни были эти ежевечерние полчаса у окна на кухне, когда он в одиночестве выкуривал одну или две сигареты перед тем, как идти спать. Домашние его обычно укладывались раньше, и, как только затихали их шаги по коридорчику из ванной, в квартире устанавливалась тишина. Свет на кухне он не зажигал, предпочитая сидеть в темноте: так лучше было видно пустую улицу и деревья в скверике напротив. Так было и тогда, когда Наташа, их дочь, была маленькой, и когда она росла, ходила в школу, потом в институт, и когда она вышла замуж и переехала жить к мужу и они с женой остались вдвоем... Так было и вчера, так будет, вероятно, и завтра, и послезавтра — пока он жив.

Летом в открытое окно шелестела листва, доносился чей-то торопливый стук каблучков по асфальту, слышалось глухое ворчание поливальных машин или далекий свист троллейбуса, набиравшего скорость по проспекту. Осенью сквозь мокрое стекло он видел, как металась и билась по ветру ветки скрюченных яблонь, состарившихся у него на глазах. Зимой же, как сейчас, улица и сквер покрывались снегом, чисто и колко искрившимся в косом свете уличных фонарей.

Но сегодня дело было уже не просто в привычке. Весь вечер он не находил себе места, еле выдержал до конца очередную серию какого-то длинного телевизионного фильма и даже сделал пару неуклюжих попыток раньше времени отправить жену спать, — так ему не терпелось поскорее остаться одному и наконец спокойно, без помех, обдумать то, что ему сообщили на работе еще утром и что весь день не выходило у него из головы.

Виктор Иванович Гребенщиков служил в крупном управлении по монтажу специального оборудования, считался хорошим инженером и пользовался симпатиями как начальства, так и сослуживцев — подчиненных у него фактически не было. В институт он поступил еще до войны, потом с четвертого курса был призван в армию, воевал в корпусной артиллерии, дослужился до капитана, в одну из бомбежек был тяжело (полгода в госпитале) ранен, демобилизован и в сорок седьмом окончил тот же институт, в котором начинал. Сразу после окончания он пришел в свое управление, тогда еще только создававшееся, и с тех пор — вот уже почти тридцать лет — работал в нем за одним и тем же столом и, по существу, в той же должности. Его часто хвалили, премировали, не раз вывешивали на Доску почета, но вверх не двигали и никуда всерьез, надолго не посылали. Последнее тоже было важно, потому что в их системе человек мог вырасти, как правило, только одним путем — если ему доверяли руководство монтажом какого-нибудь крупного объекта на периферии или за границей.

Последнее время Виктор Иванович стал как-то особенно ясно ощущать возраст, часто видел во сне детство, иногда жаловался жене на здоровье: что-то побаливало у него внутри — обычно после тяжелой еды, что-то неясное, но, видимо, прочно обосновавшееся там, в глубине, по соседству со старой раной в полости живота. По вечерам, сидя у окна, он нередко думал теперь о пенсии, о том, как он будет тогда жить, чем займется, куда они с женой поедут отдыхать, и эти мысли вовсе не пугали его, а, наоборот, вносили в душу успокоение, избавляя его от тех утомительных, раздражающих мелочей, которые сами собой накапливались к концу каждого прожитого дня.

Важным был размер ожидавшей его пенсии. По нынешнему заработку рядовая максимальная пенсия никак не получалась, а хотелось, естественно, чтобы была именно она, и даже не просто она, а персональная, которая все-таки немного выше обычной, и, кроме того, это было бы каким-то отличием — жизнь ведь никогда не баловала его отличиями. Конечно, честолюбие в нем давно

угасло, но... Но все же не до такой же степени, чтобы сделать его полностью равнодушным ко всему, что отличает одних людей от других.

Гребенщиков понимал, что надо было уже сейчас предпринимать какие-то шаги, чтобы получить самостоятельную работу где-нибудь подальше отсюда, с отъездом из Москвы года на три, не меньше. Сколько бы он ни думал об этом, никакого другого реального способа обеспечить хорошую пенсию он не видел. К тому же теперь, под старость, такой отъезд можно было позволить себе совершенно безболезненно: Наташа удачно вышла замуж и, кажется, неплохо ладит с мужем, жене — когда-то очень и очень деятельной женщине — работа, судя по всему, давно осточертела, а сам он даже рад был бы сменить обстановку и пожить немного на новом месте. Ведь, по существу, кроме обычных поездок в отпуск и командировки, он всерьез нигде и не был после войны. «Пора. Нужно шевелиться. Под лежачий камень и вода не течет», — все чаще и чаще говорил он себе, перебирая в уме имеющиеся возможности.

Как раз недавно на одном из крупных объектов открылась очень заманчивая вакансия. Гребенщиков прослышал о ней стороной и сейчас же решил, что это именно то, что ему нужно было. У него, конечно, имелись кое-какие связи — некоторые из его однокурсников работали вместе с ним и были теперь в довольно заметных чинах, — но раньше он практически не пользовался этими знакомствами, и сам, в общем-то, не зная почему. Может быть, это было и к лучшему... По крайней мере, сейчас он мог с чистой совестью обратиться к лобому из них и знал, что ему не откажут.

Ближе всего к нему был Гриша Шокин — стариннейший его приятель, с которым они в свое время немало просидели в пивных и иных местах, где так весело трапезничали тогда убогие студенческие рубли. И сейчас они нет-нет да и вспоминали старину, заскочив после получки или премии в какое-нибудь тихое и достаточно удаленное заведение, до которого их сослуживцы, по нетерпению своему, обычно не доходили. Как он и ожидал, Шокин не только не отказал, но, наоборот, проявил самое искреннее участие и обещал сделать все, что в его силах.

Однако сегодня утром Шокин остановил его в коридоре и, глядя куда-то в сторону, спросил:

— Послушай, можешь ты мне объяснить, что за случай у тебя был с шубой?

— Какой шубой? — не понял ничего Гребенщиков.

— Не знаю какой. Поэтому и спрашиваю. Ну-ка поройся в памяти. И ради бога не темни, сейчас не до этого. Должен сказать, что шансы у нас с тобой неплохие, но все упирается в эту шубу.

— Да какая шуба? Ты мне хоть скажи, о чем речь?

— Говорю тебе — не знаю. Знаю только, что на твоей личной папке, поперек обложки, красным карандашом написано: «Дело о шубе?!». Подчеркнуто, и два знака в конце — вопросительный и восклицательный. И ничего больше, никаких уточнений — ни на обложке, ни в самой папке. Только дата стоит — декабрь 1947 года. Я пытался выяснить — никто толком ничего не знает. Пошел даже к... ну, неважно к кому... Есть тут у нас один Пимен-летописец, хранитель преданий. Все помнит... Но и он не знает. Вспомнил только, что тогда, в те годы, тебя не раз выдвигали на разные должности, и каждый раз одно и то же: «А что за история у него была с шубой?» Начальство спрашивает — ему никто ничего не говорит, все молчат. Может, и вправду никто не знал, а может, впутываться не хотели... Ну а дальше сам знаешь как: «Нет? Никто доложить не может? Ладно, подождем до следующего раза. Нам не к спеху». А потом уж и спрашивать перестали... Кто написал, почему написал — ничего неизвестно. Может, этого человека и в живых давно нет, кто написал. Но надпись-то осталась, она действует! Пока мы с тобой этот карандашик не сотрем — ничего не выйдет.

«Боже мой, да неужели это?» — думал Гребенщиков, оставшись наконец один. Усаживаясь, он привычным движением пододвинул табуретку к окну, но сейчас же вспомнил про открытую дверь на кухню и, встав, притворил ее, чтобы табачный дым не расплзлся по квартире. Жена иногда ворчала на него по утрам, утверждая, что даже занавески в большой комнате и те пропахли его табачищем.

Дом их был старый, тихий, с толстыми стенами: ближе к полуночи, когда жизнь замирала, можно было, напрягая слух, ухватить лишь слабые звуки радио, доносившиеся откуда-то сверху или сбоку. Дом был до того тихий, что лет десять назад у них на кухне, на антресолях, даже поселился сверчок. Виктор Иванович довольно скоро привык к нему и полюбил, тем более что он, умница, редко обнаруживал себя при других, предпочитая час, когда они с хозяйном оставались вдвоем. Но потом в какое-то лето их слишком долго не было в городе: сверчок исчез и больше уже не возвращался.

«Неужели это? Неужели эта история, случившаяся двадцать пять... нет, двадцать семь лет назад? — думал Гребенщиков. — Не может быть. Это же как в дурном сне... Но что же другое могло быть? Ничего другого и не было...»

Жена его с того самого дня слышать не могла ни о какой шубе и всякий раз, износив одно, шила себе другое пальто с меховым воротником у знакомого портного на Петровке. Тогда, в какой-то хмурый ноябрьский день, они с Линой (полное имя жены — Алина) пошли по магазинам, имея при себе довольно крупную по тем временам сумму денег. Тесть хотел подарить дочери на свадьбу что-нибудь существенное, нужное в хозяйстве, но второпях не сумел ничего найти, расстроился и в конце концов сунул ей в руку конверт с деньгами: распорядитесь-ка лучше сами, как сочтете нужным, жить-то вам, не мне. В ту осень все говорили о денежной реформе, народ словно осатанел, хватали все, что появлялось на прилавках. Войдя в меховой магазин на Сретенке, они с Линой сначала даже не поверили своим глазам: за прилавком, длинно в ряд, висели черные подкотиковые шубы, и никакой толпы вокруг не было. Кажется, это было сразу после обеденного перерыва: Сретенка, наверное, просто не успела еще ничего разнохать. Лена померила — шубка ей подошла. Гребенщиков заплатил деньги в кассу, взял сверток с шубой, а вот дальше произошло нечто необъяснимое: как, зачем он положил сверток на прилавок, что его отвлекло, почему он отвернулся, какие секунды это продолжалось — ни тогда, ни потом он ничего толком вспомнить не мог, и Лина тоже ничего не заметила. Сверток исчез.

Когда он рассказал о случившемся на работе, все, конечно, сочувствовали ему, особенно женщины. Но для большинства из них шуба была тогда чем-то до того недостижимым, что весь рассказ его воспринимался скорее как какое-то происшествие из жизни Мэри Пикфорд или Греты Гарбо, и он чувствовал, что некоторые не то чтобы не верили, а просто испытывали какую-то неловкость, неудобство за него и даже стали посматривать на него вроде как на чудака — не лгуна, нет, — а как на человека, неожиданно обнаружившего вдруг склонность к мечтаньям и фантазерству. Со временем он и сам начал сомневаться: полно, да было ли это вообще, не приснилась ли ему эта проклятая шуба. Нет, как видно, не приснилась, если след от нее обнаружился даже вон где — в его бумагах и через столько лет...

«Сказать Лине, нет? — думал он. — Если сказать — расстроится, замолчит. Странная она какая-то стала. Томится, плачет ни с того ни с сего, придет с работы — ляжет и лежит, и ничем ее не растормошишь. Отчего плачете? — И сама, наверное, не знает отчего. Так, старость подходит, не нужна больше никому. Разве что мне... Наташка тоже хороша — лишний раз не позвонит, не спросит: как вы там, живы еще, старики? Вырастили, называется. А сказать, пожалуй, надо. Много бы, Алина Георгиевна, это прояснило в нашей с тобой жизни. Долгой жизни, непростой...»

Начинали они легко, весело, а вот дальше... Впрочем, что дальше? Дальше все пошло, наверное, как у всех. Да нет, это только говорится так — как у всех. На самом-то деле жизнь у каждого своя, и боль своя, и никакое это не утешение, что у других тоже нелегко, тоже не очень складно, а у иных совсем нескладно...

Когда они поженились, Алина ходила королевой, и подружки откровенно завидовали ей. Война недавно кончилась, ребят вокруг не было, то есть были, конечно, но все какая-то семнадцатилетняя мелюзга или инвалиды: демобилизация по-настоящему еще не развернулась. Гребенщиков и вообще-то был недурен собой, а на этом фоне — черноволосый стройный парень в офицерском кителе с орденскими планками на груди, спокойный,

уравновешенный, говоривший на равных и с деканом, и с профессорами, — он, естественно, привлекал всеобщее внимание. Даже очень красивые девушки, знавшие, что они красивы, и никогда ни перед кем не опускавшие головы, и те нередко смущенно отворачивались, столкнувшись с ним взглядом где-нибудь в аудитории или на лестнице. Что уж тогда говорить о тех сереньких мышках — а их было большинство, — которые жались по углам, не зная, куда девать свои потрескавшиеся, не по годам натруженные руки. Брак их с Алиной был потом предметом долгих пересудов в институте. Многие считали, что с его стороны это был мезальянс: по их мнению, он мог найти себе что-нибудь и повиднее...

Когда, как родилось у нее это легкое пренебрежение к нему, когда оно превратилось сначала в скрытое, а потом и откровенное презрение, когда презрение уступило место равнодушию, покорности судьбе — сейчас, спустя много лет, установить это было невозможно. Оглядываясь назад, он видел только длинную череду годов, стертых, потускневших и похожих друг на друга до неотличимости.

Может быть, все началось после того, как родилась дочь? Лина тогда впала в состояние тупого, непреходящего ожесточения: теснота, ночной плач, бутылочки, спиртовки, бесконечные тазы со стиркой, веревки с пленками по всей квартире, выдуманные и невыдуманные болезни этого крохотного, беспрестанно орущего существа, — казалось, выхода из этого нет и не будет никогда. Сам он в те дни ничего не вызывал у нее, кроме постоянного раздражения на его неловкость и неумелость. Если бы он провалился вдруг сквозь землю, она, наверное, только вздохнула бы с облегчением: по крайней мере, не надо было бы думать, чем накормить этого чужого, ненужного человека, занимавшего столько места везде — на кухне, в комнате, даже на лестничной клетке, куда она выгоняла его курить и где он каждый раз с грохотом стучался о коляску, выставленную за порог. Когда он приходил с работы, в дверях его встречал бессмысленный, невидящий взгляд, застиранный халат ее был неизменно застегнут не на ту пуговицу, и любые попытки его что-то

рассказать, чем-то поделиться кончались всегда одним и тем же: не дослушав, она срывалась с места и бежала то в ванную, то в их комнату, где опять что-то было не так и где опять стоял крик. Продолжалось это год или два, пока они не пристроили Наташку в ясли.

И все-таки началось все не тогда. Нет, не тогда... Виктор Иванович вспомнил то тихое лето, когда они с Алиной остались наконец вдвоем. Старики переехали на дачу, взяв с собой на этот раз и Наташку, уже начавшую ходить.

Что-то тогда нашло на них обоих, какая-то отчаянная, ненасытная жадность вдруг охватила их. Стоило им только прикоснуться друг к другу, как сейчас же обоих начинало бить с ног до головы, одежда летела в стороны, и в ту же минуту; разом, они проваливались в какую-то яму и... греми тогда все пушки мира у них над ухом, загорись дом, войди кто угодно и встань у них над головой — ничто не могло бы их в те секунды оторвать друг от друга, остановить эту муку, ради которой человек забывает все. Потом они вместе уехали в отпуск, в какую-то деревушку на правом берегу Волги. И здесь было то же самое, что и там, в Москве: «угрюмый, тусклый огонь желанья» настигал их всюду — на пляже, в лесу, на ступеньках крыльца той развалюхи, где они поселились вдвоем... Сколько же это продолжалось? Долго, наверное: по крайней мере, он и сейчас еще помнил, с каким нетерпением они тогда, уже осенью, дожидались, пока Наташка, а потом и старики за стеной заснут.

Но как пришло это, так и ушло — само собой, без даты и без причины...

После той встряски не только месяцы — годы целые не запомнились, по существу, ничем. Работал, водил Наташку в сад, потом в школу, купал ее, рассказывал ей на ночь сказки, выпивал с друзьями, смотрел телевизор, возил на дачу продукты (тесть каждое лето снимал дачу в Кратове), осенью выбирался иногда в лес по грибы... Что же еще было тогда? Умер Сталин, через три года отпустили всех, кому в свое время так не повезло, потом была какая-то нелепая история с кукурузой. Конечно, он тоже переживал тогда, спорил с тестем и друзьями, пытался заглянуть в будущее, представить себе, куда, к чему это все приведет, чем кон-

чится, что мимолетно, а что всерьез и будет до конца его жизни и даже дольше. Но особым воображением он, признаться, не обладал, масштабы событий, их огромный, таинственный смысл были не по силам ему, и все всякий раз кончалось тем, что мысли его потихоньку, привычным образом, сворачивали на другое, на то, что составляло заботу сегодняшнего или ближайшего дня. Наверное, так получалось потому, что не эти события были самыми важными для него в то время, но вот что тогда было для него самым интересным, что было важнее всего — и сейчас, спустя два десятка лет, он не знал. Да только ли он один? Люди и тогда рождались, женились, умирали, бегали высунув язык по делам, ходили на футбол, валялись в траве, смотрели в небо...

Жили они в то время трудно — от зарплаты до зарплаты. Его родителей уже не было в живых, а ее старикам и так нужно было сказать спасибо хотя бы уже за то, что они, собрав последнее, построили себе другую квартиру, а эту оставили им. Да и не мог же он, фронтовой офицер, человек с высшим образованием, в тридцать с лишним лет позволить себе сидеть на чужой шее! Алина, правда, нет-нет да и перехватывала у матери сотню-другую, но он каждый раз сердился за это на нее, и надо отдать ей должное — случалось это нечасто.

А... к черту... И вспоминать не хочется про ту зеленую нищету... Вечное отсутствие денег, какие-то комбинации с перешитым тряпьем, унижительные угрызения совести за каждую лишнюю пачку сигарет, за каждую бутылку, выпитую тайком от жены... Помнится, как-то раз они чуть ли не все лето проговорили о том, купить ли вместо сломавшейся настольной лампы новую сейчас, с этой полочки, или подождать до осени, когда без нее уже не обойтись, потому что станет темно...

Пока всем вокруг было тяжело, Алина, в общем-то, принимала это как должное, и в то время он не мог бы поставить ей в вину ни одной ссоры или даже размолвки о деньгах. Но жизнь менялась, и постепенно в глазах ее появлялось недоумение, появился вопрос, обращенный не в пространство, а напрямую к нему: «Ну, так что же ты? Так и будем жить дальше? Неужели ты ничего не мо-

жешь предпринять? Ты, такой всемогущий, такой выдающийся, когда я выходила за тебя?»

Однажды их занесло в гости к его однокурснику, с которыми они не виделись несколько лет. Алина вернулась в тот вечер больная. Фантастическое, немислимое великолепие квартиры, где они только что были, раздавило ее. Ковры, люстры, тускло-коричневая мебель, хрусталь на столе, серебряное ведро под шампанским... Она долго потом лежала на кушетке и плакала, уткнувшись головой в подушку. Тогда ей еще было совестно этих слез, она ничего не отвечала на его утешения, только отворачивалась к стене. Впрочем, одну фразу в ее бессвязных всхлипываниях и бормотанье он все же разобрал: «Он же был самый последний на курсе... Самый никудышный. Баракло...».

Нельзя сказать, чтобы Гребенщиков так сразу и смирился с тем скромным положением, которое ему определила жизнь. Поняв через какое-то время, что ему по его службе, как тогда выражались, ничего не светит, он не раз пытался подыскать себе что-нибудь другое, наводил справки и даже, случалось, вел вполне конкретные переговоры с вполне конкретными людьми. Но... Надо было все менять, уходить с насиженного, а гарантий, что на новом месте будет лучше, естественно, никто ему дать не мог, и, значит, надо было рисковать, бросать удобное и привычное ради каких-то смутных, неопределенных надежд — и, подумав, он каждый раз отступался, а потом, поближе к сорока, и вовсе прекратил всякие поиски и разговоры на этот предмет... Видно, так уж было написано ему на роду, и кроме того, ему действительно нравилось подходить каждое утро к одним и тем же дверям, здороваться со знакомым вахтером, подниматься вместе с толпой сослуживцев по лестнице на свой этаж, потом, услышав звонок, без суеты и спешки раскладывать на столе бумаги и медленно, пользуясь первой утренней тишиной, погружаться в мир, где все было четко и ясно, где были формулы и машины и где любую неудачу или ошибку можно было не только установить, не только понять, но и устранить.

Был и такой период в его жизни, когда он всерьез решился поправить свои дела, защитив диссертацию: вы-

брал тему, притащил из библиотеки кипу журналов, накупил разных нужных и ненужных книг... Потом, через несколько лет, Алина безжалостно выбросила все это на свалку: он только усмехнулся тогда и даже не протестовал... Почему так получилось? А черт его знает почему. Война ли отняла у него силы или их и не было никогда?

На работе Гребенщиков, как и все, должен был сидеть от звонка до звонка, и на всякие приватные увлечения ему оставались только вечера и воскресные дни. Месяц-другой он еще пытался потянуть этот двойной воз, но вскоре скис. Опытные люди советовали ему: придешь домой, перекуси и обязательно поспи часок, а потом уж ни за что не отрывайся от стола, что бы ни случилось в доме, — ничего страшного, подождут, дело важное, ради них же, должны понять. Легко сказать — должны... А Наташка встречала его в дверях такими глазами, так простодушно радовалась ему! И как раз в то же самое время в нем вдруг обнаружилась одна способность: он удивительно удачно стал мастерить из дерева забавные фигурки. Наташка была в восторге от них, укладывала их с собой спать и с тех пор не признавала больше никаких магазинных кукол. И еще каждый вечер нужно было выдумывать ей какую-нибудь новую сказку: рассказывал он обычно невероятную чепуху, даже совестно сейчас вспоминать, но она ждала этих сказок и ни за что не засыпала без них. Попрощавшись с ней, он наконец сажился за стол, но сейчас же, как нарочно, начинал звонить телефон, потом жена звала пить чай, и не успеешь оглянуться — уже двенадцать, надо ложиться спать, не идти же завтра на работу с чугунной головой. Как там в Евангелии? Домашние человека — враги его. Да, значительная мысль... Очень значительная мысль. А только так ли оно на самом деле? Да перед тем же Богом, если Он есть, — что важнее? Никому не нужная диссертация, или размышления о спасении души, или его возня с Наташкой на полу, у тахты в спальне? Попробуй-ка скажи...

А, вот оно где... Вот откуда все началось... Да нет... Почему именно отсюда? Это ведь тоже родилось неспроста, не на голом месте...

Однажды Алина пришла с работы поздно, угрюмая больше, чем обычно. Что там стряслось у нее в тот вечер — он до сих пор не знал. Они с Наташкой сидели за столом в большой комнате и мастерили из дерева турка. Помнится, он как раз пытался насадить свежееоструганную голову в тюрбане на штырек, загнанный в пузатое туловище человека. На столе стояли и другие его подделки, которые Наташка притащила из спальни: дед с кошелкой и палкой, торговка с бубликами, шарманщик с попугаем... Алина долго стояла рядом, смотрела на них и вдруг, не говоря ни слова, одним внезапным, каким-то диким жестом смахнула все это со стола и выбежала вон. Голова турка покатилась под диван, бублики рассыпались, а дед вообще раскололся пополам. Они с Наташкой оторопели... потом Алина долго плакала, просила прощения у них обоих, говорила что-то про усталость, про измотанные нервы.

Вскоре у нее появился любовник. Виктор Иванович быстро заподозрил неладное: вроде бы ничего особенно и не изменилось и никаких фактов не было, но откуда-то взялась вдруг непонятная, сосущая тоска, беспокойство, желание схватить шапку, выскочить вон на улицу и куда-нибудь уйти, уйти... Куда? Да куда. Куда глаза глядят... Может быть, потому, что взгляд стал у нее иной — вовнутрь: сытый, спокойный, наполненный до краев... Или голову стала держать по-иному, как чужая. Или в руках, иногда еще обнимавших его, появилось что-то скованное, тяжесть какая-то, будто поднять их было — усилие, и свести на шею у него — тоже усилие, требовавшее вначале включения каких-то трансмиссий и рычагов...

Ну, а потом пошло-поехало... Первое время еще была какая-то неумелая ложь, а дальше и лжи-то не было никакой. С каждым днем Алина все больше нагнала, приходила домой почти ночью, иногда пьяная, вся какая-то растрепанная, растерзанная, то в спущенных чулках, то в незастегнутом лифчике, а однажды явилась и вовсе без него, и всегда от нее пахло чужим потом и еще чем-то таким, от чего у него сразу темнело в глазах... Ванны, что ли, не было там, у него?.. Иногда она, вернувшись, тут же,

молча, не говоря ни слова, забиралась к нему в постель (он перебирался спать в большую комнату), и он... И он не прогонял ее.

Может быть, отсюда и родилось это презрение?.. Нет, бабы все-таки жестокий народ: ну разлюбила, ну спуталась с другим — ну так хоть смягчи, пощади, ведь человек же рядом с тобой, дочери твоей отец. Нет, надо было еще и раздавить его окончательно, уничтожить, в грязь втоптать: я вот пришла, а ты лежишь и ждешь, и сейчас я к тебе лягу, а ты не выгонишь меня, потому что ты ничтожество, и теперь моя над тобой полная власть... Однажды он не выдержал — избил ее. Бил вглухую, плотно затворив в комнату дверь, бил молча, об углы, об стены, не щадя ничего. Утром на нее страшно было смотреть. Две недели она не показывалась нигде, отлеживалась на диване: всем сказали — автокатастрофа. А после... А после того стало еще хуже. Алина окончательно распоясалась: теперь она могла позвонить по телефону, дать указания, чем накормить утром Наташку, и не прийти ночевать совсем.

Выяснить, кто у нее был, не составило особого труда: мир-то тесен. Оказалось, какой-то орел с ее работы, разумеется, моложе его, да и ее. Надо думать, жениться он на ней не собирался, иначе она, несомненно, ушла бы тогда к нему. Да и то сказать: ей было в ту пору уже порядком за тридцать, а парень он, по слухам, был шустрый, такого голыми руками не возьмешь... Жалко ее было, и стыдно за нее, а сделать ничего он не мог, мог только ждать, пока все это кончится, пока этот парень не выгонит ее совсем. Ведь и морщины уже поползли у бабы под глазами, и тело начало обвисать... Вот он и ждал. Сколько сигарет тогда он выкурил ночью, у окна на кухне, сколько мыслей разных передумал обо всем... Чего только не лезло в голову: самому уйти, начать все заново, его ли где-нибудь прихватить, душу вытрясти из него... Даже убить ее хотел: пропади все пропадом, не задалось — так не задалось, вырастят старики Наташку и без них, с голоду не умрет... Но в редкие минуты просветления он понимал, что никуда он не уйдет, и ничего с ней не сделает и в конце концов простит ей все. Что ж там говорить! Любил он ее... Э, да

что может объяснить это слово — любил?! Слова эти все менять пора. Не говорят они ничего. Дом было больше всего жалко, какой-никакой — его дом. А она и была для него и тогда, и всегда — дом.

Раз как-то они напились с Шокиным в ресторане, основательно напились, даже портфель и папку там забыли, пришлось возвращаться потом. Гребенщиков рассказал ему тогда все, сил больше не было терпеть, хотелось услышать хоть одно человеческое слово, да и стесняться некого было, сидели они вдвоем.

— Ну, так уйди, — сказал тогда Шокин, выслушав его.

— Не могу.

— Ну, так прости.

— Не могу.

— Врешь, простишь.

— Правда, вру. Прощу... И сам знаю, что прощю.

— Ты простишь... А я бы вот не смог.

— Нет... Я смогу...

Шокин долго молчал. Потом, как-то вдруг печально и совсем не по-пьяному посмотрев на него, сказал:

— Витя, а знаешь ты кто? Ты великий человек. Ты подлинно великий человек. И единственный, кого я знаю. Нет, был еще один великий. Но то в литературе...

— Кто?

— Алексей Александрович Каренин.

— Это почему?

— Потому что он был великодушен — вот почему. А вокруг него была всякая мразь, мелочь пузатая. Вроде меня. Я, Витя, не великий человек. Я дерьмо. Но я тебя люблю...

Продолжалось так года два или даже три. Потом незаметно все как-то наладилось вновь, все более или менее успокоилось, утряслось. Она почти перестала пропадать вечерами, и от нее теперь очень редко пахло вином, когда она возвращалась домой. Она опять стала таскать его по родственникам и на всякие развлекательные мероприятия у себя на работе, сердилась, когда он от этого отбрыкивался, заставляла его менять рубашки и галстуки, выходила из себя, если не могла сразу найти что-то нужное

в их всегдашнем беспорядке, кричала, что она им с Наташкой не прислуга, чтобы убирать за ними повсюду, и что их даже на день нельзя оставить вдвоем... Ее вскоре выбрали на работе в какой-то комитет, и теперь по вечерам она часами висела на телефоне, обсуждая всякие служебные интриги и неурядицы. Но они с Наташкой скоро привыкли и не обращали на это особого внимания, разве что иногда понимающе улыбались друг другу: обычно он в таких случаях лишь посильнее поворачивал в телевизоре звук, потому что голос у Алины был все-таки не очень приятный, резковатый, а когда она возбуждалась — то просто пронзительный, так что хотелось или уши заткнуть, или оборвать ее совсем.

Нельзя сказать, чтобы она стала добрее к нему, нет: так, дескать, живет кто-то рядом, ну и живи, Бог с тобой, куда ж тебя деть, на улицу-то ведь не выгонишь. Иногда она сама, выйдя в халате из ванной, молча брала его за руку и уводила за собой в спальню. Там теперь вместо прежней продавленной тахты стояли две кровати полированного дерева. «Все как у людей», — не удержавшись, съязвил он, когда их привезли... Про то же, что было, они никогда не говорили — таков был молчаливый уговор, и они соблюдали его, хотя, конечно, оба думали об этом много, и ночами тоже думали, особенно в первое время, и он долго еще потом замечал у нее слезы на глазах, хотя явных поводов для них вроде бы и не возникало, по крайней мере с его стороны.

Кажется, и потом у нее еще что-то было — уже с другим или с другими, — если, конечно, чутье не обманывало его. Но новые эти увлечения выглядели какими-то очень уж безобидными, несерьезными в сравнении с тем, что было прежде: они ничего не меняли в их жизни, так только, немного оживляли Алину, и он не удивился бы, если бы вдруг как-нибудь обнаружилось, что в них, кроме вздохов и прощаний в подворотнях, и не было-то ничего, ну, разве что самая малость, чепуха какая-нибудь, накоротке, наспех, звеня чужими ключами и оглядываясь на часы...

А сдала она почти сразу, в один год: ей тогда уже было за сорок, и он вдруг — Бог его знает почему, но очень уж

явственно, вроде как при внезапной вспышке света в темноте — увидел, что рядом с ним живет пожилая расплывшаяся женщина, с тяжелым задом и толстыми ногами, переваливающейся походкой, плохо покрашенными волосами, вечно в какой-то нелепой шляпе, на которую неловко, совестно было даже и смотреть. Он всегда мучился из-за этих шляп, но сказать ей так никогда и не решился: все-таки жалко было бабу, да и в этом возрасте и не переделаешь никого.

По-видимому, Алина и сама наконец взглянула на себя трезвыми глазами, и вот тогда-то, наверное, она и смирилась окончательно, тогда-то и началось это равнодушие ко всему и ко вся, которое, хоть и вгоняло порой в тоску, но, в общем-то, надо признаться, устраивало его. Спокойней так было, вот в чем все дело, ведь и он тоже устал, тоже ничего не хотел теперь, кроме тишины: одна война чего стоила, да и потом... Да и потом никаких особенных балов и маскарадов что-то не вспоминалось. Нелегко прошла жизнь, что там говорить.

Но и он был не святой, были и у него, конечно, разные минутные истории. Да и у кого их не было? Жизнь есть жизнь, всякое в ней бывает, и он такой же человек, как все, не лучше и не хуже других. Но в одном он, по крайней мере, чист: никогда ни одна из этих историй не отразилась на его домашних — ни в грубом слове, ни в деньгах, ни в чем-нибудь еще, так что ни Алине, ни Наташке не на что жаловаться, совесть его спокойна перед ними. Правда, был и у него момент, когда он еле удержался, чтобы не пустить все к такой-то матери. Но ведь пересилил же себя, отступился. Эх, да надо ли было отступаться? Вот вопрос... Впрочем, праздный вопрос. Что было — то было, и нечего сейчас душу попусту травить, ничего назад-то уже не вернешь.

С Верочкой он познакомился в стоматологическом кресле, когда ему чинили одни и выдирали другие зубы, чтобы сделать первый в его жизни мост. Наверное, он тогда представлял не очень приятное зрелище: сорокалетний, начинающий лысеть мужик с выпученными от страха глазами и дырявым ртом, по краям которого тор-

чали остатки мелких, до черноты прокуренных зубов. Месяца два, пока длилось протезирование, ему было отчего-то невыносимо стыдно за себя, как будто он сам был виноват в том, что и голова у него плешивая, и зубов многих уже нет, и мешки под глазами теперь уже почти не проходят никогда, даже если накануне не пил.

Верочка работала сестрой в этом кабинете. Вскоре она начала улыбаться ему как знакомому, и однажды, когда врача вызвали куда-то надолго, они очень тепло поговорили с ней о разных пустяках, так что под конец он даже решился пригласить ее встретиться вечером и куда-нибудь пойти. Помнится, она охотно, без тени жеманства приняла его приглашение, а вечером пришла в срок, без опоздания, и — черт знает что, но действительно так и было! — увидев его, вытащила из-за спины букетик гиацинтов и вручила ему: дело было в марте. Потом, в ресторане, букетик этот стоял перед ними весь вечер. Уходя, Виктор Иванович завернул его в бумагу, чтобы не заморозить, и взял с собой.

Ей было тогда лет двадцать шесть — двадцать семь, она была стройна, миловидна, по-своему даже красива, но не дразнящей красотой, а тихой, мягкой — той, которая не пугает, не отталкивает, но, надо признаться, особенно и не привлекает никого. Почему он тогда пригласил ее? Да потому, наверное, что хотелось убедиться, что он еще на что-то годен, кому-то нужен, что не все позади и в тираж выходить еще рано... Все-таки человек по природе своей глуп: это в сорок-то лет думать о выходе в тираж, печалиться, расстраиваться — тогда сейчас что прикажете говорить? Показал бы кто тогда ему, сорокалетнему, его сейчас: вот где — тираж, тут уж ничего не скажешь, и проверять ни на ком не надо, достаточно просто в зеркало взглянуть.

Милый она была человек, ласковый, и в комнате у нее всегда было тихо, хорошо, правда квартира была коммунальная и, по существу, в полуподвале, но как-то так сумела она устроить, что все у нее было уютно, светло, ничто не беспокоило, не раздражало глаз — вся комната ее была такой же приветливой, как она сама. Белые кисейные занавески на окнах, гравюры по стенам, полка с кни-

гами, большое покойное кресло в углу, в котором, если потеснее прижаться друг к другу, они могли поместиться и вдвоем. Верочка жила одна: она выросла без родителей, под присмотром какой-то чудаковатой тетки, старой девы, из тех, которых до сих пор еще можно встретить иногда в диетическом на Арбате. К тому времени тетка уже полуослепла, и Верочка ходила навещать ее. Виктор Иванович обычно провожал ее до самого теткинго дома, а предварительно они всегда заходили в «Прагу», покупали там что-нибудь из еды и обязательно — коробку пирожных, кажется эклер, тетка их любила.

Как он ждал тогда этих встреч, как нетерпеливо глядел на часы, дожидаясь проклятого звонка, чтобы чуть не бегом скатиться с лестницы и через десять, нет, через семь минут быть уже у нее! Как раз в то время ему наконец повысили зарплату, повысили значительно, но Алине он сказал, что появилась солидная, постоянная халтура, которую грех терять, так что ему придется теперь частенько задерживаться вечерами на работе: поверила ли она, нет — кто ее знает, во всяком случае, возразить она ничего не возразила, а он в лишние объяснения не вдавался, да у них это и не было заведено. Верочка никогда ничего не требовала от него, и этих дополнительных денег хватало ему тогда на все: и на какие-то пустяки для нее, и на вечер-другой в ресторане, и дома тоже довольно быстро почувствовали, что с деньгами стало теперь все-таки полегче. Счастливое было время! Может быть, только оно и было счастливым у него...

Верочке достаточно было любой, пусть самой крохотной удачи, чтобы обеспечить себе веселое настроение на весь вечер, а то и на целые дни вперед. Сначала он даже не верил, что так бывает, и, к стыду своему, иногда думал, что она зачем-то притворяется перед ним.

— Знаешь, — бывало, улыбаясь, говорила она ему еще в дверях, — знаешь, кого я сегодня видела? Не поверишь.

— Кого?

— Лемешева! Прямо на улице. Шел в шубе, с ним дама была, такая элегантная...

— Ну и что?

— Как — что? Я ведь его в первый раз вот так, живого, видела. Постарел, конечно, но все равно... Правда, здорово, да? Ну что же ты молчишь?

«Почему Лемешев? Какой Лемешев? Зачем она это мне?» — недоумевал Виктор Иванович, ожидая дальнейших объяснений. Но она и не пыталась ничего объяснить, видимо даже не понимая, как же можно такие вещи объяснять, тем более ему... Конечно, легче было бы и тогда, и сейчас пожать плечами, сказать, что ерунда, пустяки — действительно, какой там еще Лемешев? Верно — пустяки. Ну а жизнь-то из чего состоит? Не из пустяков? Эх, горевать-то мы все умеем, и еще как, а вот радоваться многие ли умеют? Многим ли это дано — радоваться, тем более пустякам? Нет, разве что задним числом, оглядываясь назад, когда все прошло. Но какая же это радость, когда все прошло? Это опять страдание, а не радость. Интересно, сохранился ли у нее этот божий дар до сих пор или жизнь и ее тоже задавила, как других?

Им настолько было хорошо вдвоем, что они редко когда выходили из ее полуподвала. Да наплевать, что там делается наверху! Что они там не видели? Ну снег, ну слякоть, ну люди мечутся туда-сюда. А здесь тепло, и никто им больше не нужен, и так хорошо, славно сознавать, что никто в целом мире не знает, что они здесь, а чтобы уж совсем спрятаться от всех, можно задернуть штору и погасить свет, оставить только маленький ночник в углу.

Вот где нужны были его годы: можно было прижать ее к себе и защитить — от кого, от чего, неважно. Ведь ясно же, что от кого-то или от чего-то нужно было защитить. Ну а он мог защитить... Как-то раз она даже призналась ему, что с тех пор, как начались их встречи, она двух слов не могла сказать ни с кем из своих сверстников. «Витя, если бы ты только знал, какие они все дураки... Боже мой, какие дураки...» — повторяла она, и почему-то казалось, что она сейчас заплачет.

А время шло, и надо было уже на что-то решаться, решаться всерьез. Гребенщиков понимал, что заедает ее век, что ей уже не семнадцать, и мучился этим, казнил себя, проклинал, но решиться ни на что не мог. Ну по-

чему, почему хорошим людям всегда не везет? Ведь иной раз посмотришь: сама-то мордovorот и жадная, злющая, как хорек, а такого молодца отхватила себе, что только диву даешься — куда он, болван, смотрел, что нашел в этой ведьме?.. Ничего не поделаешь, так устроен мир... Мысль-то, конечно, верная. Да только от нее, признаться, не легче никому...

Так, святая душа, и не дождалась она от него того, чего хотела. Наконец пришел день, которого он так боялся... Он и не мог не прийти...

В тот вечер он, кажется, был уже в пальто — когда она сказала:

— Витя, мне сегодня сделали предложение...

Все поплыло перед глазами, сердце куда-то разом провалилось, и он долго хватал воздух ртом, прежде чем догадался достать из бокового кармана валидол...

— Кто?

— Один наш доктор. Он давно равнодушен ко мне...

— А что ты?

— Витя, не знаю. Я не люблю его. Но ведь мне тридцать...

В ту ночь он первый и единственный раз за всю свою семейную жизнь не пришел ночевать домой. Утром они сидели за столом, курили, пили кофе... «Все. Все кончилось...» — только одно и было в голове. Потом почему-то мелькнула мысль: «А если бы Наташка вдруг умерла — так же было бы?» Но он отогнал ее... И еще подумалось тогда, что пощады от жизни больше уже не будет, впереди только одна дорога, прямая, короткая дорога. Куда? Ясно куда. Туда — не сворачивая ни на какие обочины и не обманывая уже больше ни себя, ни других...

Теперь у него было два любимых занятия — ходить по грибы и ловить зимой рыбу. Собственно, этим он жил последние годы: пять дней работал, а два пропадал в лесу, а если зимой, то на озере, километрах в ста от Москвы. Особенно хорошо было осенью, в сентябре. Алину он обычно отправлял в это время к морю, а сам брал отпуск и ехал в леса, за Кострому. Получилось так, что двое стариков, живших на краю заброшенной, опустевшей де-

ревни, — болтливый полупьяный дед и его угрюмая богомольная старуха — каким-то образом теперь, под конец жизни, стали для него самыми родными на земле людьми.

Почему люди так боятся одиночества? Трудно понять... И в лесу лучше всего быть одному. Не то чтобы в лесу мысли были какие-то особенные. Нет. В общем, то же самое: птаха вон защebetала, роса с куста посыпалась, заблестела на солнце, гриб вон спрячется, сейчас его возьму... А только в лесу и мыслей не надо. Удобно человеку в лесу: и он сам, и дерево, и птаха ведь одно и то же, и совсем не больно чувствовать себя не врозь, а в одно с ними, не унижает это, не требует никаких поисков своего особого места в мире. Да и вся эта загадка жизни, которая так неотступно мучает человека в городском чаду, в лесу вдруг делается неинтересной, выдуманной: нет этой загадки, есть ты, а откуда ты пришел и куда уйдешь — не все ли равно? Погоди, узнаешь. Не может же быть, чтобы в такой согласии, в таком стройном, как все вокруг, целом не было что-то предусмотрено на веки веков и для тебя, что-то милосердное, что пока только лишь слышится, чувствуется в уползающем тумане, в этом белом предрассветном дыму...

Брал он только благородный гриб, не жадничал и больше одного лукошка никогда не набирал. Потом потихоньку возвращался перелесками, опушками домой, иногда приваливался в стожок по дороге, лежа жевал соломинку, смотрел на черных грачей в поле, жмурился на небесную синь, на осеннее солнце, бывало, даже и засыпал... Дома он вываливал лукошко на покрытый клеенкой стол, и под бессвязную болтовню деда, к полудню обычно уже где-то взявшего свое, они вдвоем со старухой медленно, не спеша перебирали принесенные грибы: что в сушку, что в солку; что на сковороду...

Однажды бабка своими черными пальцами вынула из кучи крепкий гриб, по виду совершенно белый, и показала ему:

— Такие больше не бери, милоч. Они ядовитые. Вишь, дно у него будто розовое.

«Глазастая бабка, сразу углядела, даром что старая. А я-то, лопух... Так ведь и помереть недолго, — подума-

лось тогда ему. — И такой безобидный с виду... Сколько же народу отправил на тот свет этот гриб... Но кто же сейчас думает о них, об этих людях? Ушли и ушли, и царство им небесное, гриб этот больше рвать не будем — только и всего. А есть ведь еще и другие задачи, и многие из них несравненно даже мельче, чем этот гриб, но и на них нужна чья-то смерть, а может быть, и многие смерти, чтобы оставшимся потом было удобнее жить. Интересно, а на что пошла моя жизнь? Что нужного я-то доказал ею?»

Как-никак отвоевался он тридцать лет назад, и все эти годы были чем-то заполнены, что-то он делал, зачем-то жил...

На войне он привык к смертям, привык к тому, что счет шел не на людей, а на величины. Да и счета, по существу, не было: чтобы считать, нужно было знать каждого, а кто же их тогда знал?

Так, прикидывали: уничтожен батальон противника или, наоборот, наши войска понесли существенные потери, а сколько их там, в потерях, кто он такой — потеря, — пойди разберись, не до того всем было. Иначе и невозможно, война есть война... Бывало, тянет тягач орудие по раскисшей дороге, смотришь из кабины: труп вон валяется в кювете, рядом еще один, и в поле тоже трупы — где свои, где чужие, хорошо, если подберут потом, а то и сгниют там, под дождями, не всегда же руки доходили. Вот если из своих, из дивизиона, кого достанет — вот тогда действительно тоска накрывала: как же так? Был человек — и нет его, а кажется, только что вместе сидели, вместе были. Но ведь забывалось назавтра: одни уходили, другие приходили...

Странно, как же меняется с годами человек: а отвык он за эти годы от счета на величины, не получалось теперь так считать, все вместо величины какой-нибудь Иван Иванович всплывал перед глазами, которого вчера похоронили... Вчера, что ли, это было? Да, вчера. Лежал в гробу смиренный такой, успокоенный, а был когда-то боевой. Шумел, все чего-то добивался, планы разные строил...

«Ладно, что толку мудрствовать, жизнь прошла, прошла так, а не иначе, и задним числом ничего в ней не изменить, — думал он. — Скажи спасибо, что хоть жив остался: сколько народу переколотили, и сколько из них зазря — кто и когда их считал, и теперь кто их пересчитает? Все равно до последнего не сочтешь, а раз так, то считать нечего: какая разница — одним меньше, одним больше? Похоронили и забыли. Тебе еще повезло: хорошо тебя тогда доктора зашили, тридцать лет вон протянул и, даст Бог, еще протянешь. Так-то оно так... А только жаль все-таки. Ведь не все же у меня война отняла, кое-какие силы еще были... Э, да что теперь говорить! Сам виноват, другие ли — теперь не установишь, а если и установишь, что это даст в конце концов? Может быть, Алина и права: надо было стучаться головой об стенку, может, и продолбил бы ее когда-нибудь. Но ведь не стучался!.. Не стучался же! И стучаться не буду! Пусть: считайте, что еще один в мусор ушел... Только вот кому или чему от этого лучше стало? Вот вопрос...»

Ночь кончалась, часы в большой комнате пробили шесть. Перед ним на столе стояла полная пепельница окурков, голова побаливала, во рту ощущался кислый, противный вкус. Где-то наверху загудела вода, под окном заскребли скребком: дворничиха уже поднялась и соскребала наледь, небось чертыхаясь на погоду и на жизнь. В коридоре слышались шаркающие шаги — Алина прошла в ванную.

«Так сказать ей, нет?» — думал он. — Нет, не скажу; Зачем? Ну добавлю лишней горечи бабе. Ни к чему это ей. Да и мне тоже... Тоже ни к чему...»

Щелкнул выключатель: резкий, бесцеремонный свет на секунду ослепил его. Алина вошла в кухню.

— Ты чего это ни свет ни заря? Господи, уже успел надымить — не продыхнешь... Чайник поставить? — запахивая халат, спросила она и зевнула, прислонившись к двери.

Ночные голоса

Алло! Ты?.. Прости. В самом деле, глупость сказала. Кто еще может подойти, кроме тебя... Я тебя разбудила? Сколько сейчас? Три? Боже мой — три. Ну не сердись. Не сердись, да? Поговори со мной... О чем? Ни о чем. О чем получится... Да, вот что я хотела спросить: почему ты ушел так рано? Не сказал ничего, не попрощался... Заснула? Ну и что? Разбудил бы... У тебя утром лекция? Да, ты говорил. Прости, забыла... Пьяна? Нет, что ты, я не пьяна. Твой коньяк как стоял на столе, так и стоит, я его не трогала. Глоток только глотнула, во рту было нехорошо, а больше не пила... Проснулась — тебя нет. Я сначала даже испугалась: подумала, ты обиделся на что-нибудь, а я не помню, на что. Я вчера плохо себя вела? Шумела? С другими танцевала. Да? Но ты же не ревнивый? Ты у меня совсем не ревнивый. Даже обидно иногда... Сережа, я ведь не дрянь, правда? Я только тебя люблю. А больше никого не люблю... Прости, я знаю, ты этих слов не любишь. Я тебя, наверное, за то и люблю, что ты не любишь слов. Слова-то все затерты, это правда... Но ты их все равно говори мне иногда, женщина совсем без слов не может... Любишь? Правда? Ну вот, мне опять хорошо. А то... Проснулась, думаю: все не то, не то! Господи, как же все не то! Один ты-то. А тебя нет... Да ладно, не обращай на меня внимания! Баба я — баба и есть. Я же понимаю: лекция, студенты, ассистенты... Во сколько ты ушел? В двенадцать? Это значит, я спала всего три часа? Надо же... Сережа, прости, можно я еще один глоток сделаю? Меня колотит, сама не знаю, почему. Можно? Сейчас. Я только до стола дотянусь... Слушай, а знаешь, под конец я вчера все-таки не удержалась — врезала этому типу. От души врезала, все ему высказала, у него даже челюсть отвисла... Кому? Как — кому? Ты что, не помнишь?

Ну, за соседним столом сидел, он меня все танцевать приглашал — Виталька Тепляков, фельетонист, с ним еще этот реставратор был, известный, говорят, богатый человек, на иконах большие деньги зарабатывает. И еще третий с ними, не то лошадник, не то фарцовщик, мошенник, одним словом. Виталька мне говорит: поедем, брось ты его, чего ты с ним связалась. Боже ты мой, Сереженька, ну зачем я это тебе говорю? Я же знаю, с тобой нельзя так. Ты не думай, это я не для того, чтобы тебя поддразнить. Я дура: несучерт знает что, а потом сама же жалею, плачу... Хочешь, я у тебя раз навсегда за все прощенья попрошу? На коленях попрошу? За что? Ни за что. За то, что я и тебя, и себя мучаю... Сережа, ты мне веришь? Веришь? Честное слово, я тебе ни разу не изменила. И не изменю. Только ты не бросай меня. Я без тебя пропаду... Сколько мы с тобой уже прожили? Полгода? Господи, а кажется — полжизни... Знаешь, девчонки наши в Доме моделей мне в открытую завидуют: ишь, профессора себе нашла. А я тебя не нашла. Ты сам нашелся. Помнишь, ведь и ты про меня сначала ничего не знал, не знал, что я манекенщица. Помнишь, тогда в театре, в антракте, я еще была с Милкой Разумовской... У, шкура продажная! Ненавижу... Ты у автомата стоял, а я у тебя двушку попросила. Ты покраснел, растерялся, и лицо у тебя стало такое, я думала — сейчас убежишь. А потом ты стал ходить на все наши сеансы. Я помню, первым делом тебя глазами отыскиваю: здесь ты? Здесь? Ну, значит, все будет хорошо... Сережа, меня теперь целиком на вечерние платья переводят, открытые... Правда ведь, у меня красивые плечи, да? И грудь?.. Не споришь? Ну, хорошо что хоть с этим не споришь... А с чем еще? Не знаю. Мне все время кажется, что ты со мной все о чем-то споришь, споришь. Только вот о чем — и сама не знаю... Начальница велит теперь гладкую прическу носить: говорит, так я совсем дама. Ну, леди, понимаешь? Я как-то Милкины колые и серьги надела, бриллианты, ей любовник подарил, какой-то директор из кожгалантереи. А здорово мне шло, если бы ты только видел! Сразу и спина прямее стала, и пошла я как-то по-другому, уверенно пошла, будто кто передо мной ковровую

дорожку катил, а я шла... Это ничего, что я такие высокие каблукки ношу? Девять сантиметров? Когда я на них, мы с тобой вровень ростом. Ничего? А то я иногда думала, может, тебе неприятно?.. Сережа, милый, может, приедешь, а?.. Когда? Сейчас. Я ужасно хочу тебя видеть. Сейчас хочу. Ну приезжай, что тебе стоит? Возьми такси и приезжай. Я кофе сварю, коньяк есть... Лекция? Ох, как я иногда ненавижу все эти твои лекции. Студенты, ассистенты, какие-то книжки; черт бы их побрал! Ну при чем тут они, скажи мне, при чем? Разве в них дело? Ведь ты же мой. Мой! Что они хотят все от тебя? Что им нужно?.. Уехать бы нам с тобой куда-нибудь к черту на рога, и чтобы никого вокруг не было, ни души, только ты и я, я бы целовала тебя, гладила. Поедем, а, Сережа?.. Куда? Да куда хочешь. Поедем к морю? Комнату снимем, прямо на берегу, чтобы и не одеваться, так в купальниках и ходить. Представляешь? Целый день в купальниках, солнце, песок, и никого знакомых вокруг, лежали бы целый день. Хочешь читать свои книжки? Читай, ради Бога, я бы не мешала тебе, голову только положила бы тебе на живот и глаза закрыла. Поедем?.. Ты мне обещаешь? В каникулы? А это сколько ждать?.. Два месяца? Господи — два месяца, это сколько ж еще ждать... Сережа, женись на мне, а? Чем мы с тобой не пара? Я красивая, ты умный. Представляешь, как бы на нас вместе смот-рели? Познакомь-тесь: мой муж, университетский профессор, тридцать три года. А я? Я его жена. И еще его личный секретарь. Правда, Сережа, возьми меня личным секретарем, а? Я на машинке печатать умею, и я не бестолковая, ты же знаешь. Я бы все твои дела в порядок привела, а то ты задыхаешься... из-под бумаг выбраться не можешь, я же вижу... Ты мне как-то сказал, что я слишком красива. Но красивая — это не обязательно дура? А, профессор? В каких таких книжках ты это вычитал?.. Ты так не считаешь? Правда нет? Господи, спасибо тебе, хороший мой. А то я иногда совсем крылышки вниз... Сережа, а я знаю, почему ты на мне не женишься. Я напиваюсь иногда, могу до утра прогулять, со мной трудно, да? Но я изменяюсь, честное слово, изменяюсь. Мне ведь это все не нужно, это все про-

сто так, от скуки, ты же знаешь... Сережа, я тебя люблю, я буду такой, какой ты скажешь, ты даже не знаешь, какой я могу быть. Все эти студентки твои — что они знают? Что они видели, вертихвостки? Для них ты видный мужик, с положением — и больше ничего. Перед девками похвастаться, в люди куда-нибудь с тобой выйти. Я знаю, сама такая была. А для меня ты — все... Да нет, я знаю, что ты не бабник. Но у вас там столько этих красоток — того и гляди, вцепится какая-нибудь... Сережа, меня тоска замучила. Иногда прямо выть хочется: лезет всякая сволочь, пристают, за руки хватают. Ну и что, что у меня любовники были? А у кого их не было? Мне ведь двадцать шесть, я не ребенок. Ты-то умный, ты меня знаешь, и тебе на все это наплевать, а другие не знают, думают: манекенщица? — значит, общая. А я не общая! Я твоя и ничья больше не буду... Ненавижу! Ух, как я их всех ненавижу... Сережа, приезжай. Приезжай, хороший мой, ну, хоть на час, а?.. Нет. Не надо. Не приезжай — не слушай меня, дуру. Я сама, если приедешь, проклинать себя буду завтра... Сережа, меня все время колотит, прямо зуб на зуб не попадает. И плед не спасает. Что со мной, не знаешь? Можно, я еще глоток выпью? Последний, честное слово, последний. Ты не думай, потом накапаю себе валерьянки и лягу спать... Подожди. Поговори со мной еще немного... Сережа, хочешь, я тебе признаюсь? Только ты пойми меня, не подумай чего плохого... Мне иногда до слез жалко этого аборта. Прямо до слез. И как я тогда влипла? Дура пьяная... Сережа, не спи со мной больше никогда, когда я пьяна, обещаешь? Привезешь меня домой и уходи, даже если я цепляться буду, просить тебя. Ну дай мне, в крайнем случае, подзатыльник, я когда просплюсь — пойму... А представляешь? Была бы я сейчас с пузом, ты бы мне цветы дарил, ходил бы со мной везде — я же тебя знаю, ты ведь только вид делаешь, что ты такой серьезный, а на самом-то деле ты весь в соплях, еще хуже меня... Нет, ты не прав, я, наверное, была бы неплохая мать, я знаю... Сережа, я никогда тебе не рассказывала? Ведь когда мы с тобой встретились, за мной один драматург ухаживал, за муж звал, богатый. Как бульдог: важный такой, весь

в медалях, ступает тяжело, медленно. Он известный драматург, только я тебе его фамилии не скажу, не сердись... А, сам знаешь? Откуда? Впрочем, какая разница, откуда? Все мы в Москве, как черти хвостами, переплелись... Старый? Ну не такой уж старый... Сережа, ну что я несу?! Какой драматург? При чем тут этот старый козел? Я тебя люблю! Тебя! Милый мой, ну хочешь, я к тебе приеду? Вот накину сейчас пальто — и приеду... Ну пожалуйста, разреши. Я только посмотрю на тебя — и назад... Прости меня, я больше не буду, совсем голову потеряла. Мне нельзя с тобой по ночам разговаривать, ночью все так страшно... Хочешь я тебе новый анекдот расскажу? Забавный! Слушай. Качается на рейде большой белый пароход. Вдруг, откуда ни возьмись, крохотный буксирчик — черненький, грязненький, дым из трубы: чух-чух-чух...

«Эй, на судне! Хлебушка нет?»

«Д-да па-шел ты...»

«По-ол-л-лный вперед!»

Не смешно? А мне почему-то смешно... Представляешь? Белый, пузатый, важный, а этот черненький, махонький: хлебушка нет? Нет? Ну, и пес с вами! Полный вперед, шуруй, машина!.. Мне иногда тоже хочется так: вперед и прямо! По лужам, на шпильках, чтоб брызги в разные стороны!.. А, так и хожу? Ну вот, видишь... Сережа, во сколько у тебя завтра лекция? В девять? К одиннадцати кончится? Вот хорошо! Слушай, а давай в одиннадцать встретимся у «Националя» и позавтракаем вдвоем? Тебе же от МГУ два шага. Только пойдем на второй этаж, там в это время еще пусто. Сядем у большого стекла и будем смотреть вниз, на Манеж. Люди внизу куда-то спешат, суетятся. А мы с тобой за белой скатертью, и в зале пусто. И шампанское возьмем. И долго будем сидеть, долго, только чтоб никто не подсаживался. Хорошо, а? Достанешь денег? Если нет, не беспокойся, я достану. Бедный мой, я, наверное, уже все спустила с тебя, ведь это ужас просто, сколько мы с тобой тратим! Когда я выйду за тебя замуж, ни за что не позволю тебе столько тратить на женщин. Мы не будем никуда ходить, будем сидеть дома и копить деньги. Впрочем, нет.

Не будем копить. Ты на это не годишься. Ну, а про меня и говорить нечего. И в кого я такая шальная? Мама была тихая, отец тихий... Сережа, а может, я все-таки приеду?.. Не надо? Ну не надо. Правда, так будет лучше... Спи. До завтра. Я тебя люблю...

* * *

Алло! Сергей? Здравствуй... Узнал? А я, признаться, боялась, не узнаешь... Тебе можно со мной разговаривать? Ворчать не будут?.. А ты скажи, что я безобидная, уж меня-то ей бояться нечего... Она все воюет со мной? Зря. Я теперь так — дым, воспоминание. Меня и не было-то никогда на самом деле... Я разбудила тебя?.. Ну, конечно, как всегда. Три часа ночи, профессор спит, завтра лекция. Нужна свежая голова, иначе аплодисментов не будет, а мы привыкли к ним, нам без них нельзя... Прости, не хотела тебя обидеть. Просто я, наверное, злая стала. Старую, замуж никто не берет. Иногда сама себя ловлю: ну чего я злобствую? Чего?.. Пьяна? Конечно, пьяна. Разве трезвая я решилась бы тебе позвонить?.. Где гудели? А черт его знает где. Не помню. Люстра была какая-то огромная, и все рыла кругом, рыла... Как твоя дочка? Мне кто-то говорил, у тебя чудесная дочь. Сколько ей?.. Пять? А тебе, наверное, уже сорок?.. Господи, как время летит! Ты тоже постарел, профессор. Я тебя с месяц назад в театре видела, ты-то меня не видел, а я видела. Ты был с женой? Она хорошо одевается, это я профессионально говорю, можешь ей передать. Небось фыркнет. Но в душе-то будет рада, я знаю, все они такие... Сережа, милый, прости. Можешь секундочку подождать? Фары по стеклу полыхнули. Это Виталька Тепляков, больше некому, его манера. Он всегда так — как напьется, так ко мне. Говорят, его жена бьет... Подожди секундочку, я бра погашу, чтоб совсем темно было... Так и есть, его машина. Сейчас в окно стучать начнет. Я же на первом этаже живу. У меня теперь кооперативная квартира в киношном доме. В подъезде одни звезды живут. Такое количество звезд — прямо выть хочется! Ненавижу! Все как одна шлюхи, а туда же... Версаль, Трианон... Ну чего стучишь, болван?

Чего? Ведь ясно же, не открою. Тоже мне разлетелся! Тут, можно сказать, единственная любовь, в первый раз за семь лет, а ты... Смотри-ка: уехал! Или вправду поверил, что меня нет, или не очень пьян был. Ох, какой он тут однажды скандал устроил! Весь дом поднял: «Выходи! С кем заперлась, так твою разэтак?! Открывай! Убью!» А я ни с кем и не была... У, как я его иногда ненавижу, если бы ты только знал... Сережа, ну какая я дура! Ну зачем я тебе это, зачем? Какое тебе до всего этого дело? Ты всегда такой чистенький, такой ученый. Прости... Ты по-прежнему в университете? Доволен? Впрочем, чего я спрашиваю, конечно же, доволен, тебя всегда студенты любили. Твоя жена — тоже, кажется, твоя студентка?.. Аспирантка? Какая разница...

И как я все-таки, дура, тогда тебя прохлопала? Ума не приложу. В дыму все было, слишком, наверное, любила тебя. Э, да что теперь вспоминать... Ты-то как? Счастлив?.. Не знаешь? Как же так — не знаешь? А я думала, что ты единственный счастливый, кого я знаю... Милку Разумовскую помнишь? В сумасшедшем доме, третий год пошел. Вот уж, казалось, кремень баба, удавится — своего не упустит. А на поверку видишь, как вышло... Что я делаю? Да все то же. По «языку» больше не хожу, стара стала, в бедрах раздалась. Откуда-то чудовищная грудь выросла, сама не знаю, что с ней делать. Нет, ты не думай, пока еще не висит, до этого еще не дошло... Да нет, дойдет когда-нибудь, куда ж от этого денешься?.. Я теперь в конструкторском бюро, на мне новые тряпки примеряют. Модельеры что-нибудь придумают, ну а потом: «Майя повернись; Майя вы неловко встали; Майя, пожалуйста, шевельните задом, кажется, не очень удачно получилось»... Пробовала кино, ничего, конечно, из этого не вышло — так, ерунда, и говорить не о чем. Светских дам, сам знаешь, теперь не очень-то снимают, ну, а на горничных я не тяну, для этого высшее образование нужно, у меня его нет... Замуж? А как ты думаешь, профессор, после тебя легко выйти замуж? Ты об этом никогда не думал?.. Нет? Да после тебя ни лечь ни с кем, ни говорить ни с кем не хочется — все убожество, все дерьмо! Останови меня, а то

я сейчас материться начну... Был один мозгляк, год целый промучилась с ним, все меня жить учил. Не представляешь, какая сволочь! Он, видите ли, осчастливил меня, он, видите ли, знает как надо, он, видите ли, руку помощи мне подал! А сам меня на трамвае из загса домой привез: дело, говорит, не в деньгах, дело — в принципе, новую жизнь начинать надо! Радовался, крыса несчастная, когда его начальником сделали, целых двух баб в подчинение дали... Сережа, прости. Все равно уж я тебе ночь испортила. Подожди секундочку. Я налью себе немного. Меня колотит, сама не знаю, почему. Где-то тут портвейн был, Виталька, подонок, в прошлый раз оставил... Ну, твое здоровье, милый. Ты-то хоть вспоминаешь меня иногда? Вспоминаешь? .. Ты что, с ума сошел? Да разве можно пьяной бабе такие слова говорить?! Я и так на точке вишу, сейчас разрыдаюсь, а ты мне... Не надо, милый, не надо. Замолчи. Сейчас же замолчи!.. Приедешь? Куда приедешь? Ко мне? Сейчас? И думать не смей! Никуда ты не приедешь... Почему? Непонятно почему? Что с тобой, профессор? Ты ведь когда-то умный был?.. Приедешь? Значит, приедешь? А потом уедешь? А я потом вешайся, да? Нет, Сережа, было, и это уже было. Вены-то я уже себе вскрывала, хватит, знаю, что это такое. Да сама же, дура, и испугалась тогда, сама и «скорую» вызвала... Из-за чего? Думаешь, из-за тебя? Нет, Сережа, не из-за тебя. Во всяком случае, не только из-за тебя. Не знаю, в общем, из-за чего. Из-за всего... Пить перестать? А зачем? Можешь ты мне объяснить — зачем?.. Ах, здоровье? А кому оно нужно — мое здоровье? Тебе? Тебе нужно? Да ладно, Сережа, брось ты ерунду молоть. Уж кем-кем, а пошляком ты не был никогда... Делом заняться? Каким делом? Моим что ли? Было, Сережа, было. И это было. Я когда квартиру себе строила, по двенадцать часов вкалывала, с утра до вечера, с сеанса на сеанс, из ателье в ателье, с ног валилась, высохла вся, как щепка. Ну, набила себе квартиру всем, чем хотела: мебель с выставки, ковер, ванну разноцветной плиткой выложила. А потом как-то проснулась ночью, думаю: зачем? Ради чего? Да пропади ты все пропадом! Ради чего надрываться-то? Чтобы этот

подонок, Виталька, пришел и здесь разлежся? Не все ли равно ему, куда блевать — в голубой унитаз или в помойное ведро?.. Выгнать? Его выгнать? А зачем? Ну выгоню его — другой будет, еще хуже. С этим-то мы хоть как-то притерлись друг к другу, столько лет уже. Он хоть не злой, не жадный. Иногда мне его, обормота, больше, чем себя, жалко. Эх, Сережа, дело, дело... Какое дело?! Да разве это мне нужно?! Я баба, понимаешь? Баба! Мне бы ноги раскорячить и рожать одного за одним... На мужика орать, кастрюлками греметь, по очередям мыкаться — это бабье счастье! И другого никто не выдумал. Куда меня, Сережа, занесло, куда? И как все так получилось? Можешь ты мне сказать? Да нет, ничего и ты не можешь. И никто не может... Прости... Вот не знала, что такая мука будет с тобой разговаривать. Думала, помурлычу, порадуюсь за тебя, старое чуть-чуть вспомним... Погоди-ка. Бутылка-то, оказывается, только начатая. А я в темноте и не поняла. Ну, живем! Теперь мне до утра хватит... Да перестань ты! Что ты вмешиваешься не в свое дело? Я, может, в последний раз тебе звоню, может, я этот разговор потом годы буду помнить, вертеть его туда-сюда, голос твой вспоминать... Не надо? Лучше не надо? А о чем еще мне с тобой разговаривать? Хочешь анекдот расскажу?.. Нет? Так о чем же? О том, как я тебя люблю? Так ты этих слов не любишь, я помню... А, теперь не так? Теперь по-другому? Теперь, оказывается, и слова стали нужны? Долго ж тебе понадобилось, профессор... Дурак ты, Сережка, дурак. Женился бы тогда на мне, знаешь, как бы мы с тобой жили? Телефон? Какой? Мой? Не надо, хороший мой. Я баба слабая, увижу тебя — ножки подкосятся. Лучше я сама тебе как-нибудь позвоню... Скоро позвоню, скоро... Спи, у тебя завтра лекция. Я тебя люблю...

* * *

Простите, я могу попросить Сергея Александровича? Извините, что так поздно. То есть рано... Конечно, я все понимаю... Но это нужно... Хорошо, я подожду... Сергей? Здравствуй... Ну, конечно, я, Сережа, поздравляю тебя с сорокапятилетием, желаю тебе всего, что ты хо-

чешь, всего самого лучшего, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы ты не болел... чтобы дочка у тебя выросла счастливая, умная... Помню? Я многое, Сережа, помню. Я все помню. Помню, например, что ты родился на расвете, ты мне когда-то говорил... Хочешь, я тебе признаюсь? У меня план был: думаю, позвоню ночью, ведь не обматерят же меня в профессорской семье, зато я первая тебя поздравлю. Еще с вечера вышла в магазин, потом уселась в кресло, сидела вот, ждала, пока светать начнет. В общем, праздную твой день рождения... Одна? Конечно, одна... К телефону подходила жена? Тебе можно со мной разговаривать? А ты унеси телефон в большую комнату... Унес? Вот и хорошо. Я ненадолго, поговорю с тобой чуть-чуть, и хватит. У тебя завтра лекция? Нет? Странно — как это нет?.. Просто реже стал читать?.. Кафедра?.. Слушай, слушай, я тут как-то книжку твою купила, толстую... Какую? Ну, эту, про восстание камизаров во Франции, восемнадцатый век. Надо же, сколько написал! И хорошо написал, Сережа, даже я почти все поняла. Только одного не поняла, за что ты жалеешь эту сволочь? Сначала они резали, потом их вешали — чего уж тут теорию разводить? Сами напросились... Да ты что, Сережа? Ты в самом деле серьезно? Не надо, милый, не трать силы. Нашел с кем про великие дела говорить. С годами все-таки поглупел немножко, профессор, да?.. Не без этого? Ну вот как хорошо — ты опять смеешься. А я ляпнула и сама испугалась — вдруг ты трубку повесишь... Со мной что? Да ничего. И рассказывать-то нечего. Работаю теперь машинисткой в одной конторе, в основном беру работу на дом, так хоть рожи эти поменьше видишь. Я стала совсем домоседкой, Сережа, не поверишь... Кха-кха-кха-кха! Прости, закашлялась. Паршивые сигареты. «Дымок», черт бы их побрал. И кто мне их вчера в карман сунул?! Не помню. Наверное, этот дурак усатый, больше некому. Еще домой ко мне просился. Как же! Так я и пустила, держи карман. Господи, какие же все-таки мужики дураки... Наврала? Я тебе наврала?! Да я, Сережа, в жизни тебе ни одного лживого слова не сказала! С чего ты взял? .. Так это ж днем было, днем!

А вечером я знаешь какой тут Версаль развела? Цветы на столе стоят, шампанское, платье на мне — ты бы поглядел! Только оно тесное стало, растолстела я, как корова, самой противно. И чего меня разносит? Не могу понять. Вроде и не ем почти что ничего... Виталька Тепляков? А ты что, не знаешь? Ты правда ничего не знаешь?.. Умер. От водки сторел. Два инфаркта подряд — много ли ему, бедняге, надо было? Он ведь еще и вкалывал дай Бог, все надеялся, что его заметят. Не дождался. В сорок два года откинулся: двое мальчишек, жена-дура... Жалко? А как ты думаешь? Конечно, жалко. Он хоть и подонок был, но никому зла не сделал... Кто сейчас со мной? А тебе это очень нужно знать?.. Нужно? Зачем?.. Помнишь, ты еще когда-то меня страшал: дескать, кончу тем, что с водопроводчиком буду спать? Одно могу сказать, что пока это еще не водопроводчик. Но уже близко... Не ты? Разве не ты? Ну, значит, я все перепутала. Туман все время какой-то в голове. Да, наверное, это был не ты. Ты не мог мне так сказать, ты же деликатный, ты меня любил... Сережа, а ты меня любил? Ты меня правда любил? Или я все сама выдумала?.. Ну вот, это опять ты. Прежний ты. Значит, не выдумала... Не надо, Сережа, хватит. Ты все же выбирай слова, а то я разревусь. Какой же тогда это будет праздник? Нареветься всласть я и без тебя могу... Сережка, какой все-таки у тебя голос! Сколько лет прошло, а голос не изменился. Я теперь понимаю, за что я тебя любила: за голос... Нет, не только за голос, конечно. Больно ты не похож был на всю эту шушеру, что тогда вокруг нас колготилась, Милку Разумовскую помнишь? И ее уже нет. Так в сумасшедшем доме и умерла. Я ее хоронила. Одна. Представляешь? Надрывалась девка, надрывалась, а похоронить оказалось некому. Постояла над могилой, вспомнила, какая она была когда-то. «Я жду тебя, Робеспьер!» — помнишь ты мне рассказывал? Не помнишь, конечно. Да неважно... Ну? Ну, говори, что ты мнешься? Кому-кому, а нам-то с тобой вроде бы не пристало церемонии разводить... Спиваюсь? Страшно?.. Нет, Сережа, не страшно... Да ладно, перестань ты... Майя, Майя... Что Майя? Была Майя! Что ты мне лекции читаешь, профес-

сор? А где ты был двенадцать лет назад?.. Прости, Сереженька, не хотела тебя обидеть, не за этим позвонила. Думаешь, я сама не знаю, во что превратилась? Да я теперь к зеркалу боюсь подходить — неужели это я? Эта толстая старая баба с оплывшими глазами — это я, Майя? Ну, а что делать? Прикажешь удавиться? А помнишь, какая я была? Не было мужика, чтобы на меня не обернулся. А как мы с тобой дымили! И откуда только силы брались? Театр, ресторан, ночь до утра, наша ночь, а утром опять все по новой, опять дым, колесо, и так не день, не два — жизнь, вечность! Ты, профессор, был великолепный любовник, должна тебе признаться. Ни у кого из наших девок такого не было. Умный, щедрый, как принц, ласковый. Красивый даже, если хочешь знать. Я очень твои очки любила, ты это знал?.. Нет? Стеснялся их? Дурак... Брось, Сережа, все, что ты мне скажешь, я сама себе уже говорила тыщу раз... Слушай, что я за гадость пью? Кислятина какая-то, одно название, что шампанское. Где-то тут у меня была еще емкость. Подожди секундочку, я поднимусь, достану... Ну вот, все в порядке... Ну что, друг ты мой единственный? Твое здоровье! Я тебя люблю, Сережа, до сих пор люблю. Да только теперь это уж не имеет никакого значения... Имеет? Ты думаешь, имеет? Может быть, и имеет, не знаю. Ничего я, Сережа, не знаю. Так ничего я в жизни и не поняла. Хоть бы ты мне, профессор, объяснил, как все так получилось... А, ладно. Все это ерунда, наплевать... Хочешь, я тебе новый анекдот расскажу? Слушай. Качается на рейде большой белый пароход. Вдруг, откуда ни возьмись, буксирчик, черненький, грязный, ободранный весь, краска облупилась, дым из трубы: чух-чух-чух...

«Эй, на судне! Хлебушка нет?»

«Д-да па-шел ты...»

«По-ол-л-лный вперед!»

Не смешно?.. Другие смеются. А мне почему-то тоже не смешно. Хлебушка, видите ли, ему надо. Тоже мне, разлетелся. Д-да па-шел ты!.. И зачем я тебе это рассказала? Сама не знаю... Сережа, а ты был ли на самом деле? Был? Или это все мне приснилось? Вдруг

я проснусь, а тебя на самом-то деле и не было никогда?.. Приедешь? Ко мне приедешь? Когда? Завтра? А ты не боишься? Ты хоть представляешь себе, что ты увидишь?.. Без разницы? Ну приезжай, раз без разницы. Пиши адрес... Правда, чего это я, на самом-то деле? Ну, приедешь. Приедешь и уедешь. Что от этого изменится?.. Мне, Сережа, теперь все равно. Если бы ты только знал, как мне теперь все равно. Иногда одно только желание — сдохнуть бы поскорее, чтобы и следа от меня не осталось. Эх, не так все вышло, хороший ты мой, не так! Все не так... Спи. Утро уже. Воробьи вон, слышишь, как расчирикались? Спи...

1976

Визит

-Идиот! Нет, боже мой, какой идиот! Голова почти седая, вставных зубов полон рот — и так дать себя провести! Как мальчишку, как сопливого мальчишку... Ребеночек тоже нашелся, деточка! Сто тысяч! Господи — сто тысяч! За пять минут! Стыд, срам. Обманули дурака, обвели вокруг пальца, то-то теперь смеху — внукам рассказывать будут! И поделом тебе, раззява, поделом. Ах, подлецы, какие же подлецы.

Прошло уже пять дней, как это случилось, а Глеб Борисович Суханов, когда-то рядовой администратор ленинградской филармонии, а ныне заместитель директора одного из известных московских театров, мужчина видный, плотный и по-своему даже красивый, в самом, что называется, цвете лет, все не мог никак прийти в себя.

В деловом полуподпольном мире Москвы Суханов был фигура — не из самых крупных, конечно, нет, но все-таки фигура. С ним считались, имя его обычно произносилось с уважением, слово ценилось, и знакомством с ним гордились многие, причем не только деловые люди, но и те, кто к делам не имел никакого отношения. Однако и для него такая сумма была, безусловно, значительной, так просто ее из кармана не вынешь, в конце концов, он же не печатал деньги, Бог свидетель, ему они тоже доставались нелегко. Но обидно было даже не это, обидно было другое: провели... Как последнего дурака, как пьяного купца на Нижегородской ярмарке. Да купцам-то, в конце концов, было все равно, где, куда швырять деньги: скандал ли учинить, трехметровое зеркало разбить в ресторане, в Париж ли махнуть или так, за здорово живешь, за кураж, кинуть сотню тысяч в морду какому-нибудь проходимцу — на, знай наших! Нас от этого не убудет, только крепче станем, имя — тот же кредит! Теперь-то и жизнь другая, и масштабы, крутись

не крутись, не те: если бы была у него возможность развернуться по силам, если бы не путала его эта власть по рукам и ногам — тогда другое дело. Тогда бы и сто тысяч — что такое сто тысяч? Плевать! В неделю наживем... Надо сказать, что Суханов был глубоко убежден, и не без основания, что дай ты ему эту возможность — никакой Сол Юрок или Карло Понти ему бы и в подметки не годились... Эх, только некуда девать силы человеческие, никому они не нужны... Хорошо этим там, у себя! А пробовали бы они здесь повертеться: какая же нужна осторожность, сколько нужно изворотливости, ума, такта, личного обаяния, наконец, чтобы наладить более или менее серьезное дело. И мало наладить — вести его дальше так, чтобы не сорваться, не подставить ни себя, ни других, чтобы в случае чего и концов-то никаких никто не мог найти. Эта чертова власть все время висит как волкодав на загривке, того и гляди, враз перекусит тебе шейные позвонки... Да ладно сам загремишь, семья по миру пойдет — вот что страшно, не приведи Бог никогда и никому. Это только так, легенда, что компаньоны потом выручат, поддержат — черта с два они потом поддержат, разве что по пустякам, первый год, ну два от силы, больше не надейся, дураков нет, каждый за себя, один Бог за всех... Но ничего, мы тоже не лыком шиты. Обидно только, что стараешься, надрываешься — и все это ради чего? Ради того, чтобы потом тебя в пять минут раздели, ограбили посреди бела дня — и кто?! Шушера, рвань, шпана несчастная, которой иной раз и руки-то не подашь, а вот на тебе: взяли за горло мертвой хваткой, куда ты теперь от них денешься, хочешь не хочешь — плати...

Долго же будет он помнить потом этот маленький обед в ресторане «Варшава», начавшийся так тихо и скромно, в одиночестве, почти в полупустом зале. Ресторан этот — ближайший к Парку культуры, кормят в нем неплохо, и после игры на бильярде в зале того же парка он обычно обедал здесь один, а после ехал к себе в театр...

Глеб Борисович был игрок, игрок солидный, что называется, без глупостей: несмотря на весь свой демократизм, он обычно очень четко знал, с кем играть, а с кем не играть, — конечно, если речь шла о серьезной игре, — с кем

вести компанию, а с кем, наоборот, сохранять дистанцию, не роняя свой, прямо скажем, нелегко и непросто завоеванный авторитет и ту респектабельность, которая так выгодно отличала его в глазах определенных московских кругов. Уже давно и похоже, что прочно, за Сухановым утвердилась репутация барина — он очень дорожил этой репутацией, умело, с прирожденным чувством меры и такта поддерживал ее, а если и выходил иногда из образа, то потаенно, скрываясь от всех своих близких знакомых, так, чтобы никто и ничего не знал... Ну что ж, это тоже понятно: нервы-то не стальные, человеку нужна время от времени встряска, разрядка — пошуметь, вывалиться в грязи, без этого нельзя, не выдержишь, да и какой же русский, в конце концов, не любит быстрой езды?! Дым, гульба, шампанское, молоденькие продавщицы или парикмахерши, загородный ресторан, потом чья-то дача, кутеж на двое-трое суток, похмелье, серое утро, пустые бутылки, сигарета, как пароходная труба, воткнутая в кружок колбасы, женские юбки, разбросанные по стульям... Но игра — нет, это не разрядка! Игра в его жизни значила совершенно иное. Это было любимое времяпрепровождение, отдых, хорошо отутюженный костюм, чистота, общение с приятными тебе людьми. Ну, а азарт... Азарт, конечно, в нем был — и еще какой! — но в том положении, которое он занимал, азарт приходилось всеми силами давить. Разве что позволишь себе иной раз, смехом, взять карту, когда рабочие сцены в ожидании спектакля сидят, перекидываются в «двадцать одно», или на бегах вдруг ни с того ни с сего поставишь черт-те какую сумму... Но и в этих случаях он никогда не терял головы и вовремя прекращал, когда начинало слишком уж везти или, наоборот, слишком не везти.

Суханов играл на бильярде, играл, конечно, — и очень регулярно — на бегах, но больше всего любил и ценил он тихие вечера у камина в своей давно сложившейся компании, в квартире у известного профессора-уролога, где они собирались раза два в неделю и играли — иногда в бридж, реже в покер, бывало, что и для баловства в канасту, но в основном в преферанс, старый, милый, добрый префе-

ранс, где важен сам процесс, уют, размышления, меняющийся каждый раз рисунок партии, а вовсе не тот чепуховый выигрыш или проигрыш, который ждет тебя в конце игры, — конечно, если партнеры равны по силам и давно знают друг друга. А они знали друг друга давно, компания подобралась очень солидная: профессор, отставной генерал, директор крупного писчебумажного магазина, Глеб Борисович и иногда еще один довольно известный драматург, бесподобно владевший производственной тематикой, но в картах, надо признаться, немного жадноватый, следовательно, не слишком надежный как партнер, а потому и бывший у них не столько основным, сколько запасным... По правде говоря, натуре Суханова больше бы соответствовал покер — игра азартная, с крупными ставками, но он, во-первых, и здесь, в этой компании, не терял бдительности, предпочитая не дразнить чужие глаза своими деньгами, а во-вторых, приходилось, что называется, приспособливаться к обстоятельствам: генерал по своим доходам явно не тянул на покер, у профессора тоже вроде бы имелись свои пределы, а драматург так тяжело переживал каждый свой проигрыш, что было ясно — для серьезной, большой игры он просто не годится, еще, чего доброго, донесет, лишь бы только не платить никому...

Нет, что ни говори, жизнь его пока складывалась неплохо, особенно если оглянуться на то, с чего он начинал... Неполучившийся актер, мелкий администратор на побегушках, вечная суета, погоня за копеечным заработком — не дела, нет, делишки, боже мой, какая мелочь, одно слово, шахер-махер, вспомнить сейчас и то совестно, — стерва жена, ни в грош ни ставившая его и изменявшая ему налево и направо, с кем попало... Однажды, было дело, он даже застучал ее с каким-то мальчишкой — фарцовщиком из тех, что вечно околачиваются у подъездов «Астории» или в аэропорту... Балерина... Шлюха, а не балерина... Теперь-то небось локти кусает с досады: кому ты, старая дура, нужна в свои сорок-то лет, скажи спасибо, что хоть в деньгах не знаешь недостатка, да и то не ради тебя, ради дочери, тебе бы я и рубля не послал — иди на панель, зарабатывай, а если не можешь, так хоть с голоду подохни, мне-то что за

дело, я-то свое с тобой, слава Богу, отмучился, отслужил... Все изменилось — и изменилось в принципе, — когда он решился наконец бросить эту ведьму, женился на Регине и перебрался из Ленинграда в Москву. Конечно, это было трудно, что называется, с кровью отрывал. Дочь... Дочь он любил без памяти — пушистое, ласковое существо, с аршинными ресницами, с глазами, в которые бы только смотреть и смотреть и забыть, не помнить, что здесь же, за другой дверью, начинаются грязь, ужас, визг, черт знает что... Но он и сейчас перед ней чист, считай, что она уже обеспечена до конца жизни, еще и внукам останется, а отношения у них сохранились прекрасные, даже лучше, чем с Максимом, сыном от Регины: правду говорят, что для отца дочь всегда дороже, чем сын... Как она виснет у него на шее, когда он приезжает! И не в деньгах дело, не в подарках, и не в том, что он одевает ее с ног до головы, что он устроил ее в театральный институт, познакомил с тем, с кем надо, дорога ее уже и сейчас ясна, не будь только дура, а она не дура, нет, — а в том, что они друзья, что они понимают друг друга с полуслова и никто им не нужен, когда они вдвоем: могут целый день прогулять вместе по Павловску или Петергофу и говорить, говорить... О чем говорить? Да неважно, о чем, важно, что им хорошо вдвоем, без всякой науту хорошо, а слова — что слова, это все так, дым...

В Москве, конечно, тоже сначала пришлось побегать, не без этого. Но здесь все-таки было легче. Видимо, он сразу ухватил именно тот стиль поведения, который и был единственно верным: скромно, с достоинством, не слишком выделяясь, но не давая в то же время наступать себе на пятки, выполнял свои обязанности, присматривался, осторожно, исподволь налаживал связи, если надо — не скупился, но и не был дураком, не пускал пыль в глаза, учился, читал, охотно ходил в гости и так же охотно звал к себе, нередко вкладывая и деньги, и время в людей, польза которых в данную минуту была не совсем ясна даже для Регины, а ему — ему видна, только не сейчас, а потом, в перспективе... Что ж, все как должно: сначала администратор плохонького театра, потом — хорошего, теперь заместитель директора того же театра, не сегодня-завтра

его же и директор, ведь эта развалина, этот красноносый пьяница, ясно же, долго не протянет, еще год, два — и на пенсию, никто тогда не будет искать топор под лавкой, вот он — готовая замена, молодой, сорок пять лет, профессиональная подготовка вполне на уровне, отношения с коллективом прекрасные, с райкомом тоже, в министерстве его знают, к его мнению прислушиваются... Все налажено, все идет само собой, теперь только терпение, только бы не оступиться, не сделать неверного шага: построить трудно, а вот развалить — развалить большого ума не надо, сам не сумеешь — другие помогут, за этим дело не станет, охотников на это, как говорится, хоть пруд пруди...

Неоценимое преимущество нынешнего положения Суханова заключалось в том, что он везде был свой. Входил ли он один или со своей женой — женщиной холеной, статной, одетой всегда просто и дорого, с тщательно уложенной головой, пара камушков в ушах, да перстень на пальце, больше ничего — в какой-нибудь клубный ресторан, в ВТО, Дом кино или Дом литераторов, он был здесь по праву, и никому даже в голову не приходило задаться вопросом, зачем, почему он здесь, а не где-нибудь в другом месте; видели ли его на концерте, на прогоне или на премьере нового фильма — удивительно было не то, что он сидит, как обычно, во втором ряду или в ложе, а почему его нет или, по крайней мере, нет его жены; сидел ли он в президиуме важного собрания — это тоже было всем понятно, в конце концов, уважаемый, заслуженный человек, ценный работник с большой перспективой на будущее; наконец, если он попадал в круг деловых людей или серьезных игроков, его и там всегда встречали с почтением, а некоторые и с явной завистью — сумел же вот устроиться человек: и денег, говорят, немало, и положение блестящее, что называется, комар носа не подточит, и связи — дай Бог каждому, и держаться умеет так, что невольно делается неловко за свое безысходное плебейство, или дурно сшитый, слишком броский костюм, или за свою клушу-жену, которую показать-то на людях — и то стыдно.

Этих-то он особенно понимал, прекрасно понимал и даже по-своему сочувствовал им. Было время, когда и он,

уж не бедный, очень не бедный человек, попадая, по случаю, в дом к какому-нибудь тихому, невзрачному доктору даже и не выговоришь каких наук или к какому-нибудь взломаченному очкастому литератору, из тех, кого не печатают и печатают-то, наверное, не будут никогда и ни за что, тоже испытывал это обидное и ничем, казалось бы, не оправданное чувство приниженности. Почему? А черт его знает, почему. И одежка вроде бы некудышняя, и мебелишечка дрянная, и на столе сплошное убожество, и цена-то хозяину вместе с его хозяйкой грош в базарный день, а вот, поди ж ты, не ровня ты ему, и все. И даже если крикнуть, что ты покупаешь сейчас их всех на корню, с потрохами, со всеми их книгами, со всей их умственностью, — на дверь и то не укажут, пожмут только плечами, и больше ничего... Но и с этими тепер, считай, что наладилось: если и сам он все-таки еще хоть чуть-чуть, но чужой, то Регина-то везде своя, даже и среди этих людей. Красивая женщина — она везде красивая женщина, будь ты хоть десять раз академик, к тому же и актриса она неплохая, какое-никакое, а имя уже есть.

Ну а что касается деловых людей — здесь-то он может потягаться с любым, без всякого хвастовства. А что? Все есть, проблемы что-либо достать уже давно не существует, дом его — полная чаша, не дом даже, а музей, номер машины — 00-04, свой парикмахер, свой стоматолог, своя сауна, в любом ресторане — свой метрдотель, портной — лучший в городе, все действует с точностью часового механизма, телефонный звонок — и беспокоиться не надо, еще и на дом принесут, и никаких особенных усилий, две-три контрамарки на хороший спектакль — и нужный человек, что называется, на крючке... Дача? А на кой ему дача? Без нее спокойнее. В любую минуту в любом отеле страны — номер его, два-три звонка — и в каком хочешь Доме творчества хоть в Подмоскowie, хоть в Прибалтике, хоть на юге его ждут не дождутся и, естественно, не одного, с семьей, а если очень надо, то и не с семьей... Валюта? Вот это уж нет, ни в коем случае — что он, враг самому себе? Ему еще жить хочется, а с этим делом чуть какая оплошка — и конец, скажи спасибо еще, если жив останешься, государственная безопасность — с ней шутки

плохи... Свои-то, отечественные деньги пока еще никто не отменял и отменять не собирается, на его век хватит. Камни, фарфор, картины, книги, наконец, — это другой разговор. Это надежно, у Регины хороший вкус, она знает, что покупать; кроме того, есть специалисты, на кого можно положиться. Да и от инфляции лучшая страховка, ведь они не дешевеют — дорожают с каждым днем.

Но: осторожность, осторожность и еще раз осторожность! Как однажды сказал его друг по картам, директор писчебумажного магазина: «Глеб, я могу делать в месяц и пять, и десять тысяч. Но я делаю две — и сплю спокойно...» Конечно, до этого блаженного состояния ему еще не близко. Но, впрочем, и не так уж далеко. Пару-тройку лет хватит, назначат его директором, тогда и можно будет со спокойной душой отойти от дел. Куплю тогда дачу в Переделкино, буду тюльпаны разводить, в гости ходить к хорошим людям, играть по маленькой, книжки читать... Дочь, Алену, в Москву перетащу, в кино пристрою, с ее-то данными ей сам Бог велел, не в дыре же этой прозябать ей всю жизнь... И Максима еще надо в люди вывести: мальчишка смышленный, лучше бы его пустить по ученой линии, а не получится — тоже не беда, найдем что-нибудь другое, можно и во внешторг или в дипломаты попробовать, пусть поедит, посмотрит мир. Была бы основа, чтобы не суетился на первых порах. Ну, а это-то — что-то, а это-то мы ему создадим... Ведь это возможно, это же все действительно возможно! Ведь есть же такие люди, и он знает их сам, лично знает, не по легендам, не по рассказам других. Ничего им теперь не страшно, и ухватить их никак не ухватишь, и в то же время все, что нажито, при них. Вон, Арменак, старая лиса... Большое дело имел в Баку, миллионное дело, а теперь? Тихий, скромный завхоз поликлиники в Кузьминках, пенсионер, откуда что — поди теперь докапайся, докажи. Дело-то ликвидировано, следов никаких, десяток лет уже живет себе на даче припеваючи, меценатствует, лошадами интересуется, внуков растит... Ну а он, Суханов, что — хуже других? Все рассчитано, все выверено десятки раз, там, где надо, уже давно соломки подстелил, придется падать, не дай Бог, — так не до смерти же! Небось

не расшибется, в крайнем случае — злоупотребил влиянием, а денег никаких. Это уж вы бросьте: на выговор — согласен, наказывайте, прошляпил, век живи — век учись, прошу дать возможность загладить свою вину, оправдать оказанное мне доверие, столько лет без единой ошибки, а как так случилось — и сам не пойму, ей-богу, не пойму. Подвели, сукины дети, доверился, бдительность потерял...

Собственно, опасность может исходить только от трех человек, больше никто к нему теперь прямого отношения не имеет. Да нет, даже не от трех — от двух... Какая опасность — администратор его же театра? На трезвую, холодную-то голову? Ни в каких левых делах сам Глеб Борисович теперь уже не участвует, хватит — набегался в свое время, пусть теперь этот побегает, повертится, человек он молодой, ему еще расти и расти, всякие там левые концерты — его забота. Ну, а что Суханову тоже ежемесячно полагается конверт — так это что ж, от этого в любую минуту можно отпереться: мол, знать ничего не знаю, это он мне давний долг вернул — и больше никаких, не впутывайте меня в свои делишки, как хотите, так и разбирайтесь, я — вот он я, весь на виду... Знал, говорите? Ничего я не знал — все поклеп, клевета, подсиживание, враги свалить хотят, место для кого-то расчищают. Разве можно верить таким людям? Мошенники, хриstopродавцы, сами же видите, какой народ!

Но это все так, мелочь, на текущую жизнь: серьезные дела делались, конечно, не там, не в театре — в другом месте, и вот там-то и был действительный риск. Весь свой основной капитал Суханов — на паях — вложил в обширное мануфактурное дело: компаньон, Захар Григорьевич, давний его знакомый, был человек проверенный, надежный, вел все дела сам и ответственность, в случае чего, по договоренности, брал тоже на себя, один. Но кто и за что может ручаться в таких делах? Конечно, Суханов лишь финансировал предприятие — а кто знает, кто видел, где доказательства, где хоть одна расписка? — а в остальном был у Захара только вроде консультанта по связям, знакомил его, с кем надо, в министерствах и других учреждениях. Ну, участвовал еще в выработке общей политики предприятия, указывал иногда на некоторые новые возможности, советовал ему

по части маркетинга... Но, помимо компаньона, нарочно не знал никого из дела, упаси Бог — специально не знал, ни одной души! И передача полагающихся Суханову доходов тоже вроде бы была организована очень продуманно, с постоянной оглядкой, нет ли где какого хвоста... Происходило это обычно в его машине, где-нибудь на пустом отрезке шоссе за городом или, но реже, в тихом арбатском переулке... Кроме того, в машине была оборудована маленькая хитрость — секрет фирмы — так, что в любой момент пакет с деньгами можно было сбросить, а там — пойдешь докажи, и тот и другой знали свое дело, все-таки тоже ведь не дураки... Если Захар Григорьевич горел, какие могли быть претензии к нему, к Суханову? Старый знакомый по бильярду, исключительно симпатичный человек, умница, к тому же большой поклонник моей жены, домами даже встречались раз-другой — не часто, нет, этого не скажу — беседовали, иногда, бывало, спрашивал мое мнение о некоторых людях, иногда просил познакомить кое с кем... Зачем? А почему не познакомить? Мне-то какое дело? Мало ли зачем они ему нужны? В миру ведь живем. Такой порядочный, респектабельный человек, кто бы мог подумать?.. Деньги? Мне? Какие деньги? Вы что, шутите? Он говорит? Да мало ли что говорит? Вот негодяй, не ожидал... У вас что, есть доказательства? Ах, нет? Ну, тогда до свидания, мы свои права тоже знаем, не худо бы, между прочим, и извиниться на прощанье, не очень-то это все красиво, с вашей-то стороны.

Все это так, конечно. Все так. И все-таки... И все-таки холод, омерзительный, сосущий холод внизу живота, который уже год подряд, стоит лишь ему подумать об этой другой его жизни, о которой никто, даже Регина — и та толком почти не знала ничего.

И это еще не все: похоже, он все-таки перемудрил в своей осторожности. И зачем ему понадобилось впутывать в эти дела еще и театральную кассиршу? Впрочем, зачем — понятно: вполне естественное опасение, что деньги, которые ему передавал Захар, рано или поздно могут быть помечены, гораздо спокойнее обменять их на кассовую выручку — и дело с концом. Но за это, во-первых, надо спать с этой женщиной, а спать, разумеется, не хочется, а она дуется,

обижается, если интервалы слишком велики, во-вторых, все время ломать себе голову, что ей подарить, ну а третьих — в-третьих, в случае чего, это-то как объяснишь? Нет, с этим надо кончать, пока не поздно: в конце концов, меньше риска — лучше пачка денег, пусть и помеченных, но запрятанных в одном ему известном тайнике, чем эта баба. Кто ее знает, что ей вдруг в голову взбредет? Говорит, что любит, а хуже этого, как известно, нет ничего. Попробуй в их душе разберись: что хочет, то и выкинет, с тобой же вместе сядет и всем же потом будет говорить — по любви...

Он успел уже покончить с закуской, когда эти двое подошли к его столу. Одного — по прозвищу Фордзон — он знал, это был такой же постоянный, как и он, посетитель бильярдного зала, несколько раз они даже играли друг против друга. Игрок был хороший, нечего сказать, сильный игрок, только весь какой-то оборванный, длинный, худющий, лопатки торчком, на плечах перхоть, вроде как бездомный, присмотреть небось и то некому, ясно: живет один. Впрочем, даже и это по-своему говорило в его пользу — профессионал, не ошибешься. Одной игрой, значит, жив человек, на остальное на все наплевать. Другого — довольно представительного мужчину лет тридцати пяти, в кожаном пиджаке, с атташе-кейс в руках — он тоже где-то видел, только никак не мог вспомнить, где: наверное, на бегах, где же еще, не так уж много в Москве мест, где может примелькаться даже и незнакомый человек. Фордзон, поздоровавшись, попросил позволения присесть. Зал успел уже наполниться, было обеденное время, московский служивый люд пошел косяком, официанты вихрем носились от стола к столу. Делать было нечего, Суханов любезно кивнул головой, хотя, в принципе, этого не одобрял и не любил; что за привычка дурацкая — обязательно подсаживаться, а может, человек хочет быть один, люди надоели, имеет он на это право или нет?

Подошел официант. Фордзон и его спутник тоже заказали — заказали солидно, по полному развороту, не по дежурному меню. Такой заказ нужно было ждать, но, судя по их виду, они никуда не торопились и согласны были ждать: здесь хорошо — чистота, тепло, уют... Стол их

стоял в углу, у окна, и если Суханову отсюда был виден почти весь зал, то подсевшие к нему, наоборот, уселись к залу один спиной, другой боком, да еще и стулья сдвинули поближе и сами придвинулись плечо к плечу. Суханов скоро понял, в чем дело: они играли, вернее, продолжали уже начатую где-то перед тем игру. Играли в штосс. Ну, что ж, играли — так играли, значит, так надо, прихватило, не нашли вот другого места и все, эка важность — обед. Игра есть игра, и не ему их осуждать.

Суханов сидел, рассеянно ел свой суп, изредка перехватывая обрывки фраз, которыми обменивались игравшие, но в суть их не вникал, мысли его были далеко... Как раз на днях ему пришлось принять одно серьезное, очень серьезное решение: Захар предложил расширить дело, открыть филиал в Калуге. Суханов, хотя и не без колебаний, согласился. Ну, естественно, для этого нужны были деньги, некоторый начальный капитал; условия те же — на паях, пятьдесят на пятьдесят. Пришлось-таки основательно потрясти все свои наличные ресурсы, какое-то время теперь придется быть поскромнее, жди, когда еще этот филиал начнет приносить доход... Кроме того, Захар что-то много стал нервничать в последние дни, чует ли что, боится или просто так, усталость сказывается: предложил подумать над каким-нибудь другим, более надежным способом передачи его, Суханова, доли в дивидендах, без личных встреч в машине ли, не в машине — все равно. А что придумаешь? Не под камень же класть! Сиди теперь, голову ломай. Но и сердиться на компаньона тоже нечего. Сердце, значит, подсказывает, за дело болеет человек, за них же за обоих тревожится. А в голове ничего, пустота — впору хоть детективные романы начать читать. Барин! Устроился в эмпиреях! Смотри, Суханов, совсем мышей ловить перестаешь, эдак можно и вконец от жизни отучиться... Ладно, что-нибудь придумаем. Школа за плечами неплохая, солидная школа. Главное, только не спешить, не хвататься за первую же попавшуюся мысль...

— Глеб Борисович, — неожиданно прервал его размышления Фордзон. — Может, войдешь в одну десятую, а? На счастье? Что-то уж больно везет... Боюсь,

не по заслугам — по грехам... А у тебя — тьфу-тьфу, не сглазить бы — рука легкая, давно замечено. Не только в игре — во всем...

Принесли графинчик с водкой, закуску, пару бутылок минеральной воды. Фордзон, не спрашивая его согласия, разлил по рюмкам всем троим — пришлось выпить, отказываться было не в его правилах: как говорится, не плюй в колодец, еще пригодится человек, мало ли что...

— Ну, Господи, благослови... Так как, Глеб Борисыч? В одну десятую? Идет? А?

— Настаиваешь?.. Ладно, идет... Только не зарывайся. Я не очень при деньгах.

— Так и мы по маленькой... Сам знаешь, какие наши доходы. Не в Монте-Карло живем.

Почему он согласился? А черт его знает почему. По дурусти. Подумалось: откажешься — скажут, брезгует, стесняется, возомнил о себе неизвестно что. Нет уж, попал — значит, попал, держись, сохраняй лицо, дешевле проиграть десятку-другую, за репутацию ведь тоже надо иногда платить... Вот с народом посидел, человеку уважение оказал — это тоже капитал, тоже зачтется, обязательно зачтется, неважно, где и на каких счетах. Жизнь этот баланс строго соблюдает, не раз уже он убеждался в этом и на себе, и на других... Какое-то время Суханов следил за игрой, потом, убедившись, что игра честная и ставки не выходят за пределы обычных — сотня туда, сотня сюда, — опять задумался, отвлекся, перестал следить.

Дела, конечно, делами... Но главная забота его была сейчас другая, огромная забота, больше, чем любое дело, и эта забота теперь ни на минуту, ни днем ни ночью не выходила у него из головы. Никогда он не думал, никогда и в мыслях даже не мог предположить, что ему придется решать такой вопрос. Конечно, он знал, слышал, что в последние годы кое-кто именно так пытался устроить или же устроил свою жизнь. Но все это касалось не его, все это было как-то вне его, вне его привычек, убеждений, привязанностей, планов на будущее, да в конце концов всего, что составляло его жизнь — ни много ни мало сорок пять лет.

Свалилось это как-то сразу, без всякой подготовки, как снег на голову. И, честно говоря, чуть не впервые в жизни он растерялся... И чем дальше, тем больше чувствовал, что этот узел ему теперь так просто, без какого-то чудовищного ущерба, ни развязать, ни разрубить.

Месяц назад, вечером, когда они оба вернулись из театра и сидели на кухне, тихо-мирно пили чай, Регина вдруг ни с того ни с сего, на полуслове, оборвала привычную болтовню о каких-то светских пустяках и, резко, локтем отодвинув чашку, так что она даже тренькнула, сказала, глядя ему прямо в глаза:

— Глеб, все, хватит. Я хочу, чтобы мы уехали.

— Куда?

— Куда? В Швейцарию, в Голландию, в Америку, наконец, — куда хочешь, мне все равно.

— Куда?!

— Не валяй дурака. Ты прекрасно понимаешь, куда. Мы должны уехать, Глеб. Я больше не могу. Не могу и не хочу.

— Ты что, с ума сошла?!

— Ничего я не сошла. Я уже давно об этом думаю. И удивляюсь, почему не думаешь ты. У нас же есть эта возможность, ты же знаешь, я могу устроить вызов... Глеб, надо уезжать. Уезжать пока не поздно...

— Что ты имеешь в виду?

— Все.

— Что — все? Мои дела?

— И твои дела, и свои дела — все. Я больше не хочу, Глеб. Мне невыносимо, мне тошно здесь! Хоть криком кричи... Каждый раз, как я надеваю свою шубу, мне все кажется, что я делаю что-то до такой степени неприличное, что меня сейчас схватят, арестуют... Камнями закидают, Глеб! Неужели ты не понимаешь, что больше так нельзя?.. Еще пять, десять лет — и я старуха, Глеб!

У него тогда хватило твердости довольно резко оборвать этот разговор. Но, оказалось, это было только начало. Регина, видимо, твердо решила поставить на своем и теперь каждый вечер обрабатывала его со свойственной женщинам методичностью, пуская в ход поочередно, а то и разом слезы, уговоры, логику, нежность, угрозы — все. Борьба

с ней было трудно, ох как трудно, и эта борьба в последнее время порядком измотала его. Брала она, что называется, измором: на каждое его возражение у нее заранее был припасен продуманный, четкий, ясный ответ, иногда мягкий, а иногда, наоборот, пропитанный таким ядом, такой злобой, что он только диву давался — откуда все взялось.

Медленно, но верно его припирали к стене.

— Березки? Ах, березки... — говорила она. — Друзья? Это какие друзья? Твои, что ли? С каких это пор у тебя появились друзья?.. Твои интересы? Твоя творческая жизнь? Глеб, не смейся. Дела? А что дела? Ждешь, пока тебя посадят? Дождешься. Обязательно дождешься. А с нами-то что тогда будет, ты хоть думаешь иногда? Там? Что ты там будешь делать? Это с твоим-то умом ты себе там дела не найдешь? Для начала у нас с тобой хватит, да и помогут нам, не может быть, чтобы не помогли, а там — ты-то да не пробьешься? А я? Меня-то ты что, совсем уж ни за что считаешь?.. Язык? За год выучишь... Связи? А на кой черт тебе там эти связи? Все, ради чего ты их здесь наладил, там-то идет само собой. Состояние? Придется все бросать? Это почему? Неужели ты, с твоим-то опытом, спокойно, не торопясь, не дергаясь, не переправишь его туда? Сумели же другие, сумеешь и ты. Пошевели мозгами, не мне тебя учить... Сын? А что, Гарвард — это хуже пищевого института? Ты лучше его самого спроси... Дочь? Алена? Опять Алена? Все на свете — Алена! Так всю жизнь и будешь цепляться за нее? Это сейчас ты пока еще ей нужен, выскочит замуж — аттанде, папаша! За подарочки спасибо, а так — у вас своя компания, у нас своя. Перестаньте, пожалуйста, путаться под ногами, некогда мне, извините — не до вас...

Собственно говоря, в результате всех этих дискуссий у него осталось только два аргумента, но оба достаточно весомых; во-первых, не хочу, а во-вторых, действительно Алена. Не хочу я, понимаешь ты, чертова кукла?! Не хочу! Я вырос здесь, у меня здесь все свое и все свои, я никого не знаю там и знать не хочу. Я уже не мальчик, мне любой фонарь теперь на улице дорог, старики мои уже который год на Немецком рядом лежат... Куда мне рваться? Мне и здесь хорошо. Опасно? Да, опасно. Ну так что ж? Я знал,

на что шел. Я осторожен, еще пару лет — и я лягу на дно, утихну, будет только театр, и больше ничего... Заново начинать? Чтобы там до моего положения пробиться — да кто меня там пустит? Кто меня там ждет? Опять спину гнуть, опять извиваться? Хорошо, пусть за другие деньги, за другую жизнь — но кто я там? Никто! Ничтожество... И Алену не трожь. Я тебя люблю, уважаю, я буду благодарен тебе всю жизнь, но ее не трожь... Все пройдет, а Алена останется... Ладошки ее, ресницы, нос, к которому так хорошо, так мучительно — до дрожи — хорошо прикасаться губами... пальцы ее, быстро-быстро, сетью окидывающие тебя: трог-трог-трог, легкими, еле уловимыми касаниями по вискам, по глазам, по скулам, окаменевшим от напряжения — только не спугнуть, не выдать себя, не дыхнуть вчерашним перегаром или чем-нибудь еще. И этот хрустящий хрящик уха: отодвинешь прядь, чуть прикусишь зубами — смеется: «Ой, больно, папа, не кусайся, ты же не собака...» Куда я поеду? Никуда не поеду! Езжай сама. А ведь уедет... Как пить дать уедет. Плкнет на меня и на все — умная баба, жесткая, за это и люблю... Развод? Опять развод? Сколько ж можно? И сына увезет — не оглянется.

— Глеб Борисович... — прервал его все тот же тусклый, вялый голос. — Плохо дело... Не повезло нам с тобой... Сорвал банк, стервец... С тебя сто тысяч...

— Ск... сколько?! — поперхнулся Суханов.

— Сто тысяч... Ну а с меня, как понимаешь, девятьсот...

— Т-т-ты... ты... что?! Спятил?!

— Да нет. Слава Богу, пока в здравом уме... В банке же был миллион, Глеб Борисыч... Десятая с тебя. Уговор...

— К-к-как?! Когда?!

— Да ты же рядом сидел! Ты что не слышал, что ли? Был миллион, он пошел ва-банк... Не повезло, конечно... Что поделаешь! Игра... Я бы сейчас, например, не отказался поменяться местами с этим молодым человеком... Да ты не волнуйся, Глеб Борисыч. При себе нет — после отдашь, он нам с тобой на слово поверит. Человек ты известный, на виду...

— Что ж вы делаете?... Хриstopродавцы... Уж лучше бы с кистенем...

— Глеб Борисыч, ай-яй-яй... Тебе-то уж вроде бы не к лицу. Зачем такие слова? А мне, по-твоему, что ж тогда делать? Вешаться?.. Володенька, запиши-ка на бумажке Глеб Борисычу свой телефон. Ты уж нас, голубчик, извини, с недельку придется подождать... Такие деньги нам с Глеб Борисычем за вечер не собрать... Подождешь? Согласен? Ну вот и умница...

— Бандиты... Шулера... — задыхался Суханов. — Это я-то лох? Это я, по-вашему, фрайер? Ты понимаешь, Фордзон, что ты делаешь? С кем связываешься? Понимаешь?..

— Понимаю, Глеб Борисыч, все понимаю... Что ж тут не понять... Ты человек великий, а я маленький... Только на меня-то ты за что сердись? Если кого сейчас и жалеть — так меня, не тебя... Для тебя пустяки, а мне теперь конец... Я теперь, считай, на всю остатнюю жизнь у Володеньки в кабале...

— Ну, Фордзон... Ну, сволочь... — хрипел Суханов. — Ты меня еще не знаешь... Ты меня не знаешь... Шею сверну, гад ползучий! Попомнишь ты меня... Я тебе обещаю... Ничего не заплачу, мерзавцы! Ничего!..

— Нехорошо, Глеб Борисыч... Нехорошо... Ай-яй-яй, как нехорошо... Не ожидал... Ничего, это ты пока в волнении, придешь в себя, подумаешь... Будь здоров. Через недельку-то уж, пожалуйста, сделай милость, объявись...

Этот подонок даже не считал нужным довести до конца свою роль: он скорчил победную, гадостную рожу, нагло рассмеялся, обнажив гнилые зубы, и, вставая, даже подмигнул своему партнеру — мол, так-то, брат, учись. Они расплатились по счету и ушли, оставив Суханова подыхать от ярости, от жгучего презрения к самому себе — к себе, такому удачливому, такому умному, такому выдающемуся всего пять минут тому назад, а на самом деле, как оказалось... Стыд, какой стыд, унижение, позор... Дерьмо! Полное дерьмо. Боже мой, какое же дерьмо. Мордой об стол, в тарелку, за заливку, да еще потерли, повозили туда-сюда, чтобы знал, чтобы чувствовал — не заносись, не распускай перья, может быть, ты и умный, но и поумнее тебя люди есть, не тебе чета... Пижон!

Шляпа!.. Стыд, Господи, какой стыд. Хоть провались на этом месте. К чертовой матери, в тартарары...

Ночью он вдруг поразительно четко, как при вспышке света в темноте, вспомнил, где он видел этого парня с атташе-кейс: ну конечно же, в свите, в хвосте у Семена, известного московского профессионального игрока, игравшего во все, во что только можно было играть — на бегах, в бильярд, в железку, в карты, в нарды, в домино, в кости, в спринт-лото... Этот парень вечно маячил на ипподроме у Семена за спиной, ясно был на подхвате у него, а теперь вот, как видно созрел, вышел в самостоятельную жизнь. Вышел... Это называется — вышел. В муромских лесах ему место, подлецу, с ножом за голенищем, на большой дороге, а не здесь... Собрать бы эту сволочь всю разом и выселить за сто первый километр, пусть там режут, раздевают друг друга. Как же, выселишь... Эх, куда только власть смотрит! Занимается черт-те чем, а что под носом у нее — никому и дела нет, наплевать...

В восемь утра Суханов уже сидел в шашлычной на Арбате, где по утрам подавали хаш и где, как он знал, обычно завтракали тоттошники перед тем, как ехать на бега. Он не ошибся — Семен тоже был здесь: плюгавый, золотушный человек неопределенного возраста, с ушами, как два локатора, торчащими в разные стороны, остреньким носом и маленькими красными глазками без ресниц...

— Семен... — начал он, подсаживаясь к нему.

— Знаю, Глеб Борисович, все знаю. Примите мои искренние соболезнования. Что и говорить — не повезло...

— Это ваш человек, Семен.

— Мой?! Да вы что, Глеб Борисович! Я, конечно, знаю его, но сказать, чтобы это был мой человек, нет, Глеб Борисович, это вы слишком. Он играет от себя, я тут ни при чем.

— Семен, предупреждаю — я не буду платить. Более того, если ваши люди станут мне угрожать — я буду вынужден сообщить куда следует. Я всегда уважал вас, Семен, считал за игрока, крупного игрока... А выходит... Выходит, вы — просто уголовник? Кандидат за решетку? Так я вам помогу туда попасть, Семен, будьте уверены, помогу. За мной дело не станет...

— Бросьте, Глеб Борисович... Не надо, не швыряйтесь зря словами. Здесь народ не из пугливых... Вы умный человек и прекрасно понимаете, что не вам сейчас диктовать условия... А если соответствующие органы узнают, что скромный театральный деятель в пять минут просаживает сто тысяч? Откуда у него деньги на такую игру? Ведь вам конец тогда, Глеб Борисович. Не мне вам объяснять. И, как вы понимаете, узнать им об этом ничего не стоит... А ваша репутация в деловом мире? Вы об этом подумали? Суханов не платит карточные долги — да кто вам хоть на грош поверит после этого? Нет, Глеб Борисович, давайте лучше прекратим этот бесполезный разговор. Игра есть игра, придется платить. Насколько я знаю, у вас еще неделя — так не тратьте ее зря на пустые препирательства. Если не деньги, то хоть нервы сэкономите. В наше время это тоже уже кое-что.

Ужасно, но мерзавец был прав. Абсолютно прав. Выхода не было — надо было платить. Но где взять денег? И столько денег? Наличными, если не продавать ничего из дома, у него сейчас было немного, всего тысяч десять, не больше — калужский филиал, по крайней мере на время, основательно сократил его возможности. Продать что-нибудь из картин или антиквариата? Не хотелось бы, да и нельзя. Во-первых, сразу поползет слухок: Суханов начал продавать свой музей — что бы это значило, как вы думаете, дорогие товарищи, а? Во-вторых, Регине незачем знать обо всей этой истории, попреков потом не оберешься, всю жизнь будет поминать. А продать серьезную вещь так, чтобы она не заметила, — невозможно, заметит, все заметит, глазастая баба, черта с два от нее что-либо утаишь. Значит, оставалось одно — занимать. Но и занимать надо с умом, не у каждого встречного и, разумеется, не по мелочам: чем меньше людей будет втянуто в это дело, тем лучше. Семен прав, что-то, а огласка ему в данном случае совершенно ни к чему. Не хватало еще поскользнуться вот так, на ровном месте, без всяких на то причин. Жил-жил, и вдруг — на тебе: банановая корка под каблуком — и поминай, как звали. Так грохнешься — костей потом не соберешь, ни своих, ни чужих. Но этим мерзавцам я отомщу! Я не я буду,

если я когда-нибудь не отомщу... Ничего, терпение. Главное — терпение. Придет когда-нибудь и мой черед.

Все получилось так, как он рассчитал. Тридцать тысяч дал Захар, обругав его при этом дураком и пригрозив отделиться от него, если подобное беспутство будет продолжаться и впредь. Двадцать тысяч удалось перехватить у старика Арменака: пришлось сказать ему, что, дескать, присмотрел хороший дом, хороший участок, дело, безусловно, стоящее, но только очень дорого, надо залезать в долги, а к кому же еще обращаться, как не к нему? Старик, по крестьянской своей натуре, больше всего на свете ценил недвижимость и очень радовался, когда молодые и, как он считал, способные люди в конце концов приходили к тому же, к чему и он. Все-таки есть вечные истины на земле: как вы ни колготитесь, как ни бейтесь, а никому и никогда их не отменить, жизнь все равно возьмет свое. Писчебумажный магазин дал двадцать тысяч, даже не спрашивая, на что. Он искренне симпатизировал Суханову, можно сказать, любил его: надо — значит, надо, ради Бога, Глеб, возьми, тем более что для него самого эти двадцать тысяч были такой безделицей, что об этом даже совестно было и говорить между серьезными людьми... Оставалось достать еще двадцать, и вот за этим-то он и приехал сегодня в Ленинград. Здесь жил, действовал один старый его друг еще по тем прежним, полуголодным временам. Теперь он был большим человеком, делал большие дела, и Суханов очень надеялся, что по старой дружбе он-то уж, конечно, не откажется помочь...

И где его черти носят? Целый день он обзванивает по всем телефонам и никак не может его найти. И жене, и всем приятелям, и на работе сказал, то он здесь, что он ждет его в таком-то номере гостиницы «Европейская», что он позарез нужен ему, а его все нет и нет. Уже начало темнеть, уже зажглись огни и на улице, и у подъездов филармонии, уже на тротуарах, на Невском закипела вечерняя жизнь — и хоть бы звонок от него, хоть бы голос его услышать! С ума можно сойти от ожидания! Целый день из угла в угол, из угла в угол, как в клетке, он ведь тоже не железный... Алене, что ли, позвонить? Конечно,

лучше бы не сейчас, лучше бы с легким сердцем, когда все печали будут позади. Но можно и сейчас, хоть пощечет что-нибудь в трубку, а может, и поужинаем вместе, глупо — сидеть так, как прикованному у телефона весь вечер. А что, если Савелий в дыму, в загуле? Тогда раньше, чем завтра утром, и надеяться нечего, ни с какими собаками его теперь не найдешь...

— Алена? Это я.

— Папа! Приехал?! Ой, какой ты молодец!

— Приехал. И должен тебе признаться — соскучился до смерти... Ты что делаешь сегодня вечером?

— Папа, миленький, не обижайся! Сегодня не могу.

— Жаль. А завтра?

— Завтра? Хоть с самого утра... Слушай! Осень начинается. Давай махнем в Царское, а? «Поедем в Царское село! Свободны, ветрены и пьяны...

— Там улыбаются уланы,

— Вскочив на крепкое седло...

— Казармы, парки и дворцы...

— А на деревьях — клочья ваты...

— И грянут «здравия» раскаты...

— На крик «здорово, молодцы». Папа, какая ты умничка!

— Значит, решено, поехали, да? Когда ты завтра за мной заедешь?

— Подожди, дай подумать... Наверное, часов в десять... Это ты хорошо придумала, возьмем такси и на целый день. По крайней мере, уж до обеда-то точно...

Савелий все не звонил, и тоска от неприкаянного вечера, от всей этой нескладности последних дней становилась почти невыносимой... Уйти, сбежать? Некуда... Надраться? Тоже не с кем. Савелия нет, а больше в таком состоянии видеть никого не хотелось: сиди, вымучивай там что-то из себя, улыбайся, а на душе кошки скребут, и единственное, что хочется, — послать бы всех, весь мир, к такой-то матери, глаза бы не глядели ни на что... Есть, конечно, лекарство, да где кого сейчас найдешь? Оторвался он от здешней жизни, все мелкие связи оборваны за ненадобностью, не снимешь, как в былые времена, трубку, не скажешь: «Приходи...»

Было уже восемь, когда телефон наконец зазвонил.

— Савелий? Ты? Где ж ты пропадаешь, старый хрен? Ты не представляешь, как ты мне сейчас нужен...

— Прости, Глеб, дела. Закрутился — дыхнуть некогда... Жду тебя завтра в три. У тебя же там, в «Садко»...

— Завтра?! Да ты мне сейчас, сегодня нужен! Какой завтра...

— Глеб, не могу. Действительно, поверь мне, не могу. Завтра все объясню... Ведь ты не умираешь, надеюсь, нет? И никто не умирает?

— Нет, никто. До этого не дошло. Но мне нужна твоя помощь...

— Завтра, Глеб, завтра. Все, что смогу, сделаю, ты же знаешь, будь спокоен... Только сегодня не могу. Пожалуйста, извини меня, ну никак не могу, хоть зарежь. И завтра до обеда два длиннющих заседания, я веду. Попробуй отмени, уже всех оповестили давным-давно, еще неделю назад.

— Ладно, черт с тобой! Бросаешь меня одного, в полном, так сказать, смятении чувств... ты бы хоть какую кандидатуру подослал вместо себя, чтобы мне тут не подыхать одному...

— Вот это дело! Так бы сразу и говорил... А то — пожар, пожар! Я уж было в подлецах себя почувствовал — старый друг пропадает, а я... Возраст?

— Лучше начинающий.

— Мать?

— Безразлично. Впрочем... Нет, предпочтительно вороная... Все-таки уже начинаю стареть...

— Понятно. Время?

— Да хоть сейчас... Кстати, тариф-то у вас теперь какой? Обычный? Или особенное что?

— Да нет, обычный, как везде... Ну и остальное все — по настроению... Значит, так, договорились: сиди в номере, отдыхай, думаю, за час организуем. У меня тут есть один специалист: толковый человек, у него все отлажено — лучше не надо. Гарантии полные, не беспокойся ни о чем. И ни за что... Все, пока, старина. До завтра. Не забудь — в три. Жду...

Суханов спустился в буфет, взял бутылку коньяку, пару бутылок шампанского, шоколад, яблоки, расставил все это на маленьком столе у окна, пододвинул кресла, за-

дернул поплотнее тяжелые гостиничные шторы, достал из чемодана коробку хороших сигарет, включил приемник, но негромко, так только, чтобы что-нибудь мурлыкало в углу... Что ж, хорошо, уютно, вот только верхний свет мешает — пожалуй, надо притушить его. Хватит и торшера, настроение сегодня, прямо скажем, не для люстр... Черт, как медленно тянется время... Пора бы уже, кажется, человечку и подойти. А... В сущности, зря он затеял все это дело. Ну какой из него сейчас любовник? В голове не мозги, а какие-то камни, даже не камни — бульжники, вывороченные прямо из мостовой. На душе одна гадость. Ноги ватные, руки дрожат. — Эх, Глеб Борисович, Глеб Борисович... Да ладно, будет тебе! Что, собственно, произошло? Ну, ободрали на сто тысяч. Ну, жалко, конечно. Но ведь не убили же? Нет? Мало ли что бывает в жизни... Сейчас засадишь свой стакан коньяку, человек подойдет — глядишь, и полегчает. По крайней мере, хоть до утра-то да забудется, а там — а там посмотрим, там виднее будет что к чему. Савелий не подведет, не может подвести...

Суханов сидел в кресле, курил, листал какой-то проспект, забытый здесь, в номере, одним из предыдущих постояльцев, когда в дверь наконец постучали — мягко, осторожно, скорее даже не постучали — поскребли.

— Да-да, войдите, — встрепенулся Глеб Борисович. — Я жду.

Сквозь полуоткрытую дверь из комнаты было видно, как какая-то фигурка в белом плаще проскользнула в маленькую темную переднюю. Послышался хруст складываемого зонта, звяканье крючков на вешалке — в темноте плащ, видимо, не сразу попадал на нужное место, срывался вниз, потом щелкнул выключатель в ванной: в полосе света, ударившего оттуда, Суханов увидел лишь прядь густых волос, спущенных ниже плеча, и красное пятно блузки, обтягивавшей грудь и верх спины. Прожурчала вода из-под крана, затем послышался характерный стук — наверное, положила на полочку под зеркалом щетку для волос; из ванной опять ударил свет, и девушка вошла — спокойно, по-хозяйски, как к себе домой. Шаг, другой, третий по направлению к креслу... И вдруг она остановилась, замерла...

— Папа?

— Алена?.. Ты?!..

Начинало светать. На столе стояла уже пустая бутылка коньяку, лежало надкусанное яблоко, пепельница была доверху забита окурками. И шампанское тоже было все выпито, выпито, конечно, им одним: Алена тогда, вечером, как узнала его, так сразу же опрометью выскочила вон из номера, даже зонт и плащ забыла — он не стал ее останавливать и, наверное, правильно сделал, что не остановил... Что он мог сказать ей? И что она могла сказать ему?.. Хмель не брал. Этот чертов коньяк всегда так, от него только сердце колотится и дрожь во всем теле. Да еще, конечно, табачище, вторая пачка вон кончается, попробуй теперь усни. Водки бы сейчас выпить, колунгом по голове, рухнуть разом — и нет тебя, гори ты все синим пламенем. Но где ее сейчас найти? Не достанешь ни за какие деньги... Да нет, достать, конечно, можно, не может быть, чтобы у кого-нибудь из таксистов не нашлась бутылка. Но надо же выходить, метаться по улицам, останавливать машины, упрасивать, говорить... И дождь за окном разошелся всюю: вечером только так, брызгало, а сейчас как из ведра, до нитки вымокнешь, зонта у него нет, не Аленин же брат, в самом-то деле, руки не поднимутся после всего, что произошло. Что же теперь делать-то? Что?!.. Господи, если Ты есть, научи! Помоги! Нет у меня сил больше никаких. Я изнемог, я не знаю, что мне делать, куда идти, что говорить. Я не знаю, зачем я всю жизнь бьюсь как рыба об лед. Я ведь никому не делаю зла, Господи, так за что же тогда? За что?! Не хочешь помочь — так хоть объясни... Молчишь? Ты всегда молчишь, когда Ты нужен, наверное потому-то люди и не верят Тебе... Нет, Регина права! Уезжать, уезжать немедленно отсюда — к черту, к дьяволу, в Новую Зеландию, к папуасам, к бушменам, куда угодно, только не здесь, ни в коем случае не здесь... Не могу. Больше и я не могу... А, если бы можно было... голову под трамвай и конец! Но на это тоже нужны силы. Я и на это не гожусь... Свет... Свет так и горит в ванной, надо бы потушить... Вот дрянь: мало того что плащ и зонт забыла — щетку для волос тоже оставила! Ничего не скажешь, обстоятельно рас-

полагалась девушка, по-серьезному, надо думать — на всю ночь. Фу, гадость какая-то: вся щетка в волосах, вычистить, что ли, было лень? Или некогда? Мол, поторавливайся, дело есть дело, неудобно — клиент ждет... Боже мой, но это ведь ее волосы! Ее!! Те самые, которые сначала были светлые, как лен, а потом постепенно потемнели, стали каштановыми, она еще их обрезала однажды, под мальчишку, очень ей шло. А в институте опять отпустила чуть не до пяток, теперь же только так и носят, распустехи, мода, черт бы ее побрал... Интересно, а на это у них тоже мода? Или на чулки не хватает? Но у нее-то нет этой проблемы — на чулки? Нет? Или есть? Тогда, выходит, я мало посылал? Я виноват? Все-таки надо будет поговорить с ней, может, действительно не хватает... Так сказала бы, черт! Разве я отказывал когда, хоть раз?.. А если я уеду, что тогда? Совсем на панель пойдет?.. Живут же... Живут же люди, маются всю жизнь с больными, с калеками, с уродами... Нет, Глеб Борисович, сиди, не рыпайся. Никуда ты не уедешь! И не мечтай. Взвалил на себя крест — так будь любезен, тащи. Нет для тебя никакой Новой Зеландии. И не будет! Так и будешь всю жизнь теперь дрожать, вглядываться в каждую встречную на тротуаре — а вдруг она?.. Но Регине... Но Регине ни так, ни эдак об этом ни слова. Ни в коем случае ни слова. То-то уж душу отведет, не пощадит, отыграется за все... А впрочем, что Регина... Регина не через месяц, так через год уедет. Это уже ясно, ее теперь не остановить. Опять развод, опять суд... И сына увезет. И опять я один. А там... А там что? Господи ты боже мой — что?!

Дождь перестал, серенький пасмурный день вползал в комнату. Торшер уже был явно ни к чему. Суханов остановился у большого зеркала, взглянул и сейчас же, вздрогнув, отшатнулся. Оттуда навстречу ему вдруг выглянул какой-то совсем незнакомый человек: с жидкими волосенками, прилипшими ко лбу, мясистым, набухшим лицом густо-фиолетового цвета, затравленными глазами и безвольно отвалившимся, когда-то тяжелым, мощным подбородком... С лицом Марка Антония, подумалось ему. Марка Антония, проигравшего все — и Клеопатру, и войну.

Презумпция невиновности

Здесь? — спросил Борис, разглядев наконец в густой траве под яблоней маленький холмик.

— Здесь, — подтвердила Вера Арсентьевна.

— Когда, говоришь, это случилось?

— Весной, в мае. Мы с ней только-только перебрались сюда... Я не виновата, Боря. Я, конечно, сразу вызвала ветеринара, он долго возился с ней, но ничего не помогло... Как я плакала, если б ты знал... И, как нарочно, хоть бы кто-нибудь приехал: когда не надо, полон дом народу, не знаешь, куда от этого гвалта деться, а тут никого...

— Надо было дать мне телеграмму, тетя Вера. Я бы приехал.

— Но откуда же я могла знать, где ты? Ты вечно в разъездах. Мог бы и сам вспомнить о старухе. Вот и лето, считай, кончилось, а мы с тобой не виделись чуть не с зимы.

Они были одни в саду. В доме, на веранде, слышались голоса, смех, звон посуды, а здесь было покойно и тихо, солнце золотило листву, соседские пчелы жужжали над кустами флоксов, высаженных вдоль дорожек, мирно журчала вода из шланга, брошенного на траву... Все было знакомо Борису с детства: дом с высокой крышей и крохотным балкончиком наверху, сад, желтые шары, каждую осень разраставшиеся у забора сплошной стеной, гуденье и перестук колес электрички, под которые он когда-то, набегавшись за день, засыпал у себя на чердаке... К сожалению, тетка была права: если бы не стойкая, многолетняя традиция собираться всем в день ее рождения на даче, он так бы, наверное, и не выбрался в это лето к ней. Что поделаешь — дела. Дела, будь они неладны...

— Тетка, как ты думаешь, я очень виноват перед ней?

— Не знаю, Боря. Тебе виднее... Нет, ты не думай, у меня ей неплохо было. В конце концов она привыкла

и привязалась ко мне... Но тебя, по-моему, она так до конца и не забыла...

...Борис купил ее, когда она была четырехмесячным щенком: порода — боксер, кличка — Адель, родословная — чуть не до двадцатого колена, в длинном ряду ее предков почти сплошь немецкие фамилии. Она была поразительно хороша собой: белое стройное тельце, коричневая шапочка на голове, добродушнейшая морда с блестящими, как маслины, глазами, черные очки, подрубленные ушки торчком, коричневая нашлепка вместо хвоста... Как, с каким благородством она шла, как изящно, своенравно и в то же время сдержанно шалила, с каким восхищением оборачивалась на нее толпа — надо же, сотворил такую красоту господь!

Зачем он тогда купил ее? Из щегольства? Может быть, отчасти и из-за этого, но, очевидно, были и другие причины, которые он тогда не очень-то сознавал... Когда появилась Адель, ему было двадцать шесть лет, он был уже преуспевающим журналистом, много ездил и много печатался, имел множество друзей, охотно кутил и вел весьма рассеянную жизнь, легко, без слез и скандалов, переходя из одного романа в другой. Ему уже начинали немного завидовать, и, признаться, он и сам в то время посматривал на свою жизнь со стороны как на какое-то в высшей степени удачное, пожалуй, даже уникальное произведение искусства. А почему бы и нет, в самом деле? Почему не тень, а сама реальная жизнь человека не может быть предметом искусства? Ему все удавалось, он никому не делал зла, и люди, по крайней мере в то время, платили ему тем же, его любили женщины, он никогда не знал, что такое скука... Это было захватывающе интересно: смотреть, как постепенно складывается, возникает легкое ажурное сооружение, чем дальше, тем более сложное, тем более причудливое, тем более прекрасное, — его жизнь. Естественно, это требовало постоянного труда, внимания, отчета себе и в мыслях, и в поступках: нужно было по возможности отсекал от жизни все безобразное, уродливое — и он отсекал, нужно было не лениться, не бояться сложностей, усилий над собой —

и он не боялся, нужно было не обижать никого — и он не обижал. Были, например, такие моменты, когда ему приходилось тянуть по два романа сразу, чтобы только как-то сгладить все, спустить на тормозах, обойти, затуманить боль, — и даже это удавалось ему: все действительно как-то сглаживалось, успокаивалось, растворялось само собой в потоке повседневных событий, и если было начало, то конца потом уже никто — ни он сам, ни другие — заметить не мог. Не случайно ни одна из его тогдашних привязанностей не стала его врагом, наоборот, с большинством из них у него надолго сохранились самые теплые, почти дружеские отношения, и даже о тех, кто так и исчез потом без следа, он и сейчас не мог вспомнить ничего плохого.

Родители довольно рано отделили его, и жил он уже тогда один, в уютной однокомнатной квартире, стены которой от пола до потолка были сплошь уставлены книгами, собранными им самим. Книги были такой же его страстью, как и женщины, и времени книги требовали не меньше, чем они: сколько раз он старательно, вкладывая в голос всю нежность, на которую был способен, врал по телефону, чтобы только увильнуть от очередного свидания, остаться дома, одному, в кресле, под теплым, красноватого света торшером, и медленно, запахнувшись в халат и вытянув ноги в тапочках, погрузиться в придуманный кем-то другой, незнакомый мир.

Но книги — опасное занятие: есть в них какой-то яд с еле уловимым трупным запахом, который исподволь, незаметно подтачивает человека, заставляет его томиться, тосковать, рваться вон из четырех стен — а куда, зачем? Если бы кто-нибудь за все долгие тысячи человеческих лет мог ответить на этот вопрос... Все это кончалось обычно одним и тем же: подойдя к балконной двери и прижавшись лбом к стеклу, он долго стоял так, прислушиваясь к спящему дому, разглядывая фонари внизу, подъезды, серый тротуар, огромную пустую площадь, которую, если подождать, обязательно кто-нибудь, еле видимый отсюда, пересекал напрямую, из конца в конец. Потом ему нужно было время, чтобы уснуть, и были та-

кие ночи, когда уснуть не удавалось до самого утра: тоска сжимала сердце, было жаль себя и еще кого-то, кого он не знал. «Что не так? — спрашивал он себя, ворочаясь на своем стареньком, продавленном во многих местах диване. — Что плохо у меня? И кому от меня плохо? Мне интересно, мне не хватает суток, чтобы жить, жизнь набита до отказа, у меня все получается, я не боюсь никого и ничего, я не враг никому, и мне никто не враг, совесть моя чиста, я хороший человек, я знаю это, я не совершил никакой подлости, я никому не причинил зла. Что же не так? Все так, как надо... И все-таки что-то не так. Но что? Фонари, что ли, не так горят на улице? Человек зачем-то ночью пошел через всю площадь, один? Но они-то тут при чем? Или все дело именно в них?..»

Может быть, Бунин в одну из таких долгих ночей подсказал ему эту мысль: «Хорошо бы собаку купить»? Может быть. Может быть, и он. Во всяком случае, Адель пришлось тогда удивительно кстати, как будто ее только и не хватало в его жизни: войдя в дом, она сразу выбрала себе место на коврике у окна, рядом с батареей, и, покрутившись немного, покорно затихла там, положив морду на лапы и закрыв глаза. Там она и спала всегда, пока Рита не появилась у него в доме...

Адель быстро вымахала в рослого сильного пса с широкой грудью и мощным торсом. Но в характере у нее явно преобладала презумпция невинности. Поначалу он даже сердился на ее ничем не пробиваемое добродушие: казалось, она была создана только затем, чтобы всем улыбаться, всем подавать лапу, таскать, загибаясь кренделем и радостно фыркая во все стороны, тапку в зубах при встрече с каждым, кто входил к нему в дом. «Ну зарычи же, черт, ну рвякни хоть раз во всю свою страшную пасть, ведь ты же никогда раньше не видела этого человека, откуда ты знаешь, что он мой друг, а не мой враг?» — нередко думал он, глядя, как это могучее существо, встав во весь рост, прижимало к стенке своими лапищами очередного посетителя, силясь дотянуться языком до его перекошенного от страха лица. Нет, рычала она только на него самого, когда, войдя в раж, они вместе катались

в обнимку по ковру или когда где-нибудь на прогулке он крутил вокруг себя палку, а она, уцепившись зубами за нее, кружилась, кружилась в воздухе, подбадривая их обоих глухим, утробным каким-то рыком, означавшим высшую степень удовольствия от жизни.

Но однажды случилось происшествие, которое заставило его взглянуть на Адель другими глазами. Зачем-то их вдвоем занесло в тот вечер довольно далеко от дома, в район Марьиной рощи. Кончался сентябрь, было холодно, ветрено, оба они устали, и Борис даже подумывал взять такси. Они шли по мрачной, плохо освещенной улице, Борис молчал, Адель без поводка, понунив голову и уже не отвлекаясь более по сторонам, брела рядом. Справа от них тянулся длинный дощатый забор, ограживающий какое-то предприятие, кажется, хлебозавод. На улице, кроме них, не было ни души, стояла мертвая тишина, только сухая листва шуршала под ногами. Борис остановился у ствола старого тополя, чтобы под защитой его без помех чиркнуть спичкой — хотелось курить. Адель сейчас же уселась на асфальт рядом с ним. В этот момент в заборе вдруг тихонько раздвинулись две доски: оттуда, озираясь по сторонам и, видимо, не заметив их в темноте, вылез мужичонка в телогрейке, вытащил за собой из дыры тяжелый мешок, задвинул обратно доски, взвалил мешок на спину и, прижимаясь к забору, затрусил вперед мелкой воровской трусцой. Борис даже шевельнуться не успел, как Адель уже была на спине этого человека. Мужичонка сдавленно ахнул и кувыркнулся на бок вместе с мешком, который он тут же выпустил из рук. Расставив лапы и оскалив пасть, Адель стояла над ним, сдержанно рыча. Борис бросился к ней, ухватил за ошейник, оттащил в сторону — она не сопротивлялась. Пока он пристегивал поводок, мужичонка лежал неподвижно и смотрел на них: такого ужаса в человеческих глазах Борису никогда больше видеть не доводилось. Ни он, ни мужичонка за это время так и не произнесли ни слова... «Дуреха, что ты делаешь? Ну какое, скажи на милость, тебе было дело до него?» — ругал он ее потом, уже дома. Обычно, когда Адель была виновата, она вздыхала,

извинялась, как-то по-особому подавая при этом лапу: мол, ну брось, ну что ты сердишься, давай лучше забудем, давай лучше будем играть. В тот вечер она лапы не подавала, она лишь отворачивалась от него.

В другой раз, пока Адель вольно бегала где-то в кустах, в Бориса вцепились две цыганки — дело было на Цветном бульваре, — наглые, крикливые, они что-то требовали от него, что-то предлагали, хватали за руки, не давая ему пройти. Борис затравленно глядел по сторонам, не зная, как ему отделаться от этих фурий. Выручила его Адель. Она не спеша вышла из кустов, спокойно уселась за спиной у цыганок и негромко, но внятно рыкнула. Цыганки тут же лишились дара речи: они лишь умоляюще смотрели на Бориса, не решаясь сдвинуться с места... Кроме этих двух случаев, никаких других боевых заслуг за Аделью больше не числилось, по крайней мере в то время, пока она жила с ним.

Борис вскоре понял: нет, просто Адель была умна, слишком умна, чтобы ни с того ни с сего рычать и кидаться на людей. Действительно, ну с какой стати показывать клыки человеку, который в первый раз вошел к ним в дом? Хозяин улыбается ему, жмет ему руку, голоса и у того, и у другого звучат дружелюбно, ну и прекрасно, значит, им обоим хорошо, а мне и того лучше, потому что сейчас будут шум, игра, веселье, сейчас будут отнимать у меня тапку, а я буду убежать, и меня будут ловить, и жизнь опять делается интересной, хозяин перестанет как сыч сидеть за письменным столом, совершенно не обращая внимания на то, что мне скучно. Ну а если это какой-нибудь его старый друг или женщина — это тем более хорошо: он или она усядется потом в кресло, можно будет подойти и положить морду в теплые колени, и человек в кресле обязательно догадается погладить меня по ушам или потереть мне переносицу, и можно будет долго сидеть так, зажмурив глаза и вздыхая от полноты чувств. Еще может прийти мать хозяина; с этой у меня свои отношения: она кормит меня, гуляет со мной, когда хозяин в отъезде, она милая, но какая-то растерянная старушка, у нее немного подергивается го-

лова, она все забывает, и мне ее жалко. Иногда, когда хозяин болеет, является доктор в очках и белом халате, он аптечно пахнет, хочется фыркнуть на этот запах, но приходится сдерживаться, потому что он испуганно вздрагивает каждый раз, когда я фыркаю или чихаю. И вообще он все делает не так: пишет какие-то бумажки, зачем-то затыкает в уши концы длинных резиновых трубок, и ему невдомек, что всего-то нужно подойти и положить морду на подушку, рядом с головой хозяина, и так стоять, пока хозяин дремлет или просто лежит с закрытыми глазами: очнувшись, он обязательно улыбнется и легонько ткнет ладонью в черный холодный нос — хватит, мол, иди на место, я еще не умер и умирать не намерен...

Она и Риту встретила так же, как других: еще в двух отняла у нее сумочку и, радостно скидывая голову, бегала от нее по всей квартире, а потом улеглась у ее ног и тихо пролежала так весь вечер, ничем не мешая им. Более того, случайно или намеренно, но когда наступила ночь и Рита осталась у него, она как-то незаметно выскользнула на кухню, устроилась там под столом и не входила больше в комнату до самого утра...

Эх, угораздило ж его тогда столкнуться именно с этой женщиной! Колючая, вздорная, злая, когти выпущены, губы сжаты, в глазах глухая неприязнь к нему, да что к нему — ко всему свету, но, боже мой, какое это было ласковое, покорное существо, когда он гасил наконец свет! Какие длинные, нежные пальцы были у нее, как глубоко они забирались в его волосы, как мягко тянули они его голову навстречу этому безвольному, влажному, все шире и шире открывающемуся рту, как медленно, обвиваясь вокруг его горячего, гудящего от дрожи тела, втягивала она его в себя! Какие тайные, странные слова она знала, которых никогда — ни до, ни после — никто больше не говорил ему... Потрясенный, измученный, опустошенный вконец, он засыпал уже под утро, но и во сне она не отпускала его: она не уходила из сна, сон и явь перемешивались в одно, и сны его были о ней же...

Откуда, почему возникла в ней такая злоба на весь мир? А черт ее знает. Была в ней капелька какой-то ази-

атской, кажется китайской, крови: у нее были чуть раско-
сые глаза и прямые, черные как смоль волосы. Когда она,
стоя перед зеркалом, распускала их по спине — смуглой,
матовой, с узеньким треугольником белой кожи внизу, —
они доходили ей до пояса, и одним из самых больших его
наслаждений было провести в этот момент ладонью по
их гладкой, блестящей поверхности: от затылка, от шеи,
по спине — вниз, до той крохотной ложбинки, где волосы
кончались и где начинался другой, более крутой изгиб...

Но мало ли у кого какая кровь? У всех у нас кровь...
Нет, дело было не в крови... Детство? Но что ж детство?
Детство было обычное, как у всех. И жизнь была обыч-
ная, и работа была обычная — не хуже, не лучше, чем
у других. Не замужем в двадцать пять лет? Так разве она
одна?.. И ведь красивая была женщина, и знала это, очень
знала! Вечно всякие дураки приставали к ней: на улице,
в метро — везде...

Чуть не каждая встреча их сопровождалась ссорой —
мелочной, глупой ссорой ни из-за чего, когда в конце
концов в бессилии опускались руки, а в голове начина-
лась тупая, безвыходная, какая-то каменная боль. Все
слова становились лишними, ничего, даже самые про-
стые вещи, объяснить уже было нельзя, и надо было не-
медленно встать, и проводить ее к двери, и покончить
с этим раз и навсегда, но он продолжал сидеть и смо-
треть на нее, все еще надеясь на что-то. В ответ зеленые
глаза ее начинали светиться злорадным блеском, губы
кривила презрительная усмешка. «Молчишь? — спраши-
вали ее глаза. — Молчи, молчи... Посмотрим, на сколько
тебя хватит. Я-то могу молчать сколько угодно, хоть до
утра, а вот ты — сможешь ли? Нет, не сможешь, сдашься.
Еще как сдашься...» И она была права: каждый раз он не
выдерживал, сдавался, презирал себя и все-таки тут же
подыскивал себе какое-либо оправдание... Потом кто-
нибудь из них одним судорожным движением гасил свет,
и опять начиналось то, ради чего, наверное, их и свела
жизнь. «Китайчонок... Китайчонок мой...» — шептал он,
теряя всякую власть над собой и вновь погружаясь в э-
тот омут.

— Люблю?! Я тебя люблю?! Еще чего! — говорила она иногда, дразня его и явно наслаждаясь тем отчаянием, в которое его вгоняло это состояние безысходной, изматывающей вражды. — Я живу с тобой — вот и все. Разве таких, как ты, любят? Любят только неудачников. А таких, как ты... Таких, как ты, ненавидят. Я бы стреляла таких, как ты. Есть за что...

И самое печальное было то, что она, по-видимому, не врала. Бывали минуты, когда, казалось, она была готова убить его, плеснуть в его лицо купоросом, вцепиться зубами ему в руку или в плечо и сжимать их, сжимать, упиваясь его болью, проклиная его за беспомощность, за неспособность хоть раз выйти по-настоящему из себя, взорваться, врезаться ей так, чтобы она, завертевшись волчком, отлетела в угол: однажды она действительно прикусила ему руку до крови, и шрам от ее зубов так и остался у него на руке, повыше запястья, на всю жизнь.

— Ну что же ты? Ну ударь, ударь же! Мужик ты или нет? — шептала она, задыхаясь от ненависти и приблизив лицо вплотную к его лицу. — Ох, как я ненавижу твое это умение никого не обидеть, все устроить, сгладить все углы, твой мягкий, ровный тон, твое терпение, твою внимательность ко всем, твою удачливую жизнь, твое нежелание ничем пожертвовать, ничем поступиться, твою эту чудовищную способность тянуть все сразу, весь воз жизни, не теряя ничего... Ты лжешь! Ты чудовище! Эгоист, ни разу не поступившийся ничем ради других... У, моя бы воля! Я бы спалила все эти твои книжки, я бы выгнала эту клыкастую тварь, оборвала бы этот проклятый твой телефон, чтобы он наконец замолчал, замолчал, черт бы его побрал! Ты думаешь, я не понимаю, кто тебе звонит? Ты хорошо притворяешься, ты очень хорошо притворяешься, но мне-то тоже не семнадцать лет! Ему, видите ли, всех жалко, он не может никого обидеть... Ложь! Книжки, собака, друзья твои, твои шлюхи — все это ложь! Ложь!

Сам-то он любил ее когда-нибудь? Или это было наказание, какой-то дурман, помутивший его разум и лишивший его на время всякой воли? Наверное, любил, раз

почти четыре года терпел эту муку... Ну и конечно же был еще азарт, было взбудораженное самлюбие: как же так? Неужели я, умный, терпеливый, неслабый человек, понимающий кое-что в технологии человеческих отношений, так и не обломаю ее? Неужели я бессилен перед ней, неужели именно она и будет моей первой и пока единственной неудачей в жизни?

— Что ты все топорщишься, зверек ты мой колючий? — как-то раз, под настроение, сказал он ей, сидя с ней в кресле и глядя ее распушенные волосы. — Ведь ясно же: приручу я тебя... Никуда ты от меня не денешься...

— Приручишь? Может быть... Да, наверное, приручишь... — вздохнув, неожиданно вдруг покорно согласилась она и невесело как-то усмехнулась. — Ты это умешь... Только как же больно будет потом отвыкать от тебя...

Первой жертвой всей этой педагогики стала, однако, Адель. Когда Рита окончательно поселилась у него, Адель было попыталась найти с ней какой-то общий язык, но вскоре, видимо, поняла, что это бесполезно, погрузилась в себя, скисла, стала жаться по углам, не находя себе места, и даже на улице уже больше не прыгала, не просила отстегнуть поводок — так и шла за ними, куда они ее вели. Она не враждовала с ней, нет, не скалила на нее зубы: она просто не замечала ее, никогда не подходила к ней и спала теперь только на кухне, под столом, куда вскоре был перенесен и ее коврик.

По-видимому, именно это безразличие больше всего и выводило Риту из себя. Она с особым, каким-то мстительным удовольствием указывала Борису каждый раз на ее грязные следы на полу, когда он и Адель в какой-нибудь дождливый день возвращались с прогулки, медленно, тщательно, с невыносимо страдальческим видом выцарапывала каждый белый ее волосок, застрявший в гардинах или в пледе, а если под ноги случайно попадался ее мячик, то обязательно коротким, злым толчком отшвыривала его куда-нибудь подальше под диван, чтобы Адель потом не могла его найти. Сколько Борис ни уговаривал ее, ни просил прекратить бессмысленную

эту вражду, от которой ни ей, ни им не будет никакой пользы, — не помогало ничего.

Но однажды Адель все-таки не выдержала — отплатила ей за все. У Риты была роскошная кашемировая шаль в ярких цветах, с длинной мохнатой бахромой — она очень гордилась ею. Обычно она клала ее на спинку кресла: шаль целиком покрывала собой и спинку, и сиденье, и концы ее в царственном беспорядке свисали вниз. Рита потом утверждала, что в тот день ничем не обидела ее, что никакой особой ссоры между ними не было. Адель оставалась вечером дома одна, они задержались в гостях и когда, уже ночью, вернулись, то, открыв дверь, оба так и остолбенели на пороге: Адель сидела посреди прихожей и в ключья, в мелочь, в нитку разрывала эту шаль, рыча и яростно дергая когтями по еще державшимся ее кускам. Отрепья и бахрома валялись кругом нее на полу... На лице Риты было написано такое отчаяние, что Борис, даже не успев ни о чем подумать, схватил висевший на вешалке ременный поводок и что было силы вытянул им Адель вдоль спины. Адель взвизгнула, бросилась от него на кухню, забилась под стол, но он вытащил ее оттуда за загривок, швырнул на пол и хлестал, хлестал ее до изнеможения, а напоследок еще пнул со всего размаху ногой по животу... Господи, хоть бы не было этого последнего пинка, может быть, не так бы тошно было вспоминать сейчас все это... Бока и ребра ее вздрагивали от ударов, сыпавшихся сверху: она не сопротивлялась, даже не скулила — она лишь прятала голову поглубже в лапы, пытаясь защититься хотя бы ее. Когда, задохнувшись, он опустил наконец плеть, Адель подползла к нему и подняла голову: в глазах у нее стояли слезы...

Против обыкновения Рита не кричала, не ссорилась с ними, она лишь сказала: «Все, хватит... теперь или я, или она» — и сразу ушла в ванную... Борис не спал всю ночь, курил, сидел на кухне, гладил Адель по ушам, а утром позвонил Вере Арсентьевне и уговорил ее взять Адель к себе: тетка жила одна, боялась воров и давно хотела завести себе собаку. Когда — уже вечером — они вышли из дома, Адель ни за что не хотела идти с ним, са-

дилась на асфальт, скулила, оборачивалась назад, мотала головой, вырываясь из поводка, и ему пришлось чуть не волоком тащить ее до самых Покровских ворот, где тетка тогда жила...

Поначалу он даже почувствовал нечто похожее на облегчение: Адель пристроена, Рита вроде бы успокоилась, можно было опять думать только о приятных, интересных вещах и не отравлять себе жизнь всякой ерундой. Но потом... Потом как-то незаметно возникла и начала сосать, разрастаться тягостная, темная мысль, достававшая его чаще всего неожиданно, в минуты самых больших удач, самого большого согласия с собой и со всем миром: «Борис Аркадьевич, а ведь ты... А ведь ты скотина... За что ж ты так ее? И выгнал ты ее — зачем? Кто еще так относился к тебе, как она?» Особенно не по себе было, когда приходилось навещать тетю Веру: Адель с самого порога не отходила от него ни на шаг, лизала ему руки, а когда он натягивал пальто, собираясь уходить, она всякий раз впадала в страшное волнение, подпрыгивала, стаскивала зубами с вешалки поводок, видимо, надеясь, что уж сегодня-то он наконец уведет ее обратно к себе.

«Ну что ж, — уговаривал он себя, — ну ошибся один раз в жизни. Но ведь остальное-то все было правильно... Да, вина. Но одна-единственная вина! И не убил же, не зарезал я ее, в самом-то деле. Тетка любит ее, балует, не так уж собаке плохо у нее...»

«Да? — возражал чей-то другой, чужой и явно издевательский голос. — Одна-единственная, говоришь? А по-твоему, их много надо? Может, хватит и одной? И разве обязательно надо зарезать кого-нибудь, чтобы чувствовать себя негодяем всю жизнь? Да и одна ли вина за тобой? А других не было? Ты действительно уверен, что не было больше ни одной?»

Нет, и в этом он не был уверен. Особенно теперь, в тридцать пять, когда многое из того, что было в прошлом, стало видеться по-иному. Если не врать самому себе, то и Рита тоже, наверное, его вина. Конечно, у него есть оправдания, серьезные оправдания. Кто еще стал бы с ней возиться столько, сколько провозился он? Кто еще

мог бы выдержать эту ведьму, и не день, не два — годы? С матерью — вражда, с друзьями — вражда, с книгами — вражда, да что там говорить — вражда с любимым телефонным звонком, если только этот звонок предназначался ему. Что ей нужно было? Чего еще он тогда не отдал ей? Да почти все отдал, почти от всего отступился, только бы приручить ее, как-то устроить так, чтобы ей наконец стало тоже хорошо. И ведь почти удалось, почти приручил человека. Почти... В этом-то «почти» и был весь смысл...

Они переживали тогда период какого-то нового сумасшествия, мучительной, ненасытной тяги друг к другу, когда случился этот злосчастный визит. Не было в ту осень более любящей, более ласковой на свете женщины, чем она... Пробило уже одиннадцать, они собирались ложиться спать, когда раздался резкий звонок в дверь. Он открыл — на пороге стоял абсолютно пьяный, растерзанный Гек Наумов, его товарищ еще по университету. Ничего толком объяснить он не мог: заплетающимся языком, силясь побороть какую-то густую кашу во рту, он твердил одно — домой ему больше нельзя. Борис втащил его на кухню, заставил раздеться, достал из холодильника бутылку холодного молока; Гек икал, плакал, стакан стучал у него в зубах, расплескивая молоко по лацканам пиджака. Борис вынул из стенового шкафа раскладушку и пошел устанавливать ее в комнате. Оставалось только набросить на приготовленную постель плед, когда он услышал, как хлопнула входная дверь: он выскочил в коридор — Гека уже не было, Рита вытаскивала из замочной скважины ключ. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего. Я его выставила», — спокойно ответила она и спрятала ключ в карман джинсов...

Утром он наскоро сложил чемодан и, взяв его с собой, уехал в редакцию. Шеф давно предлагал ему командировку в Анадырь — ночь он встретил уже в самолете. Пробыл он там месяца три и ни разу оттуда не написал ей. Когда он вернулся, в квартире было все прибрано, все чисто, а на письменном столе лежала записка, уже успевшая немного пожелтеть: «Ты так и умрешь один — как волк, в яме...»

Однажды вечером, прошлой зимой, он встретил ее в ресторане с каким-то облезлым, до отвращения паскудным на вид мужиком, судя по манерам — явно из подпольного, полуворовского мира. На лбу у нее обозначилась резкая морщина, лицо было накрашено, она жеманилась, закатывала глаза, неестественно хохотала, и было ясно, что она ненавидит этого мужика, но находится в полной его власти. Дождавшись, когда ее спутник на минуту вышел, Борис подсел к ней. «Уйди, убийца...» — сказала она и отвернулась.

Так что же, все было напрасно? И его стремление, чтобы всем вокруг было хорошо, — это и была самая главная ошибка, ошибка с начала и до конца? Или линия была верная, но только у него на нее не хватило сил? И надо было и дальше разрываться пополам, лавировать, врать, изворачиваться, примирять непримиримое, поступаться одним, терпеть другое, не спать ночей, препираться по пустякам, валяться в ногах, убеждать, уговаривать, упрашивать, просить прощения и самому прощать — и все-таки гнуть, гнуть свою линию, несмотря ни на что? Ну почему, почему не может быть всем хорошо? Почему «или — или»? Кто доказал, что это закон? Разве иначе нельзя?.. Да нет, можно, конечно. Только на это надо много сил, очень много сил — это груз, тяжкий груз, и тянуть его нужно всю жизнь... Он лично не смог, этот груз чуть было не раздавил его. Нет, с него хватит, пусть теперь пробует кто-нибудь еще...

— Боря, знаешь что... — вдруг сказала Вера Арсентьевна, решившись наконец прервать слишком уж затянувшееся молчание. — У нее остался сын, ему еще и года нет... Он очень похож на нее... Я отдала его соседям — здесь, за забором. Ему у них плохо, он раздражает их. Они бы с удовольствием сплавил его кому-нибудь... Понимаешь, я бы сама взяла... Но я стара, мне, наверное, уже немного осталось...

Борис долго не отвечал, ковыряя прутиком мокрую землю под ногами... Перед глазами на секунду вдруг возникла его комната — обжитая, тихая, без проблем, где люди теперь появлялись как сон, не задевая и не тревожа

больше ничего Все уже отболело, отшумело, все встало на свои ме-ста, и, по существу, кроме пишущей машинки да нескольких любимых книг, — что еще теперь было нужно ему? Люди? Но сколько же можно говорить на этом языке глухих? Нет, ему не нужен никто, он заматерел, окреп, свыкся с миром и с собой, и как-нибудь он уж сумеет дотянуть один... И пса — не надо! Не надо пса!.. А впрочем... Эх, Борис Аркадьевич, не надо бы этого. Не надо! Ты же знаешь, что не надо... Остановись!

— Ладно, тетя Вера. Веди.

1977

Теория поля

-Бросьте, Юрий Владимирович! Нет никаких оснований впадать в отчаяние. Вы устали, это ясно, мозги отказываются работать — так дайте им отдохнуть. Нечего насилловать себя... Мой вам совет — отдыхать, немедленно отдыхать. И никакой физики! Любовь, пьянство, беллетристика — все что угодно, только не физика. Выкиньте ее из головы, совсем выкиньте, чтобы и духу ее не было нигде... Не беспокойтесь, за месяц-полтора, уверяю вас, думать не разучитесь... Нет-нет, Юра, ни о каком творческом кризисе не может быть и речи, вы еще слишком молоды для этого. Сколько вам? Сорок? Ну, вот, лет через пять — девять поговорим и о кризисе, а пока что все это ерунда... Усталость кабинетного человека, одуревшего от бесконечных размышлений о вещах, которые сами по себе выходят за все мыслимые пределы разумного.

Они сидели в маленьком буфете на третьем этаже громадного здания одного из ведущих наших физических институтов — в лесу, на берегу реки, километрах в ста от Москвы. Окно было распахнуто, и в отделанную алюминием, выкрашенную масляной краской комнатку буфета, покачиваясь, врывалась июньская жара. Густой сосновый дух, настоянный на прошлогодней хвое, мешался с табачным дымом, кругом, стояла сонная после-полуденная тишь, щебетали птицы, по столам, по кофейным чашкам ползали осы, толстый мохнатый шмель упрямо гудел и бился лбом о верхнее стекло. Обеденный перерыв давно кончился, буфетчица тоже куда-то ушла, оставив их одних.

По существу, они давно уже были приятелями, давно симпатизировали друг другу, но по старой академической традиции все никак не решались перейти на «ты». Возможно, помехой этому была еще и разница в возрасте:

одному было под шестьдесят, другому только в эту осень должно было исполниться сорок. Оба были в одинаковом положении — и тот и другой заведовали теоретическими лабораториями в этом же институте, оба далеко не первый год были в звании профессора, оба были заняты фактически одним и тем же делом — теоретическим обеспечением довольно широкого круга экспериментальных работ, оба, и это тоже было немаловажно, большую часть времени жили здесь же, в лесу, в одном и том же коттедже, только на разных этажах.

Старший, Константин Модестович Пробст, когда-то считался одним из самых способных учеников Ландау, в молодости отличался не только талантом, но и феноменальной работоспособностью, сделал не одно, а ряд открытий, получивших известность, дважды выдвигался в Академию, однако оба раза по каким-то причинам не прошел, но, судя по всему, отнюдь не горевал об этом — во всяком случае больше он выдвигаться не пытался, а когда другие поднимали этот вопрос, он только отмахивался от них; дескать, бросьте, мы же с вами серьезные люди, стоит ли тратить время и силы на такие пустяки... В последние годы он, правда, стал понемногу отходить от дел, баловаться научной публицистикой, но уважения среди коллег не потерял, в первую очередь, несомненно, благодаря своему обширному уму, способности мгновенно схватывать суть любой профессиональной проблемы, а также благодаря общительному, покладистому характеру, позволявшему ему без всяких видимых усилий поддерживать хорошие отношения чуть ли не со всеми, кто что-либо значил в их не таком уж маленьком мирке. Кроме того, товарищи очень ценили его давно уже признанную и неизменно прощавшуюся ему независимость. Начальство не начальство — ему было, как правило, все равно: он мог, например, встать посреди какого-нибудь рутинного, но считавшегося почему-то важным заседания и выйти вон из зала, — и хорошо еще, если молча, а то и бросив в дверях: «Это неинтересно», — и ничто, никакие уговоры и попытки как-то воздействовать, пристыдить его, ничего с ним сделать не могли.

Многих привлекала даже сама его внешность: сухой, высокий, чуть сутулый, седой ежик волос, блестящие, все еще молодые глаза, длинные нервные руки, торчащие из манжет, вечно в каком-то рыжем или ярко-синем вырви глаз вельветовом пиджаке, в серых твидовых брюках, ладно сидевших на его поджарых ногах, вместо галстука обязательно цветастый шейный платок, только по утрам один, а вечером другой — внешность, мимо которой, особенно свежему человеку, никак невозможно было пройти, не запнувшись хотя бы на секунду. Следует также сказать, что Константин Модестович был разведен, имел постоянную любовницу лет на двадцать пять моложе его, очень милую женщину, переводчицу в каком-то издательстве, у которой он неизменно останавливался, когда бывал в Москве — а это случалось едва ли не каждую неделю, — и с которой он не смущался появляться везде и всюду, вплоть до официальных вечеров. Роман их продолжался не один год, даже его лаборантки и те уже знали ее, звонили ей по телефону, если надо было срочно разыскать его в городе, однако жениться на ней он по каким-то соображениям все-таки не желал. Возможно, это и огорчало ее, но, судя по тщательно уложенной голове, уверенной, приветливой манере держаться и способности в пять минут без предупреждения принять вместе с ним еще целый табун где-то подгулявших его гостей, все же не до такой степени, чтобы решиться на разрыв с ним или на какие-то другие шаги, способные изменить сложившееся статус-кво. Конечно, некоторые моралисты неодобрительно косились на эту никак не скрываемую связь, однако вмешиваться побаивались и ограничивались только безвредным ворчаньем у него за спиной. Что поделаешь, калибр есть калибр: как и многое другое, ему и это сходило с рук — со временем некая нестандартность и в личной жизни была признана за ним как бесспорное его право, с которым хочешь не хочешь, а приходится считаться. Пробст иногда сам полусерьезно говорил: «Вы знаете, смешно, но принципиальность, оказывается, рентабельна — это, наверное, последнее мое открытие в жизни, и это уже не

теория, это эксперимент, поставленный в абсолютно корректных условиях — на себе...»

Крайности, как говорится, сходятся. Сидевший напротив Пробста его приятель, Юрий Владимирович Сокольников, был человек совсем иного склада: тихий, скорее даже робкий, внешность неприметная, если не сказать — неинтересная, очки да серенький пиджачок, больше ничего, слабая улыбка, редкие волосы, речь негромкая, спотыкающаяся, как будто ему всякий раз неловко было отнимать у собеседника время да к тому же еще навязывать ему какие-то свои проблемы и размышления, которые могли быть в данную минуту просто неуместны, — могло же быть человеку именно сейчас не до других? Родился Сокольников в маленьком приволжском городке в семье учителя, вырос в доброжелательной книжной атмосфере, рано проявил недюжинные способности, но только в своем деле и ни в чем другом, в тридцать лет защитил докторскую диссертацию, получил лабораторию, сделал себе имя — очень солидное, но известное лишь в довольно узком кругу, особой активности никогда не проявлял, в президиумах не сидел, чудачеств никаких не совершал, работал, болел за дело, но тоже в пределах своей компетенции — одним словом, плыл по течению, предоставляя другим решать, куда, в какое русло это течение его несет.

Работал он упрямо, медленно, ворочая все тяжело, как жернова на мельнице, потая и отдуваясь, но всегда с итогом, изумлявшим окружающих своей неожиданностью, изяществом и, что особенно поражало, простотой: казалось бы, вот оно, лежало на поверхности, надо было только нагнуться и поднять, но ведь не нагнулся же никто до него, не поднял, а теперь можно сколько угодно кусать локти от досады, маши не маши руками — дело сделано, и кем?! Мешок, увалень, сидит в углу, сопит, думает там что-то свое, ни радости от него, ни интереса, пень пнем, даром что профессор, от такого любая баба сбежит, попробуй, поживи с ним — взвоешь, небось, от тоски...

Последнее, кстати говоря, было верно: любая не любая — неизвестно, но одна и единственная действительно

сбежала. Это было давно, почти сразу после окончания института, они прожили вместе два года, не больше, потом она бросила его ради какого-то кудлатого паренька, мастерски игравшего на гитаре, оставив ему маленькую дочь. С тех пор он так и не женился, вырастил дочь, в прошлом году выдал ее замуж за хорошего человека, студента-физика, и теперь жил один... Надо отдать, однако, должное его коллегам: слегка насмешливо относились к нему преимущественно лишь люди новой формации — способные, хваткие, предельно эффективные, сплошь и рядом хорошие администраторы, в совершенстве владевшие всей околонучной структурой, но в науке чувствовавшие себя несколько неуверенно, не то чтобы совсем не на месте, а как-то так, сбоку, вроде бы и здесь и не здесь, хотя все чины их и звания свидетельствовали, казалось бы, только о другом. Большинство же, особенно женщины, любили его: за незлобивость, за неумение приказать, накричать, за то, что никогда не было проблемы взять у него взаймы, в конце концов, даже за то, что из его раздутого портфеля вечно торчала бутылка молока или пучок макарон, — дочь, понятно, нужно было кормить, а в институте два раза в неделю бывали заказы, и Сокольников их почти никогда не пропускал.

Как ученого его, пожалуй, в наибольшей мере отличало какое-то болезненное, вне всякой нормы пристрастие к математике. Когда при нем кто-нибудь начинал посмеиваться над ней, он даже обижался: математика, говорил он, это язык бога, и, может быть, это единственный данный человеку способ когда-нибудь понять, что же он все-таки от него хотел. Детективов он не читал, фантастику тоже, но зато охотно впивался во всякую дребедень, имевшую привкус чертовщины: Нострадамус, Калиостро, граф Сен-Жермен — по поводу такой литературы у него давно уже установились самые тесные контакты с институтскими машинистками, и он эти контакты очень ценил. Было известно также, что он любил музыку, хотя сам не играл ни на каком инструменте, часами, сидя у себя в кресле, мог слушать какие-то почти забытые вещи, современный же хрип не признавал, но и не

осуждал — считал, что все это со временем перемелется, люди переболеют и этим, и все опять вернется к тому же, что и было всегда. Некоторые из знавших его поближе даже подозревали, что на самом деле Сокольников был поэтом, слышал «голоса» и что все его эти формулы и расчеты были нужны ему только затем, чтобы когда-нибудь дописать, наконец, какой-то неведомый, одному ему известный гимн, обращенный если не к создателю, то по крайней мере к тому, что каждую ночь вспыхивает и висит у нас над головой.

Константин Модестович, кстати говоря, был одним из первых, кто набрел на эту мысль, и это даже в какой-то мере способствовало их близости. Сам глубокий реалист, Пробст вместе с тем считал своим не только человеческим, но и профессиональным долгом как-то поддерживать, даже оберегать этого не очень складного, но симпатичного парня, хорошего, честного физика, из которого, однако, неизвестно еще что получится — может быть, величина, а может быть, и кандидат в сумасшедший дом.

— Не знаю, Константин Модестович... Ничего я не знаю... Что-то странное творится со мной в последнее время... — медленно, запинаясь, говорил Сокольников, не отрывая глаз от поверхности стола. — В голову лезет такая дрянь... Одно и то же. Ночью ли, днем — все равно. И ничего с собой сделать не могу... Я понимаю: не я первый, не я последний. Но мне-то от этого не легче!.. Мы с вами... Прогресс... Зачем? Куда? К чему? И если хотите — по какому праву?.. Это-то и важнее всего — по какому праву? По праву любопытства? И это все?.. Мы ведь с вами — средство. А цель? Какая цель? Любопытство? Это цель?.. А из любопытства — что? Куда все это приведет? Чем дальше, тем страшнее... Издержки прогресса? Ничего себе издержки... А может быть, пока не поздно, лучше бы уж сразу... На виселицу... И вас, и меня... Боюсь, что если вдуматься, ничего другого мы с вами от людей и не заслужили. Правда, Константин Модестович... Боюсь, что это именно так...

— Бросьте, Юра! Все это чепуха. Абсолютная чепуха. Усталость, нервы — пройдет... Слушайте, у меня есть мысль... Когда у вас отпуск по графику?

— В октябре.

— Перенесите на сейчас, ничего от этого не изменится... Я знаю один великолепнейший пансионат в горах... Снег, горы, лес, комфорт. Тишина... Поехали вместе, а? Оба мы с вами вольные птицы, плакать по нам некому, обуз никаких... А перед этим заедем недельки на две к морю, отогреемся, наконец... Вы катаетесь на водных лыжах?

— Нет.

— А как насчет подводного плавания?

— Тоже нет.

— Ну хоть в теннис-то играете?

— Нет, и в теннис не играю.

— А в горы ходите?

— Никогда в жизни не ходил.

— Батюшки мои, да чем же вы были заняты всю жизнь, в конце-то концов? У вас есть любовница?

— Как вам сказать... Сейчас нет.

— Может быть, вы марки собираете?

— Нет, не собираю.

— Карты? Шахматы? Ипподром?

— Не трудитесь, Константин Модестович... Ничего я не собираю, ни во что я не играю, никого у меня нет... Я зануда, и сам знаю, что зануда... Сижу, как сыч, за письменным столом... Или пластинку поставлю... Бывает — напьюсь, но это редко... Голова потом болит...

— Напрасно, Юра. Напрасно!.. Это печально, то, что вы говорите... Мало того — тревожно, если хотите знать... Поверьте, дорогой мой, я кое-что видел на своем веку. Видел и таких, как вы... Скажу вам откровенно: я бы лично, например, не поручился, что не наступит момент, когда вы рванете во все тяжкие, броситесь наперстывать упущенное... Да поздно будет, Юра!

— Нет, Константин Модестович... Я ленив.

— Ну, хорошо, оставим этот разговор. Я думаю, у нас с вами будет время обсудить все эти проблемы... Так как же? Поехали вместе? Идет?

— Да, наверное, вы правы... Надо отдохнуть... Идет. Конечно, идет... Извините, я даже не поблагодарил вас за предложение... Конечно же, идет... Нужен гидрокостюм?

— Юрий Владимирович, бог с вами! Вы право, уж совсем... Ну, на кой дьявол он в июле, на Черном-то море? Купите, если хотите, маску и трубку, этого хватит для начала...

— Вполне?

— Вполне.

Им повезло: отель стоял прямо на берегу, номер был прекрасный — окна на море, балкон, воздух, пляж в двух шагах, целый день только халат и тапочки и ничего другого, теннисный корт тут же под боком, в парке, ресторан — один из лучших в городе, бар, открытый до утра, полутьма, музыка, танцы, лохматая молодежь... Погода была великолепная, море ласковое, теплое, а по утрам прозрачное и гладкое, как стекло, вокруг всюду буйствовала пышная южная зелень, слонялись толпы отдыхающих, одетых кто во что горазд. Никогда в своей жизни Сокольников не видел столько красивых, беззаботных женщин сразу в одном месте, столько бесстыдно, глаза в глаза улыбающихся лиц, мгновенных знакомств, объятий прямо на улице, в парке, на скамеечке, на виду у всех...

Водные лыжи, однако, не пошли сразу: попробовал раз — свалился, другой — опять не удержался, кувыркнулся, едва только катер выдернул его из воды, да еще основательно хлебнул при этом — нет, это развлечение было явно не для него, слишком, наверное, стал тяжел. Не получилось и с теннисом; как он ни бился, ракетка торчала из руки торчком, вверх и вкось, как нож у повара, мяч летел черт-те куда, а стоять у стенки и уныло стучать этим белым шариком об нее — ей-богу, трудно было придумать занятие глупее — неловко перед людьми, Честно говоря, и ежевечерние выходы в бар тоже были ему в тягость. Конечно, куда деваться вечером, не сидеть же в номере перед телевизором, лучше уж на люди, все-таки веселье, гам, шум, но танцевать он не любил, о чем говорить с новыми людьми, не знал, а напиваться просто так, одному, только ради того, чтобы как-нибудь убить время, не хотелось: Константин Модестович был в этом деле плохой партнер, все время крутился на площадке возле оркестра и за столом почти не сидел.

Понравилось другое — подводное плавание. Быстро освоив эти нехитрые два приспособления, маску и трубку, он с утра забирался за скалистый мысок на дальнем конце пляжа, медленно, осторожно, чтобы не потревожить утреннюю гладь, входил в воду и, глубоко вздохнув, погружался в этот удивительный, совсем не знакомый ему прежде мир, где все было покой и тишина — ни криков, ни радио, ни этой раздражающей пляжной суеты. Плавно шевелила своими длинными ветвями актиния, неторопливо полз куда-то краб, весело, взбалмошно носились взад-вперед стайки серебристой рыбешки, поблескивая чешуей, а на самом дне лежали тяжелые камни, заросшие водорослями, и стоял полумрак — свет был отсюда далеко, где-то там, наверху, у поверхности воды... Иногда выплыв на мелководье, он ложился животом на песок, вытягивал руки и, не двигаясь, ждал, когда любопытные бычки, напуганные было его появлением, начнут собираться вокруг него вновь. Действительно, проходило совсем немного времени, и стайки их опять возвращались на прежнее место, кружились вокруг него, тыкались носами в его пальцы, растопыренные на песке, трогали их губами, путались в волосах, ползали по нему... Когда же надоедало, он уплывал к скале, торчавшей у входа в эту маленькую бухточку, взбирался на нее, ложился там и лежал, дремал, грелся на солнышке, не думая ни о чем и ни о ком.

Зато Константин Модестович был здесь в своей стихии. Стоило только посмотреть, как победно, в рост, откинув назад седую голову, мчался он на водных лыжах, оставляя за собой длинный пенистый след, как стойко отбивал он атаки молодых напористых теннисистов, безуспешно пытавшихся загнать его на заднюю линию, — нет, не они, а он им навязывал свою игру, рвался к сетке, бил мяч жестко и зло, подшучивал над ними, подзадоривал и в конце концов выигрывал почти у всех, как лихо отплясывал он в баре, завиваясь в какие-то немыслимые фигуры и выделявая ногами черт знает что! Интересно было также наблюдать, как он ухаживал за женщинами: по-старинному, с барской снисходительностью, будто

сгибаясь в глубоком поклоне, что, естественно, вызывало у них поначалу — но только поначалу — смущение, а то и смех.

Удивляло еще и другое. Несмотря на некоторую вычурность в манерах, Пробст, как ни странно, был абсолютно своим среди всей расхристанной, приклатненной шпаны, с утра до вечера отиравшейся у причала: спасателей, лодочников, матросов с катеров, их длинноногих подружек... Все они были ему приятели, знали его уже не первый год, говорили ему «ты», называли «дед», хлопали дружелюбно по плечу и по первому его слову пригоняли ему какой угодно катер или лодку, доставали лыжи, бегали за вином — платил он всегда щедро, не торгуясь и не спрашивая никогда отчета в потраченных деньгах. Ни грубость их, ни матерщина, ни хриплые голоса и размалеванные лица их достаточно потасканных уже, несмотря на возраст, спутниц никак не смущали Пробста. Напротив, именно это-то больше всего и привлекало его, и Сокольникову приходилось каждый раз тратить немало усилий, чтобы извлечь, наконец, своего друга из очередного такого заседания — с гитарой, водкой, с грязными стаканами, с помятыми, истекающими липким соком помидорами на газетном листе, — опять быстренько, на скорую руку образовавшегося в медпункте или в спасательной будке или прямо тут же, на пляже, в тени от большой бело-синей шляпки, вытащенной по такому случаю лебедкой из моря на песок.

— Константин Модестович, а эти-то? Эти-то вам — за чем? — как-то раз, не удержавшись, все-таки спросил его Сокольников.

— Зачем? Ну... Ну, во-первых, это любопытно. Весьма любопытно. По крайней мере, для меня... А во-вторых... А во-вторых, это, Юра, отчасти ответ на ваш вопрос, заданный еще тогда, в Москве. Помните?.. Ну, как же, на счет того, что не пора ли нас с вами на виселицу? Конечно же, помните... Ведь скоты, да? форменные скоты, признаете?.. А ведь это, Юра, тоже человеческий материал, на котором строится жизнь. Обширный материал! И заметьте: предоставленные самим себе, они воспро-

изводятся, и каждое новое поколение ничем не лучше, если не хуже предыдущих... Вы думаете, этакое вот животное либо убеждением либо принуждением можно превратить в человека? Как бы не так!.. Нет, давно уже пора признать: без нас с вами выхода нет и не будет. Без нас — я имею в виду ученых. Не жрецов, не попугаев, а именно ученых: науку, анализ, хорошую теорию и на ее основе — эксперимент. Сначала на кроликах, потом на людях! Да-да, на людях! И нечего стыдиться этого — на людях!.. Повесить надо не вас, не меня. Повесить надо тех, кто в Асиломаре — ну, вы знаете, о чем я говорю, — принял тогда этот идиотский мораторий на опыты в генной инженерии... Ученые, называется... Своими руками завалить камнями единственный выход из мрака, единственную надежду когда-нибудь что-нибудь в этом мире изменить...

— Может быть, и так. Может быть... Звучит, во всяком случае, логично... Один вот только вопрос... А почему... А почему вы так уверены, что в случае чего вы будете по эту сторону колючей проволоки, а не по ту? У вас есть какие-нибудь гарантии? Или это вопрос веры?

— Стыдно, Юра! Глупости. Вы же умный человек... Не обижайтесь — и отвечать не хочу... Это уж, что называется, кому как повезет! Пусть неудачник плачет...

Да было ли вообще на земле место, где бы Константин Модестович Пробст не чувствовал себя своим? В горах он точно так же в два-три дня оброс приятелями, с ходу вклинился во все игры и затеи, которыми жил пансионат, — преферанс, шахматы, волейбол, прогулки к водопадам и на ледник, шумел, устраивал шашлыки, с удовольствием влезал в какие-то интриги и розыгрыши, по вечерам порхал из номера в номер, выпивал и с теми, и с другими, и с третьими, беседовал со старушками, говорил дамам комплименты — и, по-видимому, был счастлив.

Пансионат был действительно великолепный: кругом горы, самые высокие из них — в снегу, долина, заросшая лесом, гул и грохот потока, скачущего вниз по камням, утром туман под самыми окнами, воздух, раздирающий

своей свежестью грудь, вечером солнце на леднике, лиловые сосны, потом звезды над головой, каждая с кулак величиной, таинственность, озноб, тишина, луна над белым асфальтом, уводящим в темноту... Бывали дни, когда Сокольников уходил в лес или в горы с самого утра и возвращался назад к вечеру. Слава богу, никто здесь, включая и Пробста, к нему не приставал и не спрашивал ни о чем: где он был, куда ходил, почему он не со всеми — кому какое дело, живи, как знаешь, один так один.

Вскоре он даже сделал открытие, удивившее и обрадовавшее его. Нет, оказывается, все это еще не ушло, не осталось там, в юности, а и сейчас еще с ним — грусть, ожидание, способность волноваться не из-за чего: листва вдруг зашелестела на ветру как-то не так, или ноздри ухватили горьковатый дым костра, или тропинка вдруг вывела к пустому шалашу, в котором, судя по охупкам еще свежей травы, кто-то ночевал сегодня ночью — может, пастухи, а может, и не они... Сердце начинало тогда стучать быстрее, шаг ускорялся, по телу пробегала дрожь, и казалось, что вот сейчас, сию минуту что-то произойдет, непременно произойдет — что-то исключительно важное, чего он, может быть, ждал всю жизнь и чего ни музыка, ни математика заменить ему не могли. Но ничего не происходило и не могло произойти, все оставалось так, как есть, но опять, как в юности, вокруг него легким пухом летали обрывки какого-то счастья, их можно было даже на секунду схватить, потрогать, задержать в руке. Одного только нельзя было сделать: собрать эти обрывки воедино.

По вечерам он спускался к реке, пристраивался на каком-нибудь камне, нависшем над потоком, смотрел на воду, несущуюся мимо, на какие-то прутики, щепочки, ныряющие в водоворотах, на пену, бурлящую у валунов: брызги снизу долетали до лица, уши заполнял грохот воды, колени, поджатые к подбородку, цепенели, и опять можно было не думать ни о чем — ни о себе, ни о других. Но очень долго сидеть так не удавалось: как только солнце пряталось за последнюю к западу вершину, ущелье почти

сразу поглощала тьма и пронизывающий холод от воды и от камней становился невыносим — приходилось подниматься и идти к себе.

У этого пансионата была еще одна особенность — невероятное обилие цветов. В парке, в холле, на этажах, в каждом номере — всюду были цветы, ухоженные, политые, где надо — заботливо подвязанные, где надо — оставленные расти по их собственной прихоти: длинные аллеи роз, большие круглые клумбы фиалок и ирисов, кусты азалий в кадках, целый сад причудливых кактусов прямо посреди холла, в россыпи камней, густые заросли традесканций вперемешку с какими-то красными цветочками на подоконниках и на лестницах, по утрам свежие левкои или лилии в вазах на столах — все это цвело, сияло, издавало тысячи запахов, особенно сильных по ночам.

Однажды, когда они вдвоем прогуливались по парку, Пробст, заметив кого-то за высокой куртиной шиповника, вдруг остановил своего спутника:

— Юра, а знаете, кому мы всем этим обязаны? Хотите познакомлю?.. Тоня! Антонина Николаевна! Доброе утро! Сделайте милость, покажитесь! Нам к вам нельзя — кусты колючие, штаны раздерем...

Верхние ветки шиповника раздвинулись, и между ними появилось миловидное девичье лицо: лет двадцать, может быть, немного больше, каштановые волосы, повязанные желтой косынкой, на лбу капельки пота, большие глаза, нос в конопушках, полуоткрытый рот, тонкая шея над худенькими плечами...

— Тонечка, радость моя, где же вы все прячетесь? Я уже второй день пытаюсь вас найти... Юрий Владимирович, рекомендую: вот эта милая барышня и есть тут главный человек. Кроме гор и водопада, остальное все — ее рук дело. Видите, как бывает? фантазия, садовый нож, немножко любви к ближнему — и вы в раю... Лично я, Тонечка, клянусь: одно ваше слово — и остаюсь здесь безвылазно на всю свою остатнюю жизнь...

— Что вы! Не клянитесь, Константин Модестович. Не выдержите, сбежите. В первый же год... Зимой здесь

не так. Зимой здесь дожди, холод. Рано темнеет. Иногда снег идет... Не знаешь, куда себя деть...

— А любовь, Тонечка? А любовь-то на что? Лампы зажжем, будем с вами в кресле сидеть, книжки читать, разговоры разговаривать — что еще человеку надо? Я вам буду ручки целовать, сказки рассказывать...

— Ой, боюсь, Константин Модестович! Они у вас, наверное, все страшные... Нет, уж лучше я сама себе что-нибудь придумаю. Со счастливым концом... Юрий Владимирович, а вам тоже тут нравится?

— Очень нравится.

— И мои цветы?

— И цветы тоже нравятся.

— А знаете, некоторые ворчат, жалуются: дескать, и цветов слишком много, и природу они портят... И голова от них болит...

— Плюньте, Тонечка! Не обращайтесь внимания! На всех не угодишь, — опять заволновался Пробст. — Вы художник, талант и должны с достоинством нести свой крест. Вам нравится? Ну, и прекрасно! А на остальное на все — наплевать...

— Нет... Я так не могу. Если мешает кому-то, значит, уже нехорошо... Я иногда очень расстраиваюсь, руки опускаются... А потом, вот как вы, похвалит кто-нибудь — и опять легко станет. Опять и самой все нравится...

— Тонечка, голубчик, да хотите я тут целую манифестацию устрою в вашу честь? С флагами и транспарантами? Чтоб никому неповадно было вас обижать? Мне нетрудно, охотники найдутся, уверяю вас...

— Ради бога, Константин Модестович! Пожалуйста, не нужно...

— Это почему?

— Потому... Потому что вы добрый человек, вы от души... А кто-нибудь и наврет...

— Ну, а вам какое дело, если наврет? Подумаешь — наврет! Важно, что наврет. Что надо — то и наврет.

— Все равно — наврет...

— Хорошо, Тонечка, с манифестацией подождем. Убедили. Но вас-то мы можем видеть хоть иногда? Что это та-

кое, в самом деле? На танцах вас нет, в кино нет... Где же я буду за вами ухаживать? На работе? Согласен, могу и на работе. Хотите целый день буду таскать за вами поливальный шланг? Но ведь вам же будет неудобно. Смеяться будут...

— Будут... А на танцы я не хожу...

— Ну, и бог с ними, с танцами. Без нас обойдутся... Тогда почему бы вам, например, не пригласить нас к себе в гости? Ведь вы живете одна? Так? А мы люди приличные, в скатерть не сморкаемся, посуду не бьем, слова всякие умные знаем... Самовар в доме есть?

— Есть... После техникума из Армавира сюда собиралась — мама чуть не силой навязала: возьми да возьми, там шишек много, будешь самовар шишками топить...

— Тонечка, я, конечно, нахал, говорите, что хотите, но, по-моему, вопрос решенный: сегодня же, после ужина, одна очаровательная молодая особа устраивает чай для двух московских профессоров, истосковавшихся по домашнему теплу и женской ласке... Самовар ваш, кренделя и бублики наши — идет?

— Вы серьезно?

— Ну, конечно, серьезно. А почему вы думаете, что не серьезно?

— Так... Мне пока еще трудно понять, когда вы шутите, а когда всерьез... Приходите. Я буду рада. Вы ведь вдвоем придете?

— Вдвоем, вдвоем, не беспокойтесь, — закивал Пробст. — Никаких сомнений относительно целей визита. Так и соседям объявите — никаких!

— Ну, как? Хороша? — спросил Пробст, когда они вышли из парка.

— Хороша...

— Ага! Оказывается, и вы не безнадежны, Юра? Забрало! Беретесь? Или оставите поле деятельности мне? Не просто хороша — чудо как хороша! Такие теперь только в провинции и остались, в Москве таких давно нет... Учтите, Юра, времени мало. Если решаться, то нужно сразу, сейчас. Иначе можно не успеть.

— Действуйте, Константин Модестович. Не обращайтесь на меня внимания. Пока-то я развею пары...

— Значит, согласовано? Никаких взаимных обид?

— Какие тут могут быть обиды, Константин Модестович? Если обижаться — то на бога, не на вас...

Они провели вместе прекрасный вечер. Тоня жила в приземистом, обросшем мальвами домишке на горе, на краю поселка. Комната ее оказалась хотя и маленькой, но очень уютной, окно выходило в сад, самовар был старинный, еще от прадедов: они долго разводили его во дворе, а когда почти уже стемнело, внесли в дом — булькающий, пышущий жаром, искрящийся угольками сквозь дырки внизу — и торжественно водрузили посреди стола. Константин Модестович был мил, добродушен и говорлив, Сокольников тоже по мере сил не портил картину, поддерживал беседу, как мог, Тоня хлопотала, старалась, чтобы всем было хорошо, а когда поняла, что всем действительно хорошо и ничего больше не нужно делать, уселась и сама и тихо слушала их болтовню, положив на стол локти и по-детски подперев щеку кулачком. Впрочем, слушала или нет — об этом не всегда можно было сказать с твердой уверенностью: сама она говорила мало и не перебивала их, не задавала вопросов, и по глазам ее тоже нельзя было узнать, где она сейчас находится, здесь или не здесь, — почти все время взгляд ее был устремлен куда-то прямо перед собой, в черное стекло окна, где отражался свет лампы, самовар, их головы и, возможно, еще что-то, что видела только она одна.

В какой-то момент дверь скрипнула и приоткрылась — в нее осторожно просунулась вислоухая собачья морда: помедлив немного на пороге, пес мягко шагнул в комнату, обошел ее кругом, обнюхал колени сидящих и улегся под столом, где и пролежал до самого их ухода, вздыхая и изредка вздрагивая во сне.

Но один раз, когда Пробст, казалось бы, только только добрался до самого интересного места в какой-то действительно очень забавной истории, она вдруг неожиданно перебила его:

— Константин Модестович, а вы верите в чудеса?

— В какие чудеса, Тоня? — не понял Пробст.

— Ну, в разные... В то, например, что можно сидеть здесь и знать, о чем думает... или что делает... кто-то другой, на другом конце земли... Или в пришельцев из других миров... В древние тайны, которые колдуны хранят...

— Нет, Тонечка. Должен вас огорчить — не верю... Я физик, следовательно, человек точных знаний. Я не могу верить просто так, на слово, кто бы что ни говорил. Мне нужен опыт, эксперимент, на худой конец — хорошая теория, где бы одно не противоречило другому... Было, Тонечка, время — я очень интересовался этими вопросами, даже участвовал в комиссиях, которые проверяли разные необычные сообщения... И парапсихология, и эти летающие блюдца, и прочая ерунда... И все, как оказалось, либо мошенничество, либо ошибка, оптический обман... да просто сны, наконец, словом, все что угодно, только не факт... А почему вас, Тонечка, это так волнует? Вам что, без этого жить неинтересно?

— Нет, мне интересно... Только мне очень хочется думать, что все это тоже есть... А в то, что мы не умрем, вы верите, Константин Модестович? Что мы будем всегда?

— Вот насчет этого, Тонечка, не знаю! Честно признаюсь, не знаю... Это совершенно другой вопрос... Спросите-ка вон лучше Юрия Владимировича, он, по-моему, о таких вещах много думает...

— Юрий Владимирович, а вы? Вы верите?

— Как вам сказать... Моя вера странная, Антонина Николаевна... Я, например, верю в то, что человек когда-нибудь сможет по желанию весь, без остатка, превратиться в Мысль... Наверное, тогда-то мы наконец и узнаем, что такое Вселенная... Ведь мысль не на порядок, не на два, а бесконечно быстрее света. Для мысли нет непреодолимого пространства, нет и измерений, которые были бы ей недоступны. Даже если говорить о времени, то и тогда...

— Ну, пошло-поехало! Юра, голубчик, ради бога, торозите! Давайте лучше о чем-нибудь другом...

— Почему, Константин Модестович? Мне интересно... Видите, и Юрий Владимирович тоже в это верит. Значит, не я одна...

Понимая, что он уже сыграл свою роль, Сокольников больше потом не бывал у нее в доме, довольствуясь лишь случайными встречами с ней в парке или пансионате. Два-три слова, поднятый взгляд, прядь волос, отведенная со лба ладонью, чтобы не мешала смотреть, тугие колени, обтянутые юбкой (обычно он заставлял ее на корточках, около цветов), иногда — улыбка, предназначенная то ли ему, то ли не ему, нет, скорее не ему, а просто так, в пространство — никому...

Но Константин Модестович, видимо, процветал и на этом фронте. Теперь по вечерам он уже не бегал из номера в номер, не играл в преферанс, не любезничал с дамами в холле: не говоря никому ни слова, он регулярно, часов в девять, исчезал и возвращался домой лишь за полночь, когда двери пансионата были уже наглухо заперты на засов. Их комната помещалась на первом этаже, и Сокольников теперь каждую ночь, напряженно вглядываясь во тьму и прислушиваясь к любому шороху, ждал, пока не раздадутся осторожные, крадущиеся шаги под окном, вслед за этим в край подоконника цеплялись две руки, проем окна заполняла черная тень, потом одна длинная нога, а за ней и другая перемахивали в комнату, слышался мягкий соскок, кашель, стук ботинок, сброшенных на пол, шуршание стаскиваемой одежды и, наконец, басовитый, полный глубокого удовлетворения вздох кровати, принявшей в себя тело Пробста, отнюдь не легкое, несмотря на его худобу. Константин Модестович имел также привычку обязательно выкурить сигарету перед сном: огонек ее еще долго описывал круги в темноте, то удаляясь, то приближаясь к его лицу и освещая в эти мгновения его нос и губы, искривленные, как чудилось Сокольникову, победной усмешкой.

Обычно Сокольников не спрашивал его ни о чем, делал вид, что спит, молча дожидался, пока раздастся его ровное сопенье, — благо, ждать приходилось недолго, — чтобы без помех, в тишине, опять погрузиться в свои думы. Но однажды Пробст вернулся как-то очень уж необыкновенно: загремел стеклом, перелезая через подоконник, грохнул стулом, с грохотом же закинул ботинки

под кровать, долго звенел графином о стакан и жадно, шумными глотками пил воду, сидел на кровати, что-то бормотал себе под нос, упрямо чиркая отсыревшими за ночь спичками... Сокольников понял: что-то произошло.

— Как успехи, Константин Модестович? Идет дело?

— Великолепно, Юра! Великолепно! Я ждал, я думал, что будет хорошо, но чтобы так?! Ах, как это прекрасно, если бы вы только знали... Я молод, Юра! Я опять молод! Потрясающая девушка... Мягкая, нежная... И не холодная, нет, не думайте! Волосы, Юра, какие волосы... Бог ты мой! Руки, грудь...

— Что же, поздравляю. Рад за вас...

— Я сам за себя рад, Юра! До сих пор опомниться не могу...

— Понимаю... Случай, надо думать, действительно не рядовой... Ну, а когда опомнитесь — что тогда?

— Тогда? Что — тогда?

— Я имею в виду — дальше что? Ведь сегодняшняя ночь-то, вероятно, не конец?

— Дальше? А что дальше? Сколько нам с вами здесь осталось? Дайте прикинуть... Четырнадцать, нет, пятнадцать дней...

— И не жалко будет?

— Кого?

— Может быть, и самого себя. Не знаю... Но в данный момент я про нее...

— Что значит жалко, Юра? Почему обязательно чуть что, так сразу — жалко? Давайте рассуждать логично... Что ее здесь ждет? Цветы? Клумбы? Год? Два? Ну, пять, наконец? А потом? Какой-нибудь пьяница шофер? Да хорошо еще, если он — шоферы здесь народ богатый, значительный. Это еще повезет, если шофер... Выйдет замуж, нарожает детей, муж будет ее бить, она будет по соседям прятаться, синяки скрывать, высохнет вся... Сначала будет плакать по ночам, потом смирится, озлобится — куда же денешься, все равно другого выхода нет... И чем дальше, тем больше я буду превращаться для нее в нечто ирреальное, в одно из тех чудес, в которые она пока еще

верит... Дай бог, кстати говоря, сохранить ей эту веру подольше, все-таки так, наверное, легче жить.

— А вы?

— Что я?

— Вы-то как? В некотором смысле вы ведь теперь тоже участник ее жизни...

— Бросьте, Юра... Опять эта ваша гипертрофия совети... У вас прекрасное сердце, я это вижу и знаю, за это я вас и люблю. Но включите же, наконец, голову, вы ведь ученый... Вы же должны понимать, что даже чисто арифметически личная ответственность не может иметь безграничный характер... Потом нельзя же всех стричь под одну гребенку. Жизнь в этом смысле достаточно гибка. Я, например, лично знаком с одной московской дамой, которая всю жизнь прожила тем, что она когда-то целый месяц была подругой Блока... Ну, так и что? Прикажете и ее жалеть? А надо ли, Юра?

— Блок, конечно, это Блок... Вы правы. Он один... Но беда-то вся в том, Константин Модестович... что на одного Блока... Что на одного Блока — сколько их, других? Которые тоже почему-то уверены, что и у них есть право на все?

— А это уже вопрос селекции, Юра! Как вам прекрасно известно, чтобы получить одну особь с нужными признаками, надо извести впустую пропасть всякого другого материала... Если вы хотите меня этим обидеть, то зря... Я не очень гордый человек, Юра. Я согласен, если вы и меня зачислите в материал. В качестве частички питательного раствора для какого-нибудь будущего Эйнштейна или Резерфорда... И вообще, Юра, дорогой мой, не портите мне праздник! Я сегодня так счастлив, что, честное слово, совершенно не гожусь ни для какой философии... Давайте лучше спать...

И следующую ночь, и еще одну или две после нее Константин Модестович возвращался домой все в таком же полублаженном состоянии... А потом, видимо, опять что-то произошло, не известно что, и он вдруг померк, обмяк, как-то сдал прямо на глазах: в волейбол он еще играл, но ни в каких походах и увеселениях

больше не участвовал, стал сторониться людей, подолгу валялся один в номере на кровати... Что он делал, когда оставался один? Читал? Да нет, не читал — просто так, наверное, лежал и думал; Сокольников как-то с удивлением обнаружил, что книга, уже неделю валявшаяся у него на тумбочке у изголовья, была все время раскрыта на одной и той же странице и даже стакан с водой, которым были придавлены ее листы, за всю неделю так, по видимому, ни разу и не был сдвинут с места. Появились в нем и другие изменения, сами по себе, может быть, и незначительные, но человеку, давно знавшему его, говорившие о многом. Константин Модестович, например, и вообще-то никогда не отличался особой аккуратностью, а теперь Сокольников стал замечать за ним даже то, чего раньше все-таки не было ни при каких обстоятельствах: табачный пепел на рукавах и лацканах пиджака, не очень свежее белье...

В один из дней уже почти перед самым их отъездом, после обеда, когда весь пансионат попрятался по номерам — стояла адская жара, солнце палило нестерпимо, даже на песок на дорожках и то было больно смотреть — Сокольников заметил его сидящим на скамеечке, в углу, где за большой клумбой начиналась главная аллея в парк. Задумавшись, Пробст машинально чертил прутиком на песке какие-то фигуры, стирал их и вновь начинал чертить, накладывая круги на круги или, наоборот, отодвигая их все дальше и дальше друг от друга. Сокольников подошел и сел рядом.

— И что же получается, Константин Модестович? Новый закон?

— Закон? — поднял голову Пробст. — Может быть, Юра... Может быть... Может быть, и закон... Теория поля... Еще одного, но, может быть, самого важного из всех... Как говорится, частный, но достаточно репрезентативный случай...

— Что случилось, Константин Модестович? Вы сильно изменились за последние дни...

— Что? Да ничего, Юра... Одному надоедливому старику сказали: «хватит». Только и всего. Как видите, ни-

чего интересного, незначительное событие, легко объяснимое законами классической механики... Нет, Юра, вру. Извините меня — и сам знаю, что вру... Если бы все было так просто... Но в том-то и дело, что это уже не Ньютон, это уже такой релятивизм... Даже не релятивизм — ультрарелятивизм или еще что-то, черт его знает, что там будет после него... Думаете, ей было плохо со мной? В том-то и дело, что нет. Тогда почему? Хорошо, я стар, глуп, я ничего больше не понимаю. Так, может быть, вы мне тогда объясните — почему?

Когда Сокольников вечером задержался на секунду на крылечке ее мазанки — нужно было хотя бы перевести дыхание прежде, чем решиться толкнуть дверь, — за спиной его послышалось глухое ворчанье. Он оглянулся. Поставив передние лапы на самую нижнюю ступеньку, сзади него стоял пес и внимательно смотрел на него, будто спрашивая: «А тебя кто-нибудь звал?» Решив, видимо, что нет, никто этого человека не звал и делать ему здесь нечего, пес опять заворчал, но уже громче и переставил лапы на следующую ступеньку. В эту минуту дверь отворилась: на пороге, в мягком домашнем халатике, появилась Тоня.

— Акбар! На место!.. Ко мне, Юрий Владимирович?

— К вам.

— Пошел, Акбар! Не обращайтесь на него внимания. Это он так... Он не злой, он никогда не укусит...

Она задернула занавеску, усадила его за стол, спиной к окну, и сама села напротив него, но сейчас же встала, чтобы убрать со стола высокую стеклянную банку с цветами, мешавшую им видеть друг друга: кажется, в банке были маки или что-то другое, тоже красное, теперь уже, конечно, не вспомнишь, что... Потом она села опять, положив локти на стол и подперев подбородок кулачками, но говорить ничего не говорила, молча ждала, пока он сам не скажет, что же все-таки его сюда привело. Время было позднее, наверное, часов одиннадцать или около того.

— Тоня, — решился наконец Сокольников. — Послушайте... Выходите за меня замуж... Я вас люблю... Я вас очень люблю... Подождите, только не перебивайте меня.

Я сейчас плохо соображаю... А мне многое надо вам сказать... Даже если сегодня у вас нет ничего ко мне... Ну, ничего в этом же роде. Вы понимаете... Ведь это и не так уж важно... Мы можем жить вместе, быть товарищами... Не думайте, я не хитрю, нет, я правда так думаю... Я ничем не свяжу вас, и я ни на что не претендую. И не буду претендовать... Но мы уедем с вами отсюда, вы будете учиться, найдете свою дорогу... А я буду рядом... Может быть, когда-нибудь... Кто знает? Может быть, когда-нибудь и я заслужу вашу любовь... Но сейчас не это главное...

— Нет, Юрий Владимирович... Милый, хороший Юрий Владимирович, нет.

— Нет?

— Нет.

— Правда — нет? Всегда нет?

— Нет, Юрий Владимирович.

— Понимаю... Мой друг? Это причина?

— Константин Модестович? Нет... Он здесь ни при чем... Я его не люблю...

— Не любите? Боюсь, Тоня, что не так... Иначе вы не могли бы решиться на такой шаг. Я знаю — не могли.

— Шаг? Какой шаг?

— Тоня, мне ведь не все удобно говорить...

— Ах, это? Нет, Юрий Владимирович, не потому... Ему это очень нужно было. Я чувствовала, что иначе он будет очень несчастен. Ну, и... Ну, вот и все. Больше я и не знаю, что сказать...

— А почему же вы тогда его так... резко?

— Резко? Вы думаете — резко? А мне казалось, что не резко... Я ему ведь все объяснила. Только он не понял... Он славный, добрый человек, но почему-то не понял... Наверное, ему это все действительно очень важно...

— А вам?

— Мне? Мне нет... Мне неважно... Вы поймете...

— Тоня, иногда мне кажется, вы не живете — вы спите. Спите и видите сны... Может быть, пора уже понемногу просыпаться?

— Сплю? Может быть, и сплю... А зачем просыпаться, Юрий Владимирович? Вы мне можете сказать — зачем?

В день, когда они уезжали, похолодало, Над ущельем повисли тучи, потихоньку стал накрапывать дождь. Большой синий автобус с желтыми полосками на боку стоял у подъезда, пофыркивая фиолетовым дымом, отъезжающие суетились, совали в его брюхо чемоданы, махали руками, что-то кричали друг другу, записывали адреса... Места в автобусе были нумерованные. Когда Сокольников и Пробст пробилась сквозь толчею к своим креслам, оказалось, что на каждом из них лежало по букету свежих, только что срезанных роз — на лепестках их еще дрожали капельки воды. Пробст повертел свой букет в руках и молча закинул его в сетку над головой.

Сокольников все время искал глазами Тоню, но ее не было среди провожающих. Не было ее и в парке, и в пансионате — нигде, где бы он ни пытался сегодня ее найти...

Когда приветливая стюардесса усадила их в самом хвосте самолета и приказала пристегнуть ремни, Пробст задержал ее за рукав:

— Голубушка, из уважения к моим сединам... Нам необходимо немного коньяку...

— Извините, не могу... Вы же знаете — не положено...

— Знаю, хорошая моя. Знаю. Все знаю. Но, понимаешь, необходимо... В общем, так: одну бутылку нам, одну экипажу. Естественно, плачу я... Очень прошу тебя — принеси...

Выпив свой коньяк, он сразу заснул.

Через три года Пробст умер от тяжелейшего нефрита. Имуущество он завещал своей бывшей жене — детей у него не было. На похоронах многие обратили внимание на статную, еще молодую женщину с тщательно уложенной головой под черным кружевным платком. Она никого не узнавала, и к ней старались не обращаться. Говорили, что именно от нее его увезли в больницу, откуда он уже больше не вернулся.

За месяц до смерти он ослеп. Когда Сокольников — его лабораторию фактически уже слили с лабораторией Пробста — перед самым концом навестил его в больнице, он не сразу узнал старика. Особенно тягостное впечатление производили его глаза: они смотрели прямо перед

собой, и в них не было ничего. Нашупав его руку, Пробет еле заметно сжал ее:

— Вот видите... И вешать никого не надо. Сами убираемся помаленьку... Не знаю, может быть, другие будут немножко помягче нас... Спасибо, голубчик, что пришли. Не судите слишком строго. Я ведь по-своему тоже любил вас...

В густом сосновом лесу, на берегу реки, километрах в ста от Москвы, часто, особенно под вечер, можно встретить невзрачного, полноватого человека, медленно бредущего по одной из дорожек. Обычно он гуляет один, вернее, не один, а с собакой, лопухим сеттером, судя по всему, очень привязанным к нему. Спросите этого человека, если захочется, что он думает. «Так, ерунду...» — ответит он, улыбнувшись своей извиняющейся улыбкой, и можете не сомневаться, не соврет.

Скорбный лист

I

Тихо... Тихо... Кошка спит, мишка спит. Наша мама тоже спит... И Андрейка тоже спит... Наш Андрейка тихо спит, его ушко не болит...

Кошка действительно спит. Насчет мишки, правда, неизвестно: по его стеклянным глазам-пуговкам никогда не разберешь, спит он или нет. Но мама — та тоже или спит, или дремлет: вконец обессиленная, не раздеваясь, она прикорнула на диване, свернувшись в клубок и набросив на себя свой старенький, совсем истончившийся от времени и многих стирок халат.

Голова Андрейки, обложенная ватой и обмотанная бинтами, на плече у отца. Большие руки мягко прижимают его худенькое тельце к просторной груди, край фланелевой пижамы прикрывает его сверху, а голые его пятки спрятаны под согнутый локоть, поддерживающий его, и прижаты к теплomu, упругому отцовскому животу. Ухом или, может быть, щекой, но Андрейка слышит, как где-то глубоко в груди у отца ровно и глухо стучит сердце. Нос Андрейки уткнулся в маленькое углубление там, где отцовская шея сходится с ключицей, и ноздри его ощущают крепкий запах, исходящий от его кожи, — запах пота, одеколona, табака и чего-то еще, чем никто больше не пахнет, а пахнет только он, отец.

Ночь. Раскачивается в такт шагам голая лампочка над головой, прикрытая бумажным абажуром. Свет ее режет глаза, и Андрейка их почти не открывает: так, с закрытыми глазами, прижавшись к отцовской груди и сунув голову под фланель, он совсем в норке, совсем спрятался от всех, и никому, никаким злым силам его теперь ниоткуда не достать. Отцовские руки еле заметно,

как на больших качелях, покачивают его. Поскрипывает старый рассохшийся паркет под мерными шагами отца, молчат комната, молчат стулья, гардероб, стол, молчит ночь за окном. Взад-вперед, взад-вперед, от окна к двери, от двери к окну... Андрейке тепло, хорошо, не больно, Андрейка засыпает, засыпает...

Вдруг зверская боль опять простреливает его ухо. Боль адская, невыносимая, прокалывающая насквозь его голову, уши, лобную кость, глаза, пронзающая сверху вниз, от висков до пяток, все его маленькое, дрожащее, сжавшееся в комок существо... Андрейка вскрикивает и тоненько, по-заячьи, начинает плакать: «Больно, папа, больно... Ой, больно... Я больше не могу... я больше не могу...». Тяжелая ладонь сейчас же прижимает его голову еще ближе к груди, шаги убыстряются, качели раскачиваются сильнее, растерянный, задыхающийся голос отца начинает что-то бормотать, что-то говорить, отвлекая его... Боль выстреливает еще раз, и еще, и еще, Андрейка заходится в отчаянном, разрывающем душу крике, и... И боль вдруг отступает, исчезает неизвестно куда, исчезает так же, как и пришла. Андрейка всхлипывает, успокаивается и опять начинает засыпать...

Андрейке нет еще и четырех лет. Это не первая боль в его жизни. Но все, что было с ним раньше, — ушибы, царапины, ссадины, расквашенный нос, содранные в кровь коленки, — все это ничто в сравнении с тем, что происходит с ним сейчас...

Четвертый час ночи... Четвертый уже час, как они ходят так с отцом по комнате, из угла в угол, от окна к двери, от двери к окну... четвертый час, как они ждут врача неотложной помощи из Филатовской больницы. По телефону сказали: «Приедет. Обязательно приедет. Ждите... И не звоните зря, не беспокойте себя и людей. В Москве вы не одни...».

Зима с 1939 на 1940 год. Сорокаградусные морозы. Финская война.

Наконец в конце длинного коридора их многонаселенной коммунальной квартиры раздается резкий, требовательный звонок. Мама сейчас же, как подброшен-

ная пружинной, вскакивает с дивана и бежит открывать. Входит высокий, седой, очкастый доктор с чемоданчиком в руках, в валенках, закутанный толстым мохнатым шарфом почти до глаз и в подвязанной под подбородком, низко надвинутой на лоб ушанке. Пока он разматывает шарф, пока он медленно, одеревеневшими на морозе пальцами расстегивает и стаскивает с себя пальто, пока он моет руки над тазиком в углу, а мама поливает ему из кувшина, Андрейка молча, со страхом и любопытством, забыв про боль, еще минуту назад терзавшую его, смотрит на него из-под своего фланелевого укрытия...

— Чудовищные холода... Чудовищные... Когда же это кончится, а? — ворчит доктор. — Пока дошел от машины до вас, уже околел... Между прочим, в ваших дворах, уважаемые, сам черт ногу сломит. Если бы не истопник, на мое счастье вылезший из котельной, мне бы вас ни за что не найти... Ну, так что у вас здесь произошло?

Медленно, ловкими, почти неощутимыми пальцами доктор разматывает бинты, накрученные на Андрейкину голову. Потом снимает толстый слой ваты, потом отделяет хрусткий листик папиросной бумаги, прикрывающей спиртовой компресс, и, чуть сжав Андрейкины щеки в ладонях, поворачивает его правое ухо к свету. И сейчас же губы доктора издают тонкий протяжный свист: в углублении за ушной раковиной Андрейки набухла сизая опухоль — целая шишка величиной с детский кулак.

— Н-да... Вот оно что... Э-эх! Родители, называется... А по виду вполне интеллигентные люди... Сажать надо таких родителей, вот что я вам скажу. Понимаете? Сажать! Как же вы, уважаемые, допустили до такого, а?

— Доктор, доктор... Не надо... Не надо, прошу вас... — закрыв лицо ладонями, отшатывается от него мать. — Это все выросло только сегодня... Только сегодня, вечером... А до этого было воспаление среднего уха. Обыкновенное воспаление среднего уха. Так нам сказала врач из поликлиники... Тепло, борный спирт, компресс... Покой...

— Из поликлиники... Покой... Мало ли что из поликлиники... — ворчит доктор, заматывая обратно бинтами Андрейкино ухо. — Самим надо иметь голову на плечах...

Не сегодня, а как минимум еще вчера утром надо было меня вызвать. Сразу же, как появились первые признаки отека... У вас ведь телефон висит в коридоре... Э-эх, люди, люди... То малейший прыщ — сразу бегом в больницу, а когда действительно что...

— Не надо, доктор... Умоляю вас, не надо... — в отчаянии, мотая головой и захлебываясь слезами, повторяет мать. — Мы не знали... Мы ничего не знали... Муж инженер, я учительница... Мы же ничего не понимаем в этом, доктор... Ничего, совсем ничего...

— Не понимаем... То-то и оно, что не понимаем... Ладно, хватит объяснений... Так вот: оденьте-ка ребенка потеплее, гражданочка. Я его забираю... Немедленно операция. Немедленно! Сегодня же утром на стол...

— Д-д-доктор... О-о-он... Он будет жить? — глухо, запинаясь, каким-то не своим, задушенным голосом спрашивает молчавший до сих пор отец.

— Будет. Но операция предстоит нешуточная... Должен прямо вам сказать — тяжелейшая операция. Трепанация черепа... Делать будет, наверное, сам... Ахмедов Николай Иванович, может, слышали... Не просто великий — величайший хирург! И сделает, конечно, все, что возможно... Но предупреждаю: дело так далеко зашло, что могут быть и некоторые нежелательные последствия... жить мальчишка, конечно, будет, не сомневаюсь... Но молитесь Богу, чтобы удалось не задеть некоторые двигательные центры...

— Он будет инвалид?! — всплескивает руками мать.

— Перестаньте кудахтать, гражданочка! — мгновенно свирепеет доктор. — У вас есть какой-нибудь другой выход? Есть?.. Ах, нет? Тогда пошевеливайтесь! У меня еще два вызова на руках... Завтра, где-нибудь после полудня, будете знать результат. Может быть, все обойдется и без последствий... Большого я вам ничего, к сожалению, сказать не могу...

Андрейка плохо понимает, что происходит с ним, и плохо понимает, куда его везут. Но синие заснеженные улицы за окном машины, тусклые фонари, огромные темные дома вокруг пустых площадей, красные и зе-

ленные огни светофоров наполняют его маленькую, не успевшую еще ни к чему привыкнуть душу трепетным волнением. Первый раз в своей жизни он видит ночной город. Да и в автомобиле тоже, кажется, он едет в первый раз. И ему совсем не хочется спать, ему нравится мчаться так сквозь пустой спящий город, и он хотел бы, чтобы машина всегда ехала так и ехала и чтобы этот ворчливый, но на самом деле, как оказалось, вовсе не страшный старик, одним своим присутствием отогнавший от него боль, так и не уходил из его жизни...

— Ничего, малыш. Ничего... Мы и не такое видали... Потерпи немножко. Завтра все пройдет... Веришь? Я тебе даю честное благородное слово, что завтра все пройдет. А я, Андрейка, маленьких никогда не обманываю. Это ты у кого хочешь спроси... Знаешь надпись на кольце царя Соломона? Нет? «И это пройдет...» Пройдет, Андрейка. И это тоже пройдет... Твой «скорбный лист» еще только начинается. И еще много чего будет впереди...

Что было потом, Андрейка плохо помнит. Помнит, что какие-то мягкие, ласковые руки купали его в ванной, а потом долго растирали его огромным махровым полотенцем и осторожно, чтобы не потревожить все еще дремавшую в нем боль, просовывали его голову в прорезь белой больничной рубахи, слишком большой для него и доходившей ему почти до пят.

Потом его уложили в чистую, сначала неприятно холодную постель, и те же руки накрыли его сверху еще одним одеялом и потом тщательно и долго подсовывали края этого одеяла ему под ноги и с боков. Потом был провал: видимо, ему дали что-то сильнодействующее, и он заснул.

Потом он помнит себя распростертым на спине на каком-то длинном, медленно движущемся столе: над ним белый потолок, на потолке плоские стеклянные плафоны, излучающие матовый свет, и его куда-то везут по пустому, бесконечно длинному коридору, мимо светло-зеленых стен, увешанных портретами строгих бородатых людей. Наконец, каталка останавливается: чьи-то руки подхватывают его под лопатки и под согнутыми коленками и переносят на другой стол. Сверху и сбоку на него надвигаются

большие блестящие механизмы с раскинутыми в разные стороны, переломанными в локтях руками, над ним нависает огромное и тоже блестящее зеркало, глаза его видят рядом со столом каких-то людей в белых халатах и марлевых масках, наполовину скрывающих их лица, потом поверхность еще одного стола с набором разложенных по лоткам, ослепительно сияющих инструментов, потом какие-то длинные стеклянные сосуды, из которых торчит множество гибких оранжево-красных трубок различной толщины... Совсем близко от его головы вдруг вспыхивает теплый электрический свет, и чье-то лицо в низко надвинутой на лоб белой шапочке, с лохматыми бровями и густой щеткой седеющих усов под носом склоняется над ним. Потом эти усы тоже скрываются под марлевой маской, и негромкий глуховатый голос, доносящийся до него будто издалека, спрашивает его:

— Ну, герой, больше не плачешь? Молодец!.. Михал Иваныч, брат Андрейка... Михал Иваныч уж больно тебя хвалил. А он зря не скажет... Не бойся, Андрейка. Ничего не бойся. Сейчас ты заснешь, а когда проснешься — все уже будет позади...

Ответить Андрейка уже не успевает. Откуда-то сбоку, из-за головы нечто смутное и непонятное вдруг наплывает на него, и он мгновенно проваливается во тьму. Операция начинается. Андрейка спит, спит тяжело, непробудно, без всяких снов.

Просыпается он поздно, видимо, уже к концу дня. Кровать его стоит у самого окна. В окно он видит огромное красное солнце, сползающее за дома, прямые недвижные струйки дымов над крышами и уткнувшуюся в самое стекло, запорошенную снегом ветку какого-то дерева, а на ветке — воробья. Палата большая, светлая, просторная, по стенам ее и посередине стоят еще койки — некоторые из них пусты, а на некоторых лежат или сидят дети. Но сколько их — Андрейка не может сосчитать: для этого ему надо повернуть голову и перевалиться со спины на бок, а такое ему сейчас не под силу.

Рядом с Андрейкиной кроватью, у ее изголовья, стоят два мальчика в полосатых пижамках, оба чуть постарше

его, и с ними худенькая востроносая девочка его примерно лет, опирающаяся на костыли. Голова и уши Андрейки плотно забинтованы, и он еле разбирает их голоса.

— Тебя как зовут? — спрашивает девочка.

— Андрейка...

— Тебе больно?

— Нет...

— Значит, ты не умрешь?

— Я не знаю...

— Кыш отседа, неугомонные! — раздается веселый женский голос. — Чего пристали к человеку? Он после операции, к нему нельзя приставать...

Уверенные ловкие руки подсовывают ему под голову еще одну подушку и чуть подтягивают его повыше к спинке кровати. Кровать скрипит и покачивается под ним. Потом возле его губ возникает стакан с каким-то розоватым питьем.

— Попей, маленький... Попей, мой золотой... — бормочет нянечка. — Тебе хорошо сейчас попить...

И опять провал, опять глухая, непроницаемая тьма... Когда он приходит в себя, в палате уже ночь. Ярко светит луна, снег на ветке, прислонившейся к стеклу, поблескивает синими колючими иголками, и в темной громаде домов напротив горит всего одно-единственное желтое окно... Андрейка рывком садится в кровати: «Где я? Что со мной?» Палата молчит. По углам ее и около двери, куда не достает лунный свет из окна, стоит дымящаяся, настороженная темнота, вдоль стен же и посреди комнаты белеют светлые пятна подушек и простыней на кроватях его соседей.

Андрейке страшно, ночь и молчание вокруг пугают его. Тельце его дрожит, руки, как в лихорадке, ощупывают забинтованную голову, плечи, грудь, колени: «Где я? Что со мной? И почему я здесь?» Потом мутно, медленно, как в тумане, в памяти всплывают белый операционный стол, лица, склонившиеся над ним, халаты, блеск инструментов... ухо не болит, но его поташнивает, и затылок и правая сторона его головы налиты тяжестью, как свинцом.

Внезапно пальцы его попадают во что-то липкое, текучее, размазывающееся под скулой и под подбородком.

Отдернув руку и вскинув растопыренные пальцы к окну, Андрейка видит, что они покрыты чем-то черным и это черное медленно ползет вниз по его руке. «Кровь...» — догадывается Андрейка. Он уже знает, что такое кровь, и знает, что кровь из него течь не должна, что ее нужно как-нибудь или чем-нибудь остановить. Но как? И чем? Закричать, заплакать? Позвать кого-нибудь? Разбудить всех этих мальчиков и девочек, спящих вокруг него? Или сползти с кровати и побежать куда-нибудь, где светло, где люди, где его подхватят на руки, спасут, успокоят, защитят? Но сейчас ночь, а он давно уже знает и то, что ночью все спят, даже взрослые, и что ночью нельзя шуметь...

Глаза его наполняются слезами, тонкий жалобный крик срывается с его губ, но сейчас же зубы его впиваются в угол подушки, и крик это затихает, не успев никого разбудить. Пальцы Андрейки хватаются за край полотенца, свисающего со спинки кровати, подтягивают его к уху и прижимают к тому месту, где из-под бинтов сочится кровь. Проходит несколько мгновений, полотенце набухает, делается мокрым, хоть выжимай, тогда он прижимает к этому месту угол простыни, вытащив его из-под матраца, но и этот кусок полотна вскоре набухает, превращается в мокрый липкий комок, выскальзывающий из его судорожно стиснутых пальцев, и тогда он выдергивает другой угол простыни и запихивает его, кусками, под бинт, стараясь достать до самого конца, до той дыры, откуда из его головы хлещет кровь. Потом наступает очередь всей простыни, которую он молча, сопя и глотая слезы, рывок за рывком вытягивает из-под себя и накручивает на голову, за простыней идет пододеяльник, за ним его пижамка, висящая на спинке стула рядом с кроватью, потом идет опять полотенце, успевшее уже немного подсохнуть, опять простыня, пододеяльник, пижамка, наконец, белая его больничная рубашонка, которую он каким-то образом умудряется разорвать на куски... А кровь течет и течет, и палата молчит, и луна, ушедшая за край окна, уже не освещает ее, и никто в темноте из спящих вокруг него не издает даже звука и ничего не знает о нем...

Так продолжается до самого утра. Утром его кровать представляет, надо думать, впечатляющее зрелище. Из-

под окровавленной, скомканной, скрученной и перекрученной груди больничного белья торчит, перевесившись через край пружинной сетки, маленькая стриженная головенка: глаза Андрейки закрыты, плечи съезжились, кулачки прижаты к груди, лицо густо вымазано запекшейся кровью, бинтов на голове нет... Поднимается крик, беготня, суета, его опять куда-то везут, что-то делают с ним, что-то говорят ему, и опять он, в который уже раз, но теперь уже не со страхом, а с облегчением, проваливается во тьму.

Очнувшись, первое, что он видит, — это Михаил Иванович, сидящий на табуретке у его изголовья. Старик задумчиво смотрит на него и перебирает в своих пальцах его ручонку, видимо, нащупывая пульс.

Заметив, что Андрейка открыл глаза, Михаил Иванович наклоняется к нему:

— Порядок, Андрейка, а?

— Порядок...

— Ну вот то-то, брат. Так-то лучше... Ох и напугал же ты нас всех, я тебе скажу ... Чертов сын, ведь и не пикнул даже за всю ночь! Хорошо, нянечка рано поднялась, вовремя захватили... Повезло тебе — и кровь нужная была... А на Николая Ивановича ты, Андрейка, не сердись. Он не виноват. Он тебе такую операцию, Андрейка, сделал — высший класс! Высочайший класс! Хоть в кино показывай... Я, признаюсь тебе, такого уже сделать бы не смог... Да-да, Андрейка, не смог бы... А было, брат, время. Было... Э, да чего там теперь вспоминать! «Это было, было и прошло...». А зашивал, Андрейка, не он. Зашивал ассистент. Надеюсь, теперь уже бывший ассистент... Сажать надо таких ассистентов, вот что я тебе скажу, Андрейка. Понимаешь? Сажать! И о чем, интересно знать, они себе там думают, в Кремле?..

Старик, проворчав что-то еще, замолкает, и худая, длинная голова его свешивается на грудь. Острый приступ жалости к нему пронзает Андрейкино сердце.

— Простите меня... Они все спали. Я боялся... Я боялся их разбудить... — шепчет он своими помертвелыми, почти без кровинки губами.

— О Господи! Голова садовая... Андрейка, Андрейка... Разбудить боялся, помешать боялся... Как же ты... Как же ты, брат, дальше-то будешь жить, а? — тоже тихо, вплотную наклонившись к нему, говорит доктор. Толстые стекла его круглых, без оправы очков мутнеют, и по морщинистой, тщательно выскобленной щеке его сползает слеза. Скрюченными от старости и побуревшими от табака пальцами старик отворачивает полу белого халата и, вытащив из кармана брюк скомканный платок, оглушительно громко, раз и другой подряд, отфыркивается в него.

II

Андрей Николаевич Старовойтов, сорокавосемилетний врач-психиатр, вот уже третий месяц лежит в отдельной, выхлопотанной для него женой и друзьями палате известной в Москве ведомственной больницы. Врачи по долгу службы, естественно, обманывают его, но сам-то он знает, что это конец. Он не настолько забыл еще все то, чему его учили в институте: диагноз — тяжелейший нефроз, и, по всем учебникам и по всему его долгому жизненному опыту, назад дороги ему нет. Правда, есть временный выход: пересадка чужой почки. Но, во-первых, где ее достать, а во-вторых... А во-вторых — зачем?

Смерть не пугает его. И даже когда он усилием своего слабеющего, одурманенного изнурительной болезнью и всякого рода обезболивающими лекарствами воображения представляет себе самое худшее — себя одеревенелого, лежащего, как восковая кукла, в гробу, свой стянутый костяной лоб, обострившийся нос, свои руки, сложенные крест-накрест на груди, или же, если думать еще дальше, то бегущие по нему сизые языки пламени в чреве крематория, превращающие его в горсточку серого, сыпучего пепла, — ему не страшно.

Конечно, было время, когда и он боялся смерти. В молодости это была далекая непонятная угроза, поражавшая своей бессмысленностью и несправедливостью, в зрелые же годы, особенно лет в тридцать-тридцать пять, когда он вошел, что называется, в силу, к этому недоумению и веч-

ному вопросу, что там, за тем порогом, примешалось еще и острое чувство жалости к самому себе — именно к себе, Андрею Николаевичу Старовойтову, из плоти и крови, единственному и неповторимому, деятельному и полезному, которому так не хотелось умирать и которому, однако, так же, как и всем, предстояло умереть. Так продолжалось долго, очень долго, но потом наступил момент, когда он не столько даже понял, сколько ощутил всем своим существом, что смерть перестала волновать его. Разумеется, осталось любопытство, остался некий понятный, своего рода даже научный интерес... Но страх, боль, жалость к самому себе? Нет, это действительно прошло...

Сейчас ночь. За окном ранняя осень. Теплый ветерок из раскрытой форточки шевелит белые больничные занавески, по стеклу ходят тени от растопыренных во все стороны веток старого клена, дотянувшегося своей верхушкой до того этажа, где находится его палата, и если приглядеться, то в верхнем дальнем углу окна, в свете уличного фонаря, видна тоненькая сеточка паутины, образовавшаяся здесь недавно и пока еще не попавшаяся на глаза никому из санитарок. Андрей Николаевич не спит, но сейчас никаких болей он не чувствует, и ему не хочется звонить сестре и просить усыпляющих лекарств...

Как, почему исчез из его души этот страх смерти? Трудно объяснить... Может быть, и потому, что он устал, дьявольски устал... Двадцать пять лет, с утра до вечера, на полторы, а то и на две ставки, с вызова на вызов, с дежурства на дежурство, среди уродов, шизофреников, психопатов, разбитых параличом, выживших из ума стариков, среди трясущихся алкоголиков и скрюченных, извивающихся в невыносимой жажде укола наркоманов, среди слез, воя, воплей, вскрытых вен, откушенных языков, бьющихся об пол, дугою выгнутых в падучей тел, среди окаменевших в своем горе матерей и все еще надеющихся на что-то, все еще протягивающих к нему руки жен... Бог ты мой, в какой же воистину клоаке, в какой же бездонной выгребной яме жизни прошла его жизнь! Вся его сознательная жизнь... Да, именно в ней, в выгребной яме человечества, и незачем стесняться этих слов: они до-

статочно точно обозначают то, что было его жизнью и его работой все эти долгие двадцать пять лет... Как он сам не сломался, как он сам не сошел в конце концов с ума? Не сломался вот. Не сошел. А мог бы... Не такой уж это редкий случай в их профессии... Вплоть до самоубийства... Между прочим, может быть, потому и не сломался, что с самого начала, даже когда еще был только-только начинающим молоденьким ординатором, он умом ли, инстинктом ли, но всегда резко отделял жизнь, шумевшую за большим, забранным решеткой больничным окном, от того, что всегда было, есть и будет выгребной ямой жизни... Иными словами, тем местом, куда люди хоронят и прячут свой брак, свои отбросы, отделенные или отделившиеся от жизни по чьей-то там вине, а чаще всего и вовсе без чьей-либо вины... Без вины? Да, без вины... Не проклинать же, не винить же в самом деле в человеческих страданиях природу — что ей до людей? Или кирпич, упавший кому-то на голову? Или какую-то там модную теперь цепочку генов, в которой где-то когда-то и неизвестно по какой причине произошел сбой?

Нет, он не жалеет ни о чем... Он знал, что делал, когда выбирал именно эту профессию. И никогда потом, что бы ни случалось с ним, ему не приходило в голову сбежать, бросить все, найти себе что-то потише, поспокойнее, что-то такое, где бы уродство, грубость и вся несообразность жизни не так лезли в глаза... И он был хороший лекарь, он знает это... он был хороший, честный земский врач, никогда не гнавшийся ни за какими степенями и должностями, а попросту, без затей, как диктовали ему его совесть, опыт и здравый смысл, лечивший своих больных... Или, вернее, не лечивший их, а тормозивший в меру своих сил и возможностей их болезнь... Во всяком случае, если говорить о подавляющем большинстве из них... Да, он был неплохой лекарь. Был? Был, Андрей Николаевич. Был... Теперь уже был.

Тихо... Господи, как же тихо сейчас здесь... ни звука, ни шороха, будто во всем корпусе нет ни души и все вымерло вокруг... Лежишь как в гробу... А как хорошо было бы сейчас спуститься крадучись по лестнице вниз, вы-

браться во двор, сесть на скамеечку под этим старым кленом, глотнуть полной грудью холодного ночного воздуха, посмотреть на мир, на спящие дома вокруг, на звезды над головой... Всего два месяца, нет, даже месяц назад это было еще доступно ему... Было. Конечно, было. Но... Как тогда напевал светлой памяти Михаил Иванович, земля ему пухом? Сорок с лишним лет назад? «Это было, было и прошло...» Нет, брат, все — отсиделся ты на лавочках... Скажи спасибо, что голова хоть пока ясная, умирать не скучно, хоть поговоришь сам с собой напоследок о том о сем. На досуге-то и без помех... Нет, не будет больше лавочек... Лежи, Андрей Николаевич. Лежи... Лежи и жди...

Но лежать и ждать сейчас, именно сейчас? Когда вокруг него ночь, и никого нет, и можно хоть одним глазом взглянуть, что там делается за окном, в притихшей и успокоенной Москве? Нет, лежать ему сейчас невмоготу. Не обязан он лежать! Кто его знает, как там будет завтра? Процесс интоксикации организма развивается, его теперь ничем уже не остановить... Ног у него, считай, уже почти что нет... По науке он уже вот-вот должен начать впадать в беспамятство не на часы, а на дни, и, может быть, это последняя его ночь, когда он еще может сказать о себе, что он в своем уме... Так. Сначала надо попробовать всего-навсего оторвать голову от подушки... Отрывается? Отрывается. Хорошо... Теперь надо отцепить капельницу от руки. Это уже задача посложнее... Но позвольте, я ведь все же как-никак профессионал! И мы это в свое время проходили. Проходили! Как и многое другое... Я ведь когда-то и поставить ее мог сам, без сестры, а уж отцепить-то... Ну вот... Ну вот и порядок — отцепил... Господи, и руки-то теперь тоже уже почти что не свои... Недолго ж вам осталось, Андрей Николаевич. Совсем недолго... И все-таки, Андрей Николаевич, хоть и недолго, но придется вам все же подождать... Пока-то эта дама с косой доберется до вас... Успеешь еще, дорогой мой, належаться... А как бы... А как бы было хорошо: бах, трах, удар — и ваших нет, с копыт — так с копыт. Без этого занудства и всех этих соплей... Минута — и до

свиданья, не поминайте лихом, может, и доведется еще когда-нибудь свидеться, если, конечно, попы не врут... Да... Везет же иногда людям... По какому принципу? И за что?.. Однако вам, Андрей Николаевич, этого не дано. Ничего не поделаешь — не дано. И не надо, дорогой мой, по этому поводу скулить... Скулить? А я и не скулю. Я не скулю — я размышляю. Это-то, надеюсь, мне еще можно пока себе позволить?.. О черт, сколько же у этой проклятой капельницы всяких трубок и проводов... Ладно, отцепить ее я отцепил. А дальше что?.. Дальше? Дальше ничего... Дальше попробуем сесть...

Медленно, хватаясь за подоконник и напрягая исхудавшие в болезни, почти совсем уже не слушающиеся его руки, он пытается подтянуться до задней спинки кровати и сесть так, чтобы можно было видеть больничный парк внизу и просторную, далеко видимую отсюда панораму ночной Москвы. Не сразу, но и это удастся ему...

Ночь за окном, огни, деревья, пустые улицы — все это теперь совсем близко от него. Навалившись грудью на подоконник, он видит темный, размытый снизу огнями свод неба, нависший над Москвой, под ним — фонари на улицах, белый асфальт, сильно пожелтевшие уже верхушки деревьев, серые громады домов без единого освещенного окна во всех их этажах... Потом слева, много дальше, на возвышении — шпиль университета, тускло подсвеченный спрятанными где-то в самом его основании прожекторами, и длинную цепь густо оранжевых фонарей, бегущих по проспекту Вернадского вниз, на метромост через Москву-реку, и редкие огоньки машин, мчащихся вниз и вверх по нему, и золотую колокольню Новодевичьего монастыря еще дальше, там, за стадионом и за мостом... А если повернуть голову вправо — то еще и темный массив парка на Воробьевых горах, и еще одну ниточку оранжевых фонарей, пересекающих его по дуге из конца в конец, и высоко над ней, в черном небе, — мерцающую и плохо различимую отсюда надпись из неоновых букв над каким-то новым отелом... Название которого он так и не удосужился узнать и, надо думать, так теперь уже и не узнает никогда...

Ах, как бы хотелось сейчас пройтись одному, медленным шагом, никуда не торопясь, по этому мосту, подумать, постоять, посмотреть на масляно-черные воды Москвы-реки внизу... Или же по бульварам, по Воробьевым горам, вдоль редких молчаливых особняков, прислушиваясь к звукам спящего города и пытаюсь отгадать, что там, за оградой этих особняков, какая там на самом деле жизнь и есть ли там какая-либо жизнь вообще... Таинственный мир — ночной город! Прекрасный мир! И, может быть, это единственное, чему он, сугубо городской человек, не переставал по-настоящему удивляться всю свою жизнь, начиная с той памятной ночи в далеком детстве, когда его везли в Филатовскую больницу через всю Москву... Много он поездил потом по ней по ночам, из конца в конец, с вызова на вызов, — уж чего-чего, а этого в его жизни были в досталь, что называется, хоть отбавляй... К сожалению, не походил — поездил. А надо было бы именно походить, ногами, без дела и без цели... Куда глаза глядят... Может быть, так он когда-нибудь и понял бы ту загадку, которая смутной тенью мелькнула у него в голове еще в детстве: где же была вся эта красота днем? И как же, если она все-таки была и днем, совмещалась она с той бестолковой и не доброй суетой, которая кипела на всех этих улицах и площадях, когда город не спал, а жил?

А если спуститься по этому мосту вниз, и нырнуть под другой, железнодорожный, мост, и повернуть потом на набережную, то минут через двадцать ходьбы будет и его дом... Подъезд, как всегда, наверное, открыт, и во дворе пусто, и на крылечке, как всегда, сидит, наверное, чей-нибудь кот, выпущенный на ночь погулять, и в подъезде горит тусклая лампочка, освещающая зеленые масляные стены и щербатые ступеньки лестницы, и такие же лампочки горят и на втором, и на третьем этаже... А на четвертом этаже, прямо напротив лифта, дверь, обитая черным дерматином, и белая кнопочка звонка в ее правом верхнем углу... И в эту дверь, Андрей Николаевич, тебе уже больше не войти... Нет, не войти... А хотелось бы войти...

А, играть — так играть... И если уж отпрашиваться у смерти, если уж выбирать, не вымаливая у нее ничего

лишнего, то он выбрал бы, конечно, не прогулку по мосту или по Воробьевым горам, а эту дверь... Тихо, затаив дыхание, щелкнуть ключом, осторожно приоткрыть ее, чтобы не скрипела, скинуть ботинки еще у порога и потом в носках, по длинной ковровой дорожке, на цыпочках, пробраться мимо спальни в гостиную, или на кухню, или к себе в кабинет... Нет, сначала на кухню, а потом в гостиную и из нее уже — в кабинет... Зажечь весь свет, все люстры, все настольные лампы подряд — зажечь и смотреть. О, это был бы праздник! Это был бы действительно праздник! Постоять посреди комнаты, посмотреть вокруг — на стены, на книжные полки, на фотографию отца в углу... Пройти вдоль дивана, вдоль шкафов... Поправить плед, брошенный на кресло, заглянуть в какие-то щелочки, куда не заглядывал годами, тронуть пальцем пыль на матовой поверхности радиоприемника... Подержать, повертеть в руках чашку, или пепельницу, или чугунную фигурку Дон Кихота, которая тридцать лет уже, наверное, не меньше, стоит у него на письменном столе... И не просто повертеть — сжать ее до боли в руках, чтобы запомнилось, чтобы холод ее в пальцах остался с ним на все время, пока он еще жив... И чтобы унести ее потом в себе туда, откуда возврата, как известно, нет... Господи, как же нескладно все-таки устроен человек! Все наспех, на бегу, все куда-то вперед, дальше, выпучив глаза, не ценя и не замечая ничего... А всего-то... А всего-то надо ему, как выясняется, сесть и посидеть в кресле, одному, и посмотреть еще раз вокруг себя на все то свое, привычное, что прожило вместе с ним и рядом с ним всю жизнь... Но не торопясь, не мельком посмотреть, а впитывая, втягивая в себя вещь за вещью, как один маленький глоток воды за другим... И долго-долго ощущая потом всем своим существом каждую эту вещь, и не прощаясь с ней, нет, не прощаясь, не оставляя ее здесь навсегда, а унося ее с собой...

А потом... А потом можно было бы опять тихо, на цыпочках, пробраться по коридору к двери в спальню и, придерживая одну створку рукой, приоткрыть ее так, чтобы не входить, а только видеть из коридора пятно

стены и изголовье большой двуспальной кровати около нее. Елена всегда, еще с детства, не любила темноты, и неизменный крохотный ночничок на тумбочке возле изголовья конечно же горит, как он горел каждую ночь всю их совместную жизнь, начиная с того первого дня, десять лет назад, когда она впервые вошла к нему в дом... И как и тогда, голова ее, наверное, высоко поднята на подушках и откинута немного назад, и рот полуоткрыт, и ресницы ее чуть вздрагивают во сне, а руки ее послушно, как у детей, вытянуты поверх одеяла, и кажется, что она не спит, а только прикрыла глаза ненадолго и вот-вот откроет их и улыбнется ему, поймав на себе его взгляд...

Сколько же часов, а бывало, что и целых ночей просидел он так рядом с ней, у ее изголовья, наблюдая за тем, как она спит... Бессонница уже давно, — пожалуй, тогда еще, когда они только-только поженились, — стала привычным его состоянием, и полноценный ночной сон без пробуждений был для него редкостью. Ничего не поде-лаешь — издержки профессии. А к таблеткам привыкать, естественно, не хотелось, и принимал он их только тогда, когда совсем уж становилось невмоготу и надо было хоть силой, но заставить себя заснуть... Обыкновенно он засыпал сразу, едва только прикасался к подушке, но потом, часа через три, просыпался и нередко не мог уже заснуть до самого утра. И все эти ночи — ночь за ночью, год за годом — обычным занятием его было встать, натянуть на себя халат, сесть в кресло рядом с ее изголовьем, и смотреть на нее, и что-то там представлять, что-то там думать себе... О чем? Да кто ж его знает, о чем. Теперь не вспомнишь... Обо всем, наверное. Обо всем и ни о чем... Но если оглянуться назад, если вновь перелистать все, что было в их совместной жизни, то придется, наверное, признать, что эти бессонные часы — это и было самое важное, самое правдивое из всего, что было между ними за все эти долгие десять лет. И это тоже вывод — один из немногих значительных выводов, которые ему удалось извлечь из своей жизни, и с этим выводом и надо уходить...

А может быть... А может быть, без этого, Андрей Николаевич, а? Может быть, лучше и не открывать эту

дверь в спальню? Помедлить, постоять около нее, не двигаясь, и так и уйти?.. Мало ли чего?.. А вдруг? А вдруг откроешь — а она там не одна? Есть у тебя гарантии, что так не может быть? Нет, нет у тебя таких гарантий. И не надо обманывать себя: так может быть. Так вполне может быть... А впрочем... Ну так и что, если она не одна? Что это меняет, если она не одна?.. Мы же договорились: тихо, в одних носках, не будя никого. Закроем, и пойдём. И не будем никому мешать, и никто не узнает ни о чем... Ну и что же, если она не одна... Теперь это уже неважно, теперь это более чем второстепенно. А если быть совсем уж честным, то даже и не любопытно... И конечно же это не причина, чтобы отказать себе в последнем взгляде на ее лицо. На ее спящее лицо... На то лицо, на которое он из ночи в ночь, не отрываясь, смотрел на протяжении всех этих лет...

Ах, какой же все-таки невероятно запутанной, дерганной, нескладной была их совместная жизнь! Сколько в ней было всякого вздора, непонимания, взаимных подозрений, тягостных ссор. И сколько в ней было взаимных прощений, примирений, обещаний начать все заново, все забыть и думать только друг о друге и ни о чем другом... Все в клубке, все вместе, все запутано в такой узел, что дергай не дергай за его ниточки и концы, никогда не узнаешь, где было начало и где конец, кто виновник страданий, а кто страдающая сторона, что было плохо для них обоих, а что было хорошо... И попробуй теперь взвесь, чего в этой их жизни было больше: радости или горя, любви или нелюбви... Было и то, было и это... И не только ему — ей, наверное, тоже невозможно сейчас сказать, чем же был для нее их брак: может быть, ошибкой, а может быть, и тем единственным в ее жизни, о чем потом, когда его уже не будет, она будет чем дальше, тем больше сожалеть и чего ей потом никем и ничем уже больше не заменить...

Так в чем же все-таки была причина всей этой нескладности? Почему и сейчас, и всегда у него не было никаких гарантий? И почему их совместная жизнь всегда висела, что называется, на волоске?.. Должна же была

быть какая-то причина... И сейчас, Андрей Николаевич, именно сейчас было бы, наверное, самое время тебе ее наконец назвать... Не для нее, и уж тем более не для посторонних, а для самого себя... Но легко сказать — назвать... Назвать нетрудно. Сейчас ему уже не страшны любые признания, теперь его уже больше некому судить... Дело не в этом... Дело не в этом, а в том, что, к сожалению, как и тогда, так и сейчас он и сам не знает, в чем же была эта причина... Положа руку на сердце — не знает. И вряд ли знает и она...

Почти четырнадцать лет разницы в возрасте? Милая, воздушная, легкомысленная девочка с растопыренными во все стороны глазенками? И матерый тридцативосьмилетний мужик, тяжеловатый на подъем и в общем-то отнюдь не веселый по всей своей манере жить? Разведенный, страдающий бессонницей, да к тому же еще вечно занятый где-то там, откуда он не возвращается, а приползает домой, даже не выжатый, а выдавленный как лимон? Это?.. Нет, не только это...

Что еще? Его нежелание иметь ребенка? Вернее, не столько нежелание, сколько какая-то безотчетная боязнь, что это все не для них, что ничего хорошего из этого все равно не выйдет — ни для нее, ни для него... Это? Нет, вряд ли... Да вначале и она ведь тоже не очень-то хотела ребенка. Можно сказать, даже и совсем не хотела его. Это уж потом, когда она начала сознавать, что и ее молодость не вечна, что и ей тоже нужно как-то поосновательнее, понадежнее устраивать свою жизнь... Нет, грустно, конечно, но и в этом он тоже оказался прав, хотя, может быть, и вынужденно прав... Хороша бы она была сейчас — одна, без поддержки, с маленьким ребенком на руках... А так... А так она красивая женщина, и она еще молода, ей только-только за тридцать, и если захочет, она успеет еще родить...

Так если не в этом дело, тогда в чем же? Неужели во всех этих мелочах, всплесках настроения, в неумении вовремя понять душевное состояние близкого тебе человека, ответить на ее мельчайшие, порой даже не до конца ясные ей самой желания и надежды? Поддержать, уте-

шить, ободрить ее, притянуть ее к себе, когда ей нужно именно это и ничто другое, а ты, чурбан, все никак не можешь очнуться, все никак не можешь выбраться из каких-то там глубин, в которые тебя засосала жизнь? Что ж, может быть, и это... Возможно, что и это... Возможно, но все-таки вряд ли... Слишком уж это все мелко, чтобы именно из-за таких пустяков не только гарантии, но даже и сама надежда на них ушла из его жизни.

Но причина все-таки была... Была причина... И скорее всего, это та же самая причина, которая развалила когда-то и его первую семью...

Помнится, однажды, в разгар очередной их размолвки, она, Елена, в сердцах бросила ему:

— Андрей, ты чудовище! Чудовище! Меня для тебя нет... Понимаешь? Нет! И вообще для тебя никого нет, кто рядом с тобой... Для тебя есть только те, кто далеко, и ради них ты в любой момент готов бросить все и помчаться хоть на край света, только позови...

— Брось, Лена... Не преувеличивай. Не люблю.

— Нет, я не преувеличиваю! Я говорю правду. И ты знаешь, что это правда... Моя боль, мои заботы для тебя ничто. А их боль, их заботы — все. И всегда было все...

— Лена, я врач.

— Ну и что? Я тоже врач! Но я знаю... Случись какое-то горе, свались я, заболею всерьез... Максимум, чего я от тебя дождусь: «Ничего, старушка, ничего. Без паники. Полежи, отдохни, попей лекарство вон из того пузырька... И не волнуйся — я скоро вернусь. Меня ждут...»

Своя, близкая боль — ничто, чужая — все... Что ж, может быть, она была и права... По крайней мере, отчасти права... И все-таки нет, Елена, нет! Дело не в том, что твоя боль ничего не значила для меня, а чужая значила все. И твоя боль значила, и чужая значила. Дело не в этом, а в том, что и моя, и твоя боль всегда была для меня еще не главная, не настоящая боль. Близкая, важная, требующая внимания, но не главная боль. И сознательно или бессознательно, но я, видимо, потому и не давал пощады ни себе, ни тебе, что хотел подготовить нас обоих не к этой, а к той, другой боли... Настоящей боли... К какой? А я

и сам, по правде говоря, не очень знаю, к какой.. Наверное, все же, к той главной, смертной боли, которая ждет и меня, и тебя, и всех других... А меня-то, собственно говоря, уже и не ждет. Она уже здесь... Так что, друг мой, как выясняется — еще одно недоразумение в нашей с тобой жизни... В никак не скажешь, что легкой жизни... В жизни, в которой в конце концов исчезли все гарантии и в которой, возможно, неуместным является даже и последний визит... Что ж, Елена Сергеевна... суди нас, как говорится, Бог... Но я тебя любил. Я тебя очень любил...

Что-то похожее на слезы начинает заволакивать ему глаза... А может быть, это и не слезы, может быть, это просто его слишком долго смотревшие в одну точку глаза начинают уставать... Руки его медленно отцепляются от подоконника, тело начинает крениться, он пытается опереться об матрац, но рука не выдерживает его тяжести, подламывается, и он боком заваливается на кровать, скрючившись пополам. И сейчас же проваливается во тьму.

III

Когда он приходит в себя, палата его залита солнечным светом. Но сам он видит только какие-то смутные расплывающиеся контуры перед собой, как будто свет пробивается к нему сквозь тонко сложенный слой марли, которой некто неизвестный завесил ему глаза... Похоже, что все действительно развивается по науке: если верить учебникам, то за несколько недель до смерти он должен ослепнуть, и, видимо, это и происходит сейчас с ним... Не столько глазами, сколько инстинктом он угадывает, что кто-то сейчас сидит на табуретке рядом с его кроватью. Потом чья-то мягкая рука касается его плеча: по этому прикосновению он понимает, что рядом сидит его врач, заведующий отделением Юрий Петрович Брыкало — довольно молодой еще уролог-хирург, пользующийся, однако, уже немалой известностью и среди больных, и среди своих коллег.

— Как чувствуете себя, Андрей Николаевич?

— Спасибо, доктор... Как-то чувствую... Во всяком случае, пока еще, как видите, жив...

— Спешу вас обрадовать, Андрей Николаевич. Сегодня начинаем готовить вас к операции... Почка для пересадки наконец есть...

— Да?.. Интересно... Есть, говорите? Откуда?

— Есть, Андрей Николаевич, есть... Анализы все закончены, и никаких противопоказаний нет... Можно приступать...

— Вы не ответили, Юрий Петрович, на мой вопрос... Откуда почка?

— Андрей Николаевич, дорогой мой... Какая вам разница — откуда? Это не ваше дело, а мое... Ваше дело лежать и слушать меня. И не задавать никаких лишних вопросов.

— Доктор, я пока еще в сознании... И полностью, так сказать, правоспособен... Повторяю — откуда почка?

— А если я скажу, откуда, обещаете не капризничать и слушаться меня? Вы же врач, вы же все сами понимаете... Это единственный шанс, Андрей Николаевич. Единственный и последний. Иначе... Иначе мы бессильны, Андрей Николаевич. Никакого другого больше выхода у нас нет...

— Откуда почка, доктор?

— Откуда? Хорошо, я вам скажу, откуда... Елена Сергеевна предложила свою... И тщательное, очень тщательное обследование показало, что это как раз то, что вам нужно, Андрей Николаевич...

— Елена?.. Доктор... Доктор, вы в своем уме?!

Наступает томительное, тягостное молчание. Андрей Николаевич слышит, как доктор сопит у него над головой, стараясь, видимо, подавить в себе естественную реакцию раздражения на его грубость. Что ж, по-человечески он понимает его: таким тоном не принято разговаривать с врачами, и сам бы он в свое время такого тона с собой, уж конечно же, никогда бы не допустил...

— Обижаете, Андрей Николаевич... — нарушает наконец молчание Брыкало. — И, наверное, зря... Кроме того... Кроме того, если вам недостаточно моего мнения, то я вам скажу, что это решение принято консилиумом. И профессор наш целиком поддерживает его... Более того, если вы не доверяете мне, он сказал, что он сам встанет к столу...

— Никаких столов, Юрий Петрович! Никаких... И никаких пересадок... Забудьте об этом... Спасибо вам за все, и простите меня, если что не так... Но нет, нет и нет! И еще раз нет!.. И пожалуйста, окажите мне еще одну, может быть, последнюю услугу — не возвращайтесь больше к этому разговору. Хорошо?. Нет моего согласия на это. Доктор, вы поняли? Нет!

— Андрей Николаевич, прошу вас — подумайте... Это же все по ее собственному желанию, без какого бы то ни было давления с нашей стороны...

— Нет, Юрий Петрович! Нет!

— Андрей Николаевич... А мы? В какое вы положение ставите нас? Мы же тоже люди, Андрей Николаевич... И мы хотим, мы обязаны вам помочь...

— Нет, доктор! Нет! И профессору так и передайте — нет!

Да... Вот какие, Андрей Николаевич, оказывается, дела... Ты здесь лежишь, а там вон что, оказывается, происходит... А все-таки неплохой он парень, этот Брыкало! И руки, говорят, золотые, и не дурак, отнюдь не дурак. Во всяком случае, чувство меры у него есть... Спасибо ему: помялся, потоптался, побормотал там что-то еще, поспел себе под нос — и ушел. А мог бы такое тут развести... Мог? Мог бы, конечно. Но зачем? Он же прекрасно понимает, что пока еще я хозяин положения. И понимает, что я действительно пока еще в здравом уме и все мои права при мне... Нет, но это надо же! Придумали... Почку от Елены! Не понимаю, дорогие мои коллеги, чем вы все там думали, когда вышли на такую мысль? Чем, интересно знать?.. Ну вот, даже свет прорезался от волнения. И глаза опять стали как глаза... Ах, Андрей Николаевич, не обольщайся — надолго ли? Впрочем, надолго, ненадолго — кому это дано знать? Может, сегодня, может, завтра, а может, и через неделю... Теперь-то это уже, в сущности, все равно...

Нет, но как же все-таки они так, а? Черт знает что! Нашли идею, нашли выход... Как говорил покойный Михал Иваныч, сажать надо за такие идеи... Понимаете? Сажать!.. Кто-кто, а вы-то, уважаемый товарищ Брыкало,

учитывая ваши годы, должны бы были, кажется, это понимать. Ведь вы однокурсник Елены, да еще, как она говорила, были когда-то влюблены в нее, да к тому же еще и до сих пор старый холостяк... И уж не из-за нее ли вы до сих пор один, позволительно вас спросить? А если так — то как же вы могли? Именно вы?.. Не мне теперь надо помогать, Юрий Петрович. Не мне! А ей... Со мной все ясно... А вот с ней... Это не я теперь проблема, это она — проблема... А вы тут устраиваете все эти маневры... О Господи! Чертов прогресс, чертов двадцатый век... И умереть спокойно не дадут... А как было бы хорошо, если бы как раньше: причастили бы, соборовали, отпустили бы все грехи... Простились бы со мной и оставили бы одного в тишине — умирать... Хоть бы так, хоть бы напоследок успеть подумать о душе... Или еще бы лучше — постричься перед смертью в монахи... Так, мол, и так, Господи: отшумел, отсуетился, отряхнул весь прах со своих ног и предстаю пред Твои все милостивейшие, всеблагие очи, очищенный от всей земной скверны и суеты... А, Андрей Николаевич... Брось... Брось, не паясничай — нехорошо... Нехорошо! Прожил ты всю жизнь серьезным невеселым человеком, и уж оставайся ты им до самого своего конца... Не время сейчас шутки шутить, Андрей Николаевич... Не время... Да, признаться, и не умел ты их шутить никогда.

Когда потом, поближе уже к вечеру, Елена Сергеевна тихонько приоткрывает дверь в его палату, он спит. Впрочем, возможно, и не спит, возможно, что это не сон, а беспамятство, и скорее всего это именно оно, если судить по перекошенному судорогой, задранному куда-то вбок его лицу. Рот его открыт, желтые зубы обнажились, жилы на исхудавшей шее напряглись... Смотреть на это тяжело, и первое, что она делает, примостившись рядом с ним у его изголовья — пытается мягким, осторожным движением своих пальцев опустить его верхнюю губу и прикрыть этот оскал. Потом ее прохладная, все еще пахнущая улицей ладонь касается его лба, мокрого от пота, потом век, потом медленно сползает вниз по его колючей, туго обтянутой кожей щеке, потом пальцы ее подбираются к нему под затылок, под волосы, под шею

и пробуют повернуть его голову поудобнее, чтобы она не заваливалась вбок... Голова Андрея Николаевича медленно поворачивается вслед за ее ладонью, веки вздрагивают, и он приходит в себя.

Темная завесь ее волос нависает над ним. Глаза ее, карие, внимательные глаза, смотрят на него, прохладная рука ее гладит его шею, острые ключицы, его почти седую уже грудь, торчащую в вырезе больничной рубашки... Улыбка трогает его губы.

— Елена... Ты...

— Андрей, почему?

— Что... Что почему, хорошие мои?

— Андрей, почему ты отказался?

— А, ты об этом... Так будет лучше, Лена... И для меня, и для тебя...

— Ты не веришь мне?

— Верю, Лена. Верю. И всегда верил...

— Тогда почему ты отказался? Ты хочешь, чтобы я потом мучилась всю жизнь?

— Нет, не поэтому... Я хочу, чтобы ты жила потом всю жизнь. Именно жила... А не ковыляла по жизни...

— Ты жесток, Андрей...

— Может быть... Но так надо, хорошие мои... Ты живи... Тебе еще долго надо жить...

— Это не благословение, Андрей. Это проклятие... Какая бы я ни была, но я не заслужила этого... Мы с тобой прожили десять лет... И у меня тоже есть свои права...

— Дело не в тебе, Лена...

— Андрей, во мне! Я знаю — во мне!

— Нет, Лена, не в тебе. И не в нас с тобой... Дело во мне... Я устал... Я дьявольски устал. И я больше не хочу...

— А я?

— Ты? Что ты?

— Ты уйдешь... А как же буду я?

— Как?... А ты... А ты не бойся... Ты умная, ты хорошая...

И ты совсем не слабая... Ты скоро поймешь... Это только сейчас тебе страшно, а когда это наступит — страха уже не будет, будет только необходимость жить... Я не виноват, хорошие мои. Я действительно не виноват... Я про-

сто больше не могу... Наверное, я надорвался, переоценил себя, свои ресурсы... Что поделаешь... Но я больше не могу. И не только не могу — не хочу... Не думай, не казни себя... Вот в чем все дело... я больше не хочу... И ты... И ты здесь ни при чем...

* * *

Похороны Андрея Николаевича прошли тихо, достойно, без парада, но и без каких-либо упущений, которые потом можно было бы расценить как неуважение к нему и к памяти о нем. Толпа его коллег и родственников собралась утром у Донского монастыря, погода была пасмурная, осенняя, моросил дождь, асфальт у крематория был устлан облетевшими листьями, и какой-то сотрудник в синем халате отмахисто раскидывал их по обе стороны от себя метлой, не обращая внимания на дождь и на людей. Было много венков и еще больше живых цветов, и процедура прощания была достаточно долгой, во всяком случае более долгой, чем у тех похорон, которые были перед ними, и музыка играла что-то светлое, печальное, без всяких этих современных вывертов, и главный врач больницы, где работал Андрей Николаевич, сказал речь не по бумажке, а от себя, сам, напирая в основном на то, что покойный был не просто хороший специалист, но и хороший человек...

Потом все присутствующие на похоронах погрузились в два автобуса и поехали на Фрунзенскую набережную, к нему на квартиру, где загодя уже был накрыт стол. И здесь тоже все было тихо, спокойно, с приличествующей такому случаю грустью, но без каких-либо происшествий или взрывов страстей: жена не валялась в обмороке, никто не напился, голоса звучали приглушенно, по крайней мере много тише, чем стук вилок и ножей, тостов было относительно немного, и все они были о нем, о покойном, а не о том, что можно было бы назвать злобой сегодняшнего или завтрашнего дня... Что ж, ушел хороший человек, и это грустно, и жаль, он ушел, и, наверное, кое-кому из нас его будет не хватать, а может быть, и всем его

будет не хватать... Но что поделаешь — жизнь... Вечная ему память, Андрею Николаевичу Старовойтову. И давайте о нем не забывать...

Следует, однако, сказать, что и в крематории, и на квартире Андрея Николаевича многие обратили внимание на одного весьма дельного и энергичного молодого человека, который, судя по всему, взял на себя все многообразные распорядительские функции по организации похорон, начиная с выноса гроба и венков из автобуса и кончая поминальным столом. На глаз ему было лет тридцать пять, не больше, он был строен, высок, прекрасно одет, с четким голосом, с уверенными манерами и спокойным, несколько даже начальственным выражением лица — лица, в котором сквозила дающаяся, конечно, только опытом убежденность, что нет такого препятствия в жизни, которое при должном умении нельзя было бы обойти или устранить. И персонал крематория, и шофера похоронных автобусов, и два официанта, приглашенные из ближайшего ресторана, чтобы помочь обслуживать гостей, обращались только к нему, и, надо отдать ему справедливость, ни одно из его распоряжений не было неверным или неуместным. Несомненно, он был своим человеком в доме, однако кто он такой — толком этого не знал никто.

Но странное дело: ни там, у крематория, ни за столом Елена Сергеевна, по-видимому, не замечала его. Не замечала или не хотела замечать? А если так, то почему? И в чем он был виноват перед нею?.. Почему, почему... Кто ж его знает, в чем и почему люди виноваты друг перед другом. Все мы перед кем-то виноваты, а почему и за что — попробуй разберись... Конечно, по данному поводу среди гостей были высказаны самые разные предположения. Но предположения остались предположениями, и гости разошлись, так и не поняв в этом ничего до самого конца.

1978—1984

Протокол

Совещание уже заканчивалось, оставалось сказать только пару мало что значащих, но обязательных в таких случаях напутственных слов, и некоторые из присутствовавших, повеселев, уже полезли в карман за сигаретами, — в кабинете у него теперь обычно не курили, оберегая хозяина, полгода назад после жестокого приступа стенокардии бросившего курить, — когда Кондратько, секретарь парткома главка, сидевший по традиции первым за приставным столом, по правую руку от него, наклонился к нему и вполголоса спросил:

— Николай Николаевич, у тебя потом найдется для меня еще несколько минут? Конфиденциально?

— Конечно. Только, извини, недолго. В одиннадцать меня ждут.

— Разговор недлинный. Но нужный.

— Хорошо. Останься. Сейчас я их отпущу.

«Н-да... Конфиденциально... — подумал Самойлов. — Знаем мы эти твои «конфиденциально»... Опять, наверное, какая-нибудь чепуха. Мог бы и сам небось решить, ничего бы с тобой не случилось. Тоже, помощничек называется! Усвоил манеру: чуть что — сразу прятаться за мою спину, шагу не сделает под свою ответственность... Нет, Василий Михалыч, с кем с кем, а с тобой мне все-таки не повезло. Прямо скажем, не повезло...»

Самойлов вздохнул: день обещал быть нелегким. Прежде всего встреча с поставщиками, на этот раз на их, так сказать, территории: опять, конечно, будут нудеть, сваливать все на обстоятельства — того нет, этого нет, там помешали, здесь недодали. Ну ничего, мы им тоже кое-что приготовили, теперь уж не мы у них — они у нас в руках... В два часа — техсовет министерства, можно, конечно, послать главного инженера, но лучше бы все-таки

поехать самому, давно не появлялся, нехорошо. И так уже кое-кто там косится на него, слишком многое, мол, себе позволяет, хочет приедет, хочет нет, мы-то ведь здесь тоже не пустяками заняты. Потом надо вернуться обратно сюда, в главк, обязательно вернуться. Дел полно: предстоит еще разговор с отделом капитального строительства, и еще кадровые вопросы, будь они неладны, и еще десяток, не меньше, всяких разных звонков, один из них, кстати говоря, весьма неприятный — в Госнаб. Фонды опять режут, надо остановить, придется просить, может быть, и хуже того — унижаться, а он этого не любил. Да еще вон, как всегда, целая кипа бумаг на подпись, надо их хотя бы одним глазом просмотреть, неровен час, подмахнешь черт знает что, иди потом доказывай. Да, что и говорить — денек.

А как хорошо начиналось утро! Выспался, сделал зарядку, постоял под душем, сказал что-то приветливое жене, погулял по бульвару рядом с домом, — недолго, нет, всего двадцать минут, но теперь, после болезни, эти двадцать минут были очень важны для него, — подвез дочь к институту, поболтали в машине, посмеялись над очередным ее воздыхателем. Выросла девочка, а вот когда, как — разве теперь поймешь? Вечером обещали прийти гости — старый друг, еще со студенческих времен, с женой. Можно будет даже позволить себе немного коньяку. Лиза, конечно, покосится, но промолчит, не затевать же на людях неприятный и, помимо всего прочего, явно бесполезный разговор. Завтра суббота, поедут на дачу, май, теплынь, солнце, повожусь немного в саду: штaketник кое-где начал валиться, надо бы подправить, дело несложное, незачем связываться с мастеровщиной, всю душу ведь изведут, подлецы. Потом в лес пойду, погуляю: там теперь хорошо — все кружево, все зеленое, не топтанное еще никем...

Самойлов решительно поднялся из-за стола и, ощущая во всем теле легкую бодрость человека, привыкшего, а главное, умеющего владеть людьми, негромко, но твердо хлопнул ладонью по зеленому его сукну, давая тем самым понять, что все, шабаш, разговоры кончены — все

свободны и он больше не задерживает никого. Загремели отодвигаемые стулья, загудели и стихли — уже где-то там, в приемной, за тяжелыми дверьми, — голоса уходящих, и через минуту кабинет опустел. Они остались вдвоем.

Николай Николаевич Самойлов — сорокасемилетний, плотный, но все еще стройный мужчина, только-только, по вискам, начинавший седесть, — возглавлял крупный машиностроительный главк с годовой программой на многие сотни миллионов рублей. На предприятиях этого главка работали десятки тысяч людей, отрасль считалась очень перспективной, и ее руководитель был, по мнению всех, кто что-нибудь понимал в таких делах, самым верным кандидатом на первую же освобождающуюся должность заместителя министра. В самом деле: молод, энергичен, умен, умеет ладить с людьми, хороший специалист, за семь лет в главке — ни одного серьезного прокола, в министерстве его все знают, наверху тоже уже давно заметили, — кого ж тогда и выдвигать, если не его? И биография говорила только в его пользу: из семьи инженеров, окончил МВТУ, работал мастером, начальником цеха, секретарем парткома крупного завода на периферии, главным инженером этого же завода, потом — его директором, через три года был взят в Москву, в главк, здесь тоже поработал — правда, недолго — в должности зама, теперь сам себе хозяин, и, надо сказать, хозяин хороший, толковый, грамотный хозяин, и начальство ценит, и подчиненные тоже, как правило отзываются только добром. Все-таки, как ни крути, человека везде в конечном счете судят по делам, а дело он знает, об этом двух мнений быть не может ни у кого.

Среди многих достоинств Самойлова два, пожалуй, были по нынешним временам наиболее ценными. Во-первых, он не дергался, не суетился, понимая, что жизнь давно сложилась, устоялась, что в ней есть свои — пусть иногда и неписанные — законы, нарушать которые безнаказанно никому не дано, и что везде сидят не машины, а люди и им тоже надо пить, есть и за что-то отвечать. Он умел, и очень успешно, находить теоретически почти неуловимую, но весьма нужную по жизни грань — грань

между напором, энергией, активностью и, с другой стороны, покорностью потоку событий, по видимости управляемых, а по сути своей нет, складывающихся из сцепления тысяч отдельных интересов, предубеждений, привычек к насиженному месту, к давно знакомым людям, к той, а не иной форме бумаги — да мало ли к чему? Инстинктом ли, умом ли, но он эту грань знал — и дело шло. Пусть, может быть, и не так, как иногда хотелось бы, но ведь шло? Шло. Возможности, конечно, возможностями, но возможности — это одно, а реальность — другое: приходится, как говорится, жить по реальностям, а не по рецептам, которые рождает чья-то там чересчур уж умная голова, тем более что сегодня у этой головы рецепты одни, а завтра, смотришь, все опять наоборот, и опять как было все, так и было... Примерно под этим же углом зрения он относился и к самому себе: так ли уж много зависело от него, лично от него? Максимум — не мешать естественному ходу вещей. Этому, как известно, еще Толстой учил, и чем дальше живешь, тем более убеждаешься: старик таки знал, как устроена жизнь, и знал, чему учил.

Во-вторых, хотя по делу и требовательный, умеющий, когда надо, сказать «нет» и твердо стоять на своем (отступал он всегда крайне неохотно, лишь под давлением очевидных обстоятельств, которые нельзя было пересилить ни ему, ни тем, кто мог бы ему в этом помочь, и нужно было потратить много, очень много сил, чтобы сдвинуть его с раз занятой позиции), но к людям, в особенности работавшим под его началом, он был терпим, благожелателен или, может быть, равнодушен, неважно, как это определить: в конце концов, дело не в определении, а в том, что он давал им жить, стараясь по возможности закрывать глаза на их слабости и недостатки, и прибегал к суровым мерам лишь тогда, когда ино-го выхода не было, да и не могло быть. В последние семь лет, например, он уволил вчистую, без перемещения вбок или вверх, и то, считай, перед самым судом, лишь одного своего совсем уж зарвавшегося снабженца, как оказалось, ворюгу и взяточника, умудрившегося каким-то образом нажать целое состояние на этих бессловесных железках, которые их главк про-

изводил. Ну, может быть, было и еще что-нибудь в этом же роде — так, пустяки, на что внимания никто всерьез не обратил и чего никто в их главке, по крайней мере надолго, не запомнил. Иногда, в неофициальных беседах, позволяя себе немного распространиться о жизни и своем отношении к ней, он говорил: «Любые десять человек, случившихся по какой-то причине в одном месте, — это вроде как модель мира: среди них обязательно есть свой гений, свой сумасшедший, свой доносчик и склочник, свой битюг, тянущий за четверых... Так что же вы от меня хотите? Надо уметь жить с тем, что есть...» Нечего и говорить, что коллектив очень ценил это его свойство и платил ему если не любовью, то по крайней мере лояльностью и уважением, а на что еще другое может рассчитывать умный человек, волею судьбы поставленный командовать людьми?

— Ну, так в чем дело, Василий Михайлович? Рассказывай... Давай-ка, кстати говоря, чаю попьем, а? Не возражаешь? У нас с тобой еще есть время... — Самойлов нажал кнопку звонка и, когда секретарша вошла, попросил ее принести два стакана чаю. — И сухарики не забудьте, Вера Сергеевна. Не помешают. Михалыч, ты кури, если хочешь. Мне все равно скоро уезжать. Вера Сергеевна потом проветрит...

— Спасибо. Обожду. Тоже пора уж сокращаться. Ты-то вон помоложе меня, а бросил. Сумел...

— Не завидуй. Нечему. Сам знаешь, не от хорошей жизни бросил... Итак?

— Николай Николаевич, ты меня пойми... Не знаю, как начать... Дело-то ведь тебя касается, лично тебя.

— А ты без подходов, не тяни. Нам с тобой друг друга вроде бы стесняться нечего... Как-никак два десятка лет в одной системе. И секретарем ты уже со мной — сколько? Пятый год?

— Да, пятый год пошел... Что ж... Ну, тогда, как говорится, не обессудь... Одним словом, так: по главку пополз слух, что у тебя серьезный роман с Татьяной Томилиной. Что этот роман тянется уже давно, и именно поэтому ты ее сделал замначальника планового отдела. А встречаетесь вы с ней регулярно на квартире у тоже известного

тебе человека, у Лидочки Скворцовой, из отдела труда и зарплаты. И этот слух уже с разных концов постарались довести до меня — как понимаешь, желающие всегда найдутся. Вот, собственно, и все.

— Так... Занятно... А про квартиру — откуда такая информация?

— Говорят, Лида сама на какой-то отдележкой вечеринке проговорилась об этом... Да мало того — с подробностями: как ключи передаются, когда это происходит, ну, и все другое там разное... Сказала, конечно, шепотом, под секретом, одной своей подруге, ну а та, сорока, не утерпела, дальше понесла. И пошло-поехало...

— Так... Это все?

— Все.

— Ждешь — буду оправдываться?

— Нет. Не жду. Ты взрослый человек, и не я тебе судья. Но мое мнение: делать с этим что-то надо. На самотек это оставлять нельзя.

— Считаешь, надо? А может — поговорят и бросят? Надоест?

— Нет, боюсь, что не надоест. Во всяком случае — не скоро надоест. Ты каждый день у всех на виду. О ком же еще говорить, как не о тебе? А во-вторых, это ее выдвижение, конечно, кое-кого обидело. Даже многих, по правде говоря, обидело.

— Она очень толковый человек, Василий Михалыч.

— Мало ли что? Не она одна. Есть и поопытнее, и постарше ее люди. Для них она кто? Девчонка, чуть-чуть только за тридцать, и вдруг на тебе — такой пост... Пару анонимок я тебе, во всяком случае, могу обещать. С полной уверенностью. Не может быть, чтобы без этого обошлось. Нужно это тебе? Особенно сейчас, когда перед тобой такие перспективы? Сам смотри.

— Н-да... Положение... А с другой стороны... Ну, напишут, Михалыч! Ну и что? На кого не пишут? Где этих «писателей» теперь нет? Если на всех на них оглядываться — шагу ступить нельзя...

— И тем не менее, Николай Николаич... приходится оглядываться. С людьми ведь живем...

— С людьми... Это ты прав — с людьми... Хотя, Михалыч, признаться, иной раз думаешь: да полно, с людьми ли? Эх... эти «писатели» твои — это, что ли, люди?

— И они.

— Да нет, ты не думай, я понимаю... Понимаю... Но иногда до того тошно, до того отвращение берет, если бы ты только знал... Чего людям не живется? Чего им надо?.. Хватить бы кулаком по столу — какого черта? Не хорош? Ну и не надо. Ищите другого — я больше не могу..

— Николай Николаич, милый ты мой... Не можешь — не берись. Никто тебя не заставляет. Ну а уж если влез — будь любезен, тащи.

— Тащи... Я и так тащу.

— Тащишь. И хорошо, надо сказать, тащишь. Но... Ты меня прости, ты же знаешь, я тоже в свое время был не маленьким человеком... Это сейчас уж мне ничего не надо, утих, только бы до пенсии спокойно досидеть. Через год-два, думаю, проводишь меня с почетом, ручку на прощанье пожмешь, может, когда там, наверху, и вспомнишь добром: дескать, был такой невредный человек, по крайней мере, хоть не мешал. Сколько я смотрю на тебя... Уважаю, восхищаюсь... Хорошо ты идешь, дай Бог, чтобы и дальше все так шло... Но все время, прости, подмывает меня тебе сказать... Ах, осадил, Николай Николаич, осадил немного! Не торопись, оглядись, тылы укрепи. Смелость-то, она и на войне не каждый раз нужна. Ну разве ж можно так неосторожно? Больно вы, нынешние, быстрые...

— Это я-то быстрый, Василий Михалыч?!

— И ты. Не обольщайся — и ты тоже... Ты тоже увлекаешься, тоже, бывает, порядок нарушаешь, с жизнью, с технологией ее не считаешься... Неужели тебе самому-то чутье ничего не подсказывает? Ведь по канату ходишь, одно неосторожное движение — и все, кувырком, трах-тарарах, и ваших нет... Стоп машина, дальше не поедем, кирпич. И сразу, смотришь, затолкали, затолкали, затерли и забыли. Как меня в свое время... Оглянуться не успел — уже другие впереди. А ты отдыхай, размышляй, про заслуги свои вспоминай.

— Ладно. Понял... Можешь что-нибудь посоветовать? Конкретно?

— Могу. За этим и шел.

— Ну? Что? Не тяни.

— На мой взгляд, выход один: от обеих нужно как можно скорее избавляться. Как? Ну, со Скворцовой-то все просто... Я уже навел тут кое-какие справки... В министерстве, в управлении труда и зарплаты, сейчас как раз нужен человек. Обязанности, как понимаешь, те же, только оклад повыше — думаю, что здесь никаких трудностей и возражений не будет ни с чьей стороны. А вот с Татьяной сложнее... Ей-то ведь теперь что ни попало не предложишь. Тут и тебе придется голову поломать... Ясно одно — надо выдвигать за пределы главка, а вот куда, как — давай подумаем...

— Н-да... Так, значит, с вещами, на выход? Так считаешь?

— Так, Николай Николаевич. Извини, но ничего другого предложить не могу.

— Хорошо. В любом случае спасибо тебе, Василий Михалыч, за заботу. Я у тебя в долгу. В понедельник, пожалуйста, найди время, зайди ко мне. К понедельнику, думаю, я уже что-нибудь сам для себя решу...

День прошел как всегда — в движении, разговорах, хлопотах, бумажной круговерти. И вечером тоже ему не так уж трудно было сохранять относительное спокойствие: милые, симпатичные люди за столом как-то оттеснили это неприятное событие из головы, заставили почти забыть про него, хотя, конечно, и не без помощи рискованно высокой дозы коньяку. Настолько, видимо, высокой, что Лиза, жена, по всем признакам — по плотно сжатым губам, по отрывистым негодующим взглядам, которые она время от времени бросала на него, еле-еле удержалась от скандала, и потом, когда гости ушли, долго еще сердито гремела на кухне посудой, металась взад-вперед по коридору, и он так и заснул, не дождавшись ее.

А вот в субботу, с утра, началось...

Никаким штaketником он, конечно, заниматься не стал — он просто взял и, как приехали, сразу ушел в лес.

Лиза, успевшая еще в машине — по выходным дням они обычно ездили не на казенной, а на своей — высказать ему все, что она думала относительно вчерашнего, даже не спросила, куда он идет и когда вернется. По своей извечной привычке долго, медленно переживать любой тяжелый разговор, не освобождаясь от него, а, наоборот, загоняя его все дальше и дальше вглубь, она молча вытащила из багажника корзину с купленной вчера на рынке рассадой анютиных глазок, наполнила водой лейку и ушла в дальний угол сада, где у нее была особая своя клумба. Выйдя за калитку, он все-таки на секунду задержался и оглянулся: она как сидела на корточках, так и осталась сидеть, склонившись над рассадой и не поднимая головы.

Дача их стояла почти на краю поселка. Дожди кончились неделю назад, все подсохло, но пыли еще не было. Сразу за поселком лежал глубокий овраг, на дне которого был мостик через крохотную речушку, прячущуюся в кудрявом ивняке, потом по тропинке надо было пересечь черное поле, утыканное телеграфными столбами, обогнуть заброшенное кладбище — воронье, гнездившееся там, всегда поднимало страшный крик, когда к ограде кладбища приближался человек, — потом пройти еще немного по вспаханному полю, вернее, по его меже, нырнуть в старый противотанковый ров, пробраться сквозь густые заросли орешника — и уж тогда начинался лес. Дорожка вела сначала сквозь белоствольную березовую рощу, насквозь пронизанную солнцем и устланную прошлогодней листвой, дальше шли мохнатые сумрачные ели, но не долго, — он, кстати говоря, не любил это место, — а за елями опять начинались березы, дубы, сосны, пни, маленькие озерца талой воды, огромные рыжие муравейники, кусты, покрытые зеленым пухом, какие-то беленькие, синенькие, красновато-лиловые цветочки в траве, название которых он, потомственный городской житель, конечно, никогда не знал и не пытался узнать, — и так километров на пять — на шесть, без перерыва, вплоть до села Воскресенского, оно же совхоз «Огни». На краю же этого села, на пригорке, стояла старая церковь, ее обе-

зглавленная колокольня и ободренные купола были видны и со станции железной дороги, и из окна его мансарды, это был его ориентир, и дальше церкви он обычно не ходил.

В лесу было пусто, народ, видимо, еще побаивался сырости, сидел по домам, а птичий гомон, рассыпавшийся по всему лесу, не только не мешал, а, наоборот, успокаивал его, и можно было думать обо всем если не отстраненно, то, по крайней мере, без раздражения, без злости — они, как он знал по опыту, были далеко не лучшими советчиками как в делах, так и в сложных житейских ситуациях, когда приходилось что-либо решать или что-то выбирать...

Итак, Николай Николаич, начнем прежде всего с того, что попытаемся по возможности объективно оцепить сложившееся положение... Возникла опасность — так? Так. Опасность чему? Тому, что есть? Нет. Не надо преувеличивать: если трезво, то тому, что есть, никакой серьезной угрозы ниоткуда не просматривается, и беспокоиться тут, в общем-то, не о чем... Да, у него любовница, да, она работает в том же учреждении, что и он, и роман их длится уже четыре года — так что из этого? Кому какое, по правде говоря, дело? Что не так? Сам факт их связи? Ничего необычного, абсолютно ничего, не он первый — не он последний, в его возрасте это естественно, ну, максимум — повод для улыбки, но уж никак не для каких-то там житейских или деловых осложнений. Почему на работе, а не в другом каком месте? Хорошо — а где еще прикажете? По улицам, что ли, бегать? До предела занятый человек, у которого вся жизнь — работа и все контакты которого с людьми ограничены практически той же деловой сферой... В кои-то веки соберешься к кому-нибудь в гости, да и то, как правило, к тому, с кем связан по службе... Ну, еще семья, родственники, два-три приятеля со студенческой скамьи — вот, собственно, и все... В каком-то смысле, он чувствовал, и в глазах сослуживцев, и в глазах руководства эта связь именно здесь, на работе, а не где-нибудь в другом месте была даже ему в плюс, а не в минус: серьезный, преданный делу человек, не вер-

топрах, вся жизнь на глазах, работает, горит, дыхнуть и то некогда, ну, а роман — что ж роман? Роман — как роман, кто из нас без греха? Главное, чтобы шума не было, скандала, слез, бития стекол, а этого не будет, нет, умный человек, не мальчик, знает, как себя вести, не его учить...

Хорошо, возьмем крайний случай: какая-нибудь сволочь все же постарается тем или иным способом довести этот факт до сведения его жены. Н-да... Неприятно, конечно... Бесспорно, неприятно... и все-таки — если совсем уж откровенно — что это изменит в их жизни, в конце-то концов? Что она, не знает, что у него кто-то есть? Конечно же знает. Давно уже знает и давно привыкла к этому. Женщина она неглупая, наблюдательная, такой много не надо, чтобы понять, как все есть на самом деле, и никакие дополнительные разъяснения, тем более со стороны, ей совершенно не нужны... Ну а имя — что оно ей даст, имя? Какая разница — эта или другая?.. Разумеется, слезы будут, обязательно будут, но скорее всего тайком, чтобы не осложнять, не нарушать сложившееся равновесие — оно, судя по всему, вполне устраивает ее, и не в ее, конечно, интересах что-либо в этом менять... Нет, правда: чем она может быть так уж недовольна? Правила игры соблюдаются; все декорации в целостности и сохранности, дом, семья фактически ни в чем не страдают — так о чем же тогда говорить? Любовь? Какая там любовь, на двадцать третьем-то году... Не любовь — партнерство, удобное и нужное обоим. И хорошо еще, что так, а не иначе, тоже ведь немало — у других и этого нет. К тому же партнерство, если, конечно, не заноситься мыслью в заоблачные выси, надо признать, неплохое. Все-таки удачное партнерство, что ни говори...

Остается одно — Татьяна... Как это отразится на ней? Как? А никак. По всей вероятности — никак. Ну, пошепчутся за спиной, поговорят, нет-нет да и перехватит на себе двусмысленный взгляд, ядовитую эту бабью улыбочку — а так что ж? Дело свое она знает и прекрасно справляется с ним, ведет себя корректно, никого не задевает, не зарывается, в отделе ее уважают, одета она всегда скромно, сына растит одна, ей тоже нелегко, бабы

это тоже понимают, всегда она на виду, в заботах, как и все. Может быть, отчасти для нее это будет даже и неплохо, если тихо, без шума, но будут знать: все как-никак лишняя защита, другой раз остерегутся, подумают, прежде чем уколоть, а лично за нее беспокоиться нечего — тактичный, умный человек, вреда никому не делает, ни себе, ни другим, ни уж тем более ему... Любовь их прочная, они нужны друг другу, очень нужны, она трогательно и бескорыстно привязана к нему и никогда не оспаривала сложившийся статус-кво — в этом статус-кво, если разобратъ-ся, тоже ведь есть свои плюсы, по крайней мере никакой фальши, ничего недосказанного в том, что касается их двоих. Ну а он... Про него и говорить нечего: стоит только на секунду подумать, что этого по какой-то причине может и не быть, — сердце сразу дергается, проваливается куда-то вниз, лоб покрывает испарина и рука тут же тянется в карман за таблеткой, как ты себя ни стыди... Что еще? Технические сложности? Плевать. Все как-нибудь опять устроится само собой... Самое большое их богатство, их праздники, что бы ни было, всегда останутся при них, — когда он на день — на два, обычно на субботу и воскресенье, объяснив потом дома задержку какой-нибудь обязательной охотой или ухой, возвращается раньше срока из командировки и живет у нее (конечно, если ей удастся на эти дни отправить сына к ее родителям, а, как правило, это удается). Но даже и для текущих встреч... Даже и для текущих встреч — неужели они не найдут ничего другого вместо этой балаболки и ее квартиры? Найдут. Не может быть, чтобы не нашли, нужно только поискать. На худой конец можно будет просто снять где-нибудь комнату или квартиру для них двоих. Конечно, по нынешним временам это накладно, но что поделаешь? За любовь ведь тоже надо платить...

Итак, с точки зрения того, что есть, никакой реальной угрозы на самом деле не существует. Но это с точки зрения того, что есть. А с точки зрения того, то будет или может быть? Н-да... вот здесь-то картина, будем откровенны, складывается по-иному... Здесь посложнее, Ни-

колай Николаевич, здесь надо посчитать, подумать, взвесить... И смотри — не промахнись. Не промахнись.

То, что нынешнее его положение не предел, — это ясно. Ясно и ему, и окружающим. Не сегодня завтра вопрос о выд-вижении его кандидатуры на должность заместителя министра станет не предположением, а реальностью, и, судя по нынешней раскладке, это может произойти довольно скоро, возможно, даже уже в этом году. Шансы у него высокие, весьма высокие, и это не бахвальство, а просто трезвая оценка сложившейся в министерстве расстановки сил. Не преувеличивая, но в тоже время и не преуменьшая ничего. Но абсолютны ли эти шансы? Нет, не абсолютны. Высоки, но не абсолютны. Есть другая серьезная кандидатура, Артюхин, и у этой кандидатуры тоже есть свои серьезные преимущества: директор крупного завода на Урале, одного из ведущих в их отрасли, прямой выход на министра и даже выше, внимание газет, депутатский флажок в петлице... Кроме того, в пользу Артюхина действует еще неотмеревшая традиция 30-х годов — прямо с завода в кресло замминистра, а то и министра, особенно если отрасль, по существу, только начинает развиваться, только становится на ноги, а это как раз и есть их случай. Но и у Самойлова есть свои бесспорные плюсы: во-первых, молодость, во-вторых, солидный опыт работы непосредственно в аппарате, среди руководства, знание всех тонкостей жизни такого сложного организма, как министерство, знание конкретных людей, умение протолкнуть любой вопрос не только сверху, но и, что еще важнее, снизу, сквозь, казалось бы, непроходимые лабиринты коридоров, табличек и дверей, преодолевая глухое сопротивление сотен нужных и ненужных лиц, переплетных в такой узел, такой запутанный клубок, что нужны годы только на то, чтобы хотя бы понять и поверить, что и у этого клубка есть начало и есть конец и даже он не может до конца парализовать дело, если оно запущено в ход с толком и умно. Так что шансы у обоих как минимум равные, а если подумать, то, пожалуй, и с некоторым перевесом в пользу Самойлова. Если его, конечно, сейчас кто-нибудь не осадит на полном, что называется, скаку...

Теперь предположим, что, как пророчит Михалыч, в самое ближайшее время на имя министра, или в партком, или того хуже — в комиссию партконтроля вдруг приходит пара анонимок, в которых его обвиняют в аморальном поведении, злоупотреблении служебным положением, недопустимом произволе в подборе и расстановке кадров и так далее, — одним словом, во всех смертных грехах. Что там ни говори, как бы к этим письмам ни относились, но проверка в таком случае неизбежна — сигнал есть сигнал. Конечно, любую проверку он переживет, выдержит, сомнений в этом быть не может, дело само за себя скажет, пожалуйста, проверяй. Но, во-первых, кому это нужно — такая нервотрепка, да еще на ровном месте, а во-вторых... Во-вторых, пусть даже большинство обвинений в результате проверки будет отвергнуто или отпадает само собой, но ведь что-то все-таки останется? Обязательно останется, не может не остаться. Какая-то тень, слухи, разговоры среди руководства, какая-то червоточина в его репутации. И эта-то червоточина в решающую минуту может, несомненно, сыграть решающую роль. Что ж, раз так, раз возникли сомнения — поищем другую кандидатуру, незаменимых, как известно, нет. Н-да... Нет... Нет, неверно... И всегда это было неверно. В том-то все и дело, что есть: есть незаменимые, каждый толковый, знающий свое дело человек незаменим, абсолютно незаменим, и заменить его ни на что другое, кроме как на худшее или совсем никудашное, нельзя. Но это уже другой вопрос. Это сопли, философия... А здесь случай вполне конкретный — его случай. И с этих позиций реальность такова, что при подобном, более чем вероятном развитии событий его шансы на будущее будут основательно подорваны, а если не обманывать себя, то, может быть, и вообще сведены к нулю.

Ну, а если... Ну, а если наплевать на все эти радужные перспективы? Что ему — мало того, что есть?.. Мало? Да, мало! Мало — незачем притворяться, тем более перед самим собой. Вся жизнь его была движение, движение вперед, по восходящей, и отними ты сейчас это у него — ему нечем будет жить. Было время, теперь почти уже забытое,

когда и он мечтал о чем-то тихом, интересном, о чем-то таком, что было тесно связано с книгами, с письменным столом, с цветами на подоконнике, открытой балконной дверью, веселым, слегка пьяными голосами товарищей за спиной, дружелюбно спорящих о вещах, впрямую не нужных никому из них, но тем не менее составляющих главное, чем наполнена их жизнь... Но что же делать, если назад дороги нет, если это все прошло и уже не вернется больше никогда? Если он стал таким, какой он есть, и другим уже не будет, что бы ни произошло? Так или иначе, нравится кому это или не нравится, но он — технократ, иначе говоря, человек дела, а у человека дела есть только одна дорога — вперед, до упора, пока не свалишься с копыт. А дело и власть — две вещи нераздельные, и чем больше дело, чем больше власти — тем лучше. Кто-то же должен управлять людьми? Так? Так. И стыдятся этой роли либо бессильные импотенты, либо неисправимые слюнтяи, всерьез думающие, что когда-нибудь наступят времена, когда люди по доброму согласию будут делать только то, что нужно, и не найдется ни одного дурака, который бы вдруг ни с того ни с сего не поехал бы в лоб движению просто потому, что ему захотелось так — вот и все... Власть ради власти? Чушь. Власть и комфорт? Тоже ерунда. Комфорт-то уж совсем тут ни при чем. Чуть его меньше, чуть больше — какая, в сущности, разница? Конечно, какой то минимум комфорта нужен, жизнь есть жизнь. Но если бы вдруг опять вернулись времена гимнастеров, галифе и полунищенских пайков — он бы принял и это. Нет, дело ради дела и власть ради дела — в этом суть. Так есть, так будет, так должно быть. И на том стоим.

Иными словами, Николай Николаевич, решение может быть только одно: Михалыч прав. Придется Танюшу куда-нибудь переводить. Куда? Надо подумать. На завод, начальником планового отдела? Нет, не годится. В Москве всего два завода их системы, и оба у черта на куличиках, почти у самой кольцевой дороги, ей только на то, чтобы добраться до работы, если считать туда и обратно, придется каждый раз тратить часа два с лишним, а то

и три, да еще пересадки, да с сумками в руках, через весь город, в давке, в толкотне... И характер работы совсем иной: спешка, авралы, план, давай-давай. У нас здесь все-таки поспокойнее, хоть изредка вздохнуть человеку можно, оглядеться, подумать что к чему... Да, кроме того, там тоже сидят люди, не так-то просто будет высвободить для нее место, попробуй докажи, что без нее там никак не обойтись...

Пристроить ее в какое-нибудь другое министерство? Можно, конечно. Связи; слава Богу, пока еще есть. Но... Но, во-первых, пристроить так, чтобы она ни в чем не потеряла, нужно время, а решать вопрос, если его действительно решать, нужно сейчас, сегодня, не дожидаясь, пока грянет гром. А во-вторых, какая-то в этом есть унижительность и для нее, и для него самого — идти к чужим людям, просить, одалживаться, впихивать. С какой стати? Что, собственно произошло? Она великолепный работник — так почему же ее нужно убирать из системы? Здесь ее все знают, ценят, к мнению ее прислушиваются, она еще молода, у нее все впереди. Нет, надо искать что-нибудь поблизости. Свое... Стоп... Идея... Кажется, нашел. И неплохо нашел, честное слово, неплохо... Как всегда, топор-то, оказывается, под лавкой лежит... Проектно-исследовательский институт, работающий преимущественно на их главк. Уже полгода просят расширить и укрепить у них отдел экономических обоснований, вторую бумагу прислали... Ну что ж, поможем, укрепим... Расширим и укрепим. И человека толкового подберем. Чем вам не кандидатура? Без степени? А кто у вас со степенью? По-моему, только директор — и все? Молода? Ну, знаете... И слава Богу, что молода. До каких же пор мы будем смотреть на такие институты как на свалку, куда сваливают все, что нигде уже больше не нужно? А человека мы вам предлагаем авторитетного, имеющего опыт работы в нашей системе, знающего отрасль как свои пять пальцев, она экономист широкого профиля, с университетским образованием — что же вам еще нужно? Убедил? Убедил... Итак, решено. Проектно-исследовательский институт, начальник отдела экономических обоснова-

ний, оклад выше, условия работы не хуже, а может быть, и лучше, особенно для женщины, ни моральных, ни материальных ущемлений никаких, система та же, перспективы на дальнейшее есть... Все? Нет, не все.

Самойлов присел на ближайший пенек, снял кепку, вытер со лба пот. Да, тепло. И зачем он напялил этот дурацкий плащ? Лишняя обуза, и больше ничего. Вполне можно было бы обойтись и без него. А может, расстелить его здесь и лечь полежать? Нет, все-таки в лесу пока еще сыровато, лучше уж поваляться там, у церкви, на пригорке, а здесь опасно — можно и простуду схватить, земля еще холодная... Тишина, господи, какая тишина! Сучок хрустнет под ногой — и сразу вздрагиваешь... Муравьишки вон внизу суетятся, чего-то тащут, куда-то ползут один за другим. Тоже ведь дела. Как по проспекту: взад-вперед, взад-вперед... А на цветке кто это качается? Неужели шмель? Так рано?.. Интересно все-таки, что это за цветочки такие — белые с сиреновой подкладкой? Или с розовой. Вон сколько их здесь, куда ни глянешь — кругом они... Может быть, подснежники? Чепуха. Подснежники давно уж отошли. Это что-нибудь другое, не они. Да, брат, ботаник из тебя, как выяснилось, никакой... Плохой из тебя ботаник. Господи, как хорошо. Как же все-таки хорошо! Сидел бы так и сидел — всю жизнь. Птахи щебечут, тепло — это кто так залиvisto свистит? Иволга? Может, и она. Щеглы, малиновки, синицы, всякие там пеночки — попробуй разберись... А вот это соловей защелкал, это уж точно он, этого ни с кем не спутаешь. Солист...

Так, значит, не все? Нет, Николай Николаевич, не все. Мало найти выход — надо еще и Татьяну убедить, что этот выход единственный и ничего другого в сложившейся ситуации им, наверное, не найти. Конечно, она примет любое его решение, тут и сомневаться нечего. Но разве в этом дело?.. Не в этом? А в чем? В чем, в чем... В том, что это хрупкий, легкоранимый, любящий человек — какими глазами она посмотрит на все это? Твоими глазами? А ты уверен в этом? Нет, не уверен... в том-то и дело, что не уверен... Как ни верти, все-таки есть во всей этой истории какой-то привкус некрасивости. Чего-то постыдного...

Ну, не постыдного, это уж слишком. Так — неловкость, но неловкость, которая, надо признать, ставит его в не лучшее положение перед ней. И перед собой неловко, вот что хуже всего, а почему, с какой стати — попробуй объясни... Что не так? По любимым — по божеским, по человеческим критериям — что не так? То, что он бережно, осторожно пытается разрядить сложившуюся обстановку, сохранить не только их любовь, но и устроить их жизнь так, чтобы в ней поменьше было неприятностей для них двоих? Это не так? Так если это — не так, то что тогда так?

Да нет, ерунда. Все это ерунда... А если трезво, то все, что было у них хорошего, с ними и останется, и нечего понапрасну себя терзать. Те несущественные перемены, которые теперь надвигаются на них — какое они имеют значение, в конце-то концов? Что под угрозой? Ничего. Реально — ничего... Не только для него, но и для нее самыми дорогими в их отношениях были дни, когда он возвращался из командировок не домой, а к ней, и жил у нее с вечера пятницы или с утра субботы до вечера воскресенья. Никто, кроме них двоих, не знал об этом, не знал, что они вдвоем, что они спрятались от всех в таком-то доме, на таком-то этаже, за наглухо запертой дверью, в которую звони не звони бесполезно, никто ни за что не откроет ее, что бы ни стряслось там, вовне, хоть ты там расшибись. Все другие дни он был под контролем сотен глаз, и каждую минуту множество людей знало, где он и что с ним, куда он пошел, как позвонить ему, как вторгнуться в его жизнь и заставить, пусть даже вопреки его воле и желанию, отвечать на их пустые, мелочные нужды, подчас не имеющие ни-какого отношения не только к нему самому, но и вообще ни к чему. Но эти дни... нет, эти дни были в корне, в принципе отличны от всего другого, чем он жил.

Это начиналось еще в аэропорту, еще на трапе самолета, когда он медленно спускался вниз по ступенькам вместе со всеми этими молчаливыми, хмурыми людьми: если бы вы только знали, бедняги, думал он, что меня ждет впереди, если бы хоть кто-нибудь из вас мог догадаться... Да нет, вы даже и в мыслях не можете себе пред-

ставить, слишком много сумок и чемоданов повесила на вас жизнь... Седеющий, солидный мужчина, размахивая портфелем и чувствуя нарастающий приступ детского нетерпения внутри, он бросался к такси, называл адрес, вжимался в угол сиденья и, закрыв глаза, весь погружался в гудящее ожидание: как он взлетит в лифт, как нажмет кнопку этажа и потом кнопку звонка над обитой черной кожей дверью, как дверь распахнется, как теплые руки сомкнутся у него на шее и полуоткрытые уже с порога мягкие губы встретят его, а он будет бормотать, чуть отстраняясь от них: «Подожди, моя радость, подожди, я колючий, я только на секунду в ванну: побреюсь и сейчас же к тебе...» А потом будет все: и хрустящие простыни, на которых так хорошо растянутся во весь рост, чувствуя рядом теплую, бархатную ее кожу, ее руки, удивительно знающие его всего, целиком, ее осторожное дыхание у него на щеке; и медленное, неторопливое утро вдвоем на кухне, тишина, старый тополь за окном, воробьи, кофе на столе, сигарета, против которой никто не будет протестовать; и длинный день впереди — хочешь на диване, хочешь в кресле, а хочешь, если тепло, то и на ее глубоком балконе, откуда видно все — и тихий зеленый двор, и людей внизу, но откуда тебя не видит никто; и еще газеты, журналы, какая-нибудь книга, танина непритязательная болтовня, а иногда и молчание по целым часам, не обременительное ни для него, ни для нее, или ни с того ни с сего — вдруг опять вспышка того же самого, как будто им все было мало и как будто бы и не была у них позади целая ночь... Так что — этого, что ли, не будет? Будет! И если это будет, то что другое имеет значение? Их короткие, на час-два, встречи на чужой квартире? А куда это денется? Никуда и это не денется, произойдет только смена адресов, и больше ничего. Что еще? Что еще может исчезнуть? Их теплота друг к другу, их способность говорить обо всем или не говорить ни о чем? Та радость, которую доставляют им обоим редкие, но всегда такие удачные выезды куда-нибудь покутить, посидеть в ресторане, посмотреть на людей, на то, как они живут? Почему это-то должно исчезнуть? Почему?

Самойлов вдруг поймал себя на том, что он давно уже идет, а не сидит, и что он, размахивая руками и вминая каблук в землю, давно уже говорит сам с собой вслух. Он встревоженно оглянулся: никого, но лес почти кончился, он был у той самой развилки, от которой одна тропинка вела на пригорок, к церкви, а другая уходила вниз, в деревню. Помедлив, он повернул к церкви: сколько уж было хожено этим путем, и не по сегодняшнему настроению его менять.

Вот она, белокаменная... Она... Ах, как же все-таки умно, с душой, с умением отступить от всего мелочного, от всякой корысти и злобы дня строили наши прадеды... После них хоть это-то останется, а после нас — что?.. Стоит себе эдакая красавица смиренно на пригорке, под теплым неярким солнцем, легкая, светлая, приметная отовсюду, белеет своими стенами, блестит остатками позолоты на трех своих куполах, тянет ввысь свою ажурную колоколенку. Что в ней? Да ничего. Но ведь поди ж ты... И молиться не надо: веришь не веришь — какая, в сущности, разница, не в вере дело, а в том, что ляжешь рядом с ней на траву, задерешь голову в небо, увидишь, как кружатся, взмывают вверх над крестами ее и куполами ласточки, — и покойно на душе, и сами собой откуда-то из небытия вдруг смутно, потихоньку начинают всплывать давно уже, казалось бы, забытые слова — благородство, совесть, смирение, милосердие, честь... И эти слова не проклинают, не обличают тебя, нет, они просто напоминают, что и для тебя они — тоже не пустой звук, что и к тебе они имеют какое-то отношение, что и ты живешь с ними, только вот малость отвык ты от них в повседневном-то обиходе, стерлись они из твоей памяти и языка... Но это ничего, это только видимость, это все преходящее, а на самом деле жили они в тебе и вне тебя всегда и будут жить после тебя в других — и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Самойлов лежал, жевал травинку, смотрел на ласточек, на проплывающие облака и думал: нет, хорошо, и будет все хорошо, это досадное происшествие — лишь минутный, мелкий эпизод, а главное в том, что они любят

друг друга и хотят друг другу только добра. Ну а декорации... Что ж декорации? Декорации — это все неважно, это все так, ерунда, дым...

В понедельник утром, как и уговаривались, Кондратько вновь сидел у него в кабинете за столом. Разговор был недлинный и нетрудный. Самойлов сообщил ему, что взвесил все «за» и «против» и принимает его предложение целиком. Обсудили также и технику перевода Татьяны Томилиной в проектно-исследовательский институт. Однако, прощаясь, Кондратько все-таки не удержался от сантиментов, всхлипнул: старик, видимо, катастрофически стал сдавать, что поделаешь, на тот год шестьдесят.

— Николаи Николаич, дорогой ты мой... я так рад, что ты на это решился. Такая дорога, такая завидная судьба. И вдруг какой-то пустяк. А так — все тихо, достойно, благородно. Все довольны, всем хорошо. Ты только на меня не сердись, я ведь не со зла...

— Перестань, Михалыч. Ничего, кроме чувства признательности и благодарности, я к тебе не испытываю. И ничего, будь верен, я не забуду. Итак, подытожили? Что ж, давай теперь дальше жить. Будешь выходить — скажи там Вере Сергеевне, чтоб зашла.

На другой день, во вторник, ему удалось так устроить свои дела, что в четыре он был уже свободен. Шофер подвез его к дому. Не поднимаясь наверх, он пересел в свою машину и из автомата на углу позвонил Татьяне: ничего там без нее не случится, пусть скажет, что ей нужно в министерство, он будет ждать в машине у метро, надо только сына предупредить, что задержится, и вечер — их... Куда поедет? Хочешь, в Архангельское? День будничней, людей там сегодня немного, погуляем по парку, поговорим... Помнишь, мы однажды были там? Тебе там понравилось: и парк, и музей, и ресторан этот с палехской росписью вдоль стен. Говорят, там теперь по обычным дням пусто: десяток-другой иностранцев и больше никого. Идет? Идет. Жду.

Он заметил ее в толпе еще издали: светлый плащ, легкая походка, сумка через плечо, прямая спина, стройная,

подтянутая фигура — не девочка, конечно, нет, но, с другой стороны, и не скажешь, что это идет женщина, у которой в подчинении несколько десятков человек с высшим образованием и которую, кроме того, дома ждет десятилетний сын. Узнав его машину, она ускорила шаг, почти побежала, сумка сползла у нее с плеча на локоть и ниже к ногам, она, запнувшись, досадливым, нетерпеливым жестом вздернула ее обратно вверх, но сейчас же улыбнулась, и не вообще, а именно ему. Не огибая машины, она просунула голову в припущенное окно и коснулась губами его щеки:

— Долго ждал?

— Нет, недолго, минут десять.

— Прости. Как всегда, когда нужно — обязательно кто-нибудь пристанет: подпиши, посмотри, подскажи... А ты сиди как на иголках.

Когда они куда-нибудь ехали вместе, обычно она молчала — боялась отвлекать его от дороги, кроме того, она, по-видимому, еще не до конца вышла из того возраста, когда высшее наслаждение в жизни — смотреть в окно... Машина шла ровно, никто их не обгонял, никто не мешался впереди. Самойлов любил эту дорогу: после Кунцева, особенно после поворота на Успенское шоссе, она была красива при любой погоде и в любое время года — пусто, столетние сосны, поля, перелески, нарядные дома, опять сосны, потом длинная дамба через луг и мост через Москву-реку. Придерживая баранку одной рукой, он положил другую ей на плечо, привлек к себе и на секунду заглянул ей в глаза: так и есть, те золотистые крапинки в зрачках, которые он так любил, на месте, и две-три ниточки морщин под осторожно подведенными глазами тоже на месте, и губы, как всегда, полуоткрыты навстречу ему — так какого же черта? Чего еще тебе надо? И зачем, скажи на милость, ты затеял всю эту ерунду? А вдруг спугнешь, а вдруг это все исчезнет? Что тогда? Нет, не исчезнет. Да и задний ход уже не дашь, поздно, что будет теперь — то и будет. Она же знает, что я ее люблю и никого больше не люблю.

Они долго ходили по парку, по его террасам, по роще за оградой, говорили немного о работе, немного о себе, иногда и так просто, ни о чем, — о чем вообще говорят близкие друг другу люди, когда они вдвоем? Так, что придет в голову, это-то и хорошо... От медленной ходьбы оба устали, к тому же обоим уже давно хотелось есть. Они поднялись на второй этаж ресторана, того самого, где стены были отделаны панелями, расписанными палехскими — а может быть, и хохломскими — мастерами. В зале действительно не было почти никого, только в дальнем конце его сидела большая группа чинных улыбающихся японцев, но и они вскоре ушли. Когда он просмотрел поданную карточку и сделал заказ — обычно выбирал он, для нее это было лишнее напряжение, она охотно предоставляла это все ему, — Таня положила локти на стол, подперла щеку кулачком и сказала, внимательно и, как ему показалось, с сочувствием глядя на него:

— Ты сегодня какой-то необычный... Очень значительный. Или нет, не значительный, а строгий, серьезный. Больше, чем всегда. Ты что-нибудь скрываешь от меня?

— Да... Да, Танюша, скрываю... Но долго скрывать, чувствую, не удастся.

— Что?

— Как бы тебе сказать... Одним словом, хорошие мои, обстоятельства складываются так, что тебе нужно перейти от нас куда-нибудь в другое место...

— Вот оно что... Куда?

— Мое предложение — в наш проектно-исследовательский институт, на должность начальника отдела экономических обоснований. Оклад выше, условия работы неплохие, наверное, все-таки полегче, чем у нас...

— Подожди, подожди... Это детали, это потом. Ты действительно считаешь, что это нужно — перейти?

— К сожалению, нужно. Так будет лучше для нас обоих. И для тебя, и для меня.

— Это нужно скоро?

— Скоро. Чем скорее, тем лучше.

— А там, куда ты предлагаешь, я справлюсь?

— Почему нет? Я тебе уже не раз, по-моему, говорил: умнее тебя я еще женщины не встречал. Чего ж там не справиться? Справишься... Работа как работа, ничего особенного в ней нет...

— Хорошо.

— Что — хорошо?

— Хорошо, я перейду.

— И не спрашиваешь даже, в чем дело, почему...

— А зачем? Какая разница, в чем?.. В том, в этом... Я давно знала, что рано или поздно так будет. Только думать об этом не хотелось. Ну вот, а теперь это пришло... Ты очень огорчен?

— Очень. Огорчен — не то слово. Места себе не нахожу.

— А ты не надо, не огорчайся. Все будет хорошо...

— Все?

— Все... Ты ведь меня бросать не собираешься? Нет?

— Ты с ума сошла! Только бы ты меня не бросила, а я...

Куда я от тебя денусь?

— Ну вот... А теперь забудь об этом. После поговорим. Завтра. Вызовешь меня и — поговорим... Давай сейчас лучше о чем-нибудь другом...

* * *

Прошло два года. В один из майских дней Самойлов сидел у себя в новом, недавно отремонтированном кабинете в здании министерства и в десятый раз, наверное, перечитывал письмо, переданное ему вчера через третьи руки, кружным путем. Письмо было из Киева.

«Дорогой мой, я знаю, ты меня поймешь и простишь, — писала Татьяна. — В сложившихся обстоятельствах я решила все же принять то предложение, о котором, помнишь, я тебе как-то говорила. Теперь я здесь, пишу тебе из своей новой квартиры, за рекой, в Дарнице. Надо отдать должное моему теперешнему руководству: никакого обмана, что обещали, то и выполнили — и работа, судя по первым впечатлениям, мне по силам, и должность хорошая, и квартиру дали такую, о какой в Москве я могла

только мечтать. Сейчас здесь весна, тепло, цветут каштаны. Сереже здесь очень нравится, мне удалось и тут пристроить его в английскую школу — я думаю, ему будет хорошо. Ты ведь знаешь, я всегда очень переживала за его здоровье, он такой слабенький, а климат здесь, несомненно, лучше, чем в Москве, на рынке уже полно ранних овощей, даже черешня уже появилась — привозная, конечно, и все здесь дешевле и лучше, чем там, у нас. И перед мамой теперь душа у меня спокойна: после того как умер отец, она все время хотела вернуться на родину, все время говорила об этом — она же киевлянка, у нее здесь полно родственников, и она сейчас только и делает, что ходит по гостям...»

Когда же, черт, она успела все это провернуть? Неужели за этот последний месяц, пока он был в отъезде? И все молчком, тихо, не посвящая его ни во что. Сказала только раз, мимоходом, что ее зовут в Киев, и все. Как же так? Рубанула — и конец. Рубанула... А ты как думал? Что, собственно говоря, было ей отрубать? Что осталось от того, что было? Так, ошметки, и больше ничего. И отрубать-то, по сути дела, было нечего. О чем ей жалеть? О тех наспех, накоротке, встречах, дай Бог раз-два в месяц, да и то если повезет, если удастся достать ключи? А достать их было непросто, очень непросто — у кого попало ведь не возьмешь. Ну, а с другой стороны, что он мог сделать? Снять комна-ту, как он когда-то хотел? Нет, в его нынешнем положении лучше было этого не делать, не только он — она это тоже понимала, слишком он на виду. Что еще? У нее? Но ведь сына-то из дома не выгонишь, мальчик уже большой, все понимает. Так где?.. А, если бы не этот управделами... Если бы не он! Ведь, по существу, это все из-за него. Недаром говорят, заставь дурака Богу молиться — он и лоб расшибет... Протокол, протокол... Ну и что же, что протокол? На кой хрен он мне сдался — это твой протокол? Для тебя протокол, а для меня удавка на шею... Вот он, твой протокол. Сиди теперь, смотри...

Все дело, если уж говорить об обстоятельствах, было в том, что у них в министерстве сидел чересчур усердный, чересчур пунктуальный управляющий делами. То ли по установившейся традиции, то ли действительно по офи-

циальному протоколу, но управделами считал почему-то своим обязательным и неизменным долгом встречать на аэродроме каждого замминистра, когда тот возвращался из командировки, а если не мог сам, то посылал для этой цели своего заместителя или какого-либо другого видного человека из своего управления. Сколько Самойлов ни просил поломать этот обычай, сколько ни вел разговоров на этот предмет — иногда обиняком, а иногда чуть ли не в лоб, — все было тщетно, как говорится, хоть кол на голове теши. Каждый раз, когда он выходил из самолета, его еще у трапа встречали или этот человек, или его представители. Они приветствовали его, поздравляли со счастливым прибытием и потом сопровождали вплоть до самого его дома, чуть ли не до дверей. Обычно у выхода из аэропорта его теперь ожидали две машины: в одну садился сам управделами или его люди, в другую он с женой — ее они теперь тоже каждый раз любезно ставили в известность о точной дате и точном часе его прибытия. Это было мучительно донельзя: сидеть, видеть боковым зрением величественный профиль жены, ее неизменную шапку из серой норки и такой же воротник, ее застывшее, вполне соответствующее ситуации лицо, ощущать рядом с собой ее монументальные колени, говорить с ней о чем-то, перебрасываться пустыми фразами о погоде там и здесь, о домашних делах, о даче и думать, думать только об одном — почему нельзя сейчас закричать, остановить, пересесть в такси, взбежать на тот этаж, позвонить в ту квартиру, где его любят, где его знают, где его ждут...

Самойлов еще раз перечел письмо. Нет, ни слова упрека по отношению к нему, ни даже тени упрека: что ж, все сложилось так, а не иначе, печально, но другого выхода нет, надо жить, надо работать, растить сына... И эта последняя фраза «Целую тебя, дорогой мой, береги себя, ты ведь себя совсем не щадишь. Вспоминай обо мне иногда, я тебя очень люблю»... Да нет, нельзя же так! Надо сейчас же, немедленно написать ей, послать телеграмму, слетать туда самому — что она делает?!.. Ну да... Как же — написать, слетать... Сиди... Сидишь — и сиди... Никуда ты не напишешь, никуда ты не слетаешь. Да и к чему? Что это

теперь изменит? Что произошло — то произошло, и это важно, а остальное все — неважно, и из этого и надо исходить... вот только болит... Очень болит... А где болит, что болит — попробуй пойми...

Самойлов долго сидел так, уставившись в одну точку и обхватив голову руками. Потом, вздохнув, пошарил у себя за спиной и нажал кнопку звонка: вошла Вера Сергеевна, они и сейчас работали вместе. Он хотел что-то сказать ей, но она, увидев его посеревшее лицо, всполошилась, схватила графин, налила ему воды — руки у нее дрожали:

— Николай Николаевич, что с вами? Вам нехорошо? Болит? Я сейчас же вызываю врача...

— Болит? Да, болит... Болит... Но иногда ведь, Вера Сергеевна, и просто так болит. Ничего... Пусть поболит... Поболит — и отстанет... Не надо врача. Я хотел вас спросить: та справка, которую должно было представить управление заграничных поставок, она уже у вас? Или еще не принесли?

Особняк на Пречистенке

Звонок этот раздался ночью, часа в два, когда он уже спал.

— Ты еще жив, падаль? Ну, да, ты всегда был ве-
зучий... А я вот подыхаю. Недели две еще протяну;
вряд ли больше. Звоню попрощаться с тобой...

— Простите, с кем я разговариваю? Что вам угодно?

— Не узнаешь? Врешь! Брось Ваньку ломать. Неужто не знаешь — кто? Кто еще в твоей жизни мог позвонить тебе перед смертью, чтобы сказать, какая же ты сволочь всегда был и есть? Или много таких? Много? Ну, тогда я от имени всех: сволочь ты, Мишка! Сволочь ты, Михал Николаич С. От рождения своего сволочь и до седых волос. И сволочью и умрешь.

— Постойте, постойте...

— И стоять нечего! Прощай. Бога благодари, что я тебя тогда — помнишь? — не убил. А мог бы... И зря не убил! Зря. Доброе дело бы сделал... Что ж, пользуйся моей добротой, любимец публики. Живи...

И все. Лишь «ту-ту-ту» в брошенной на том конце трубке и больше ничего... И попробуй теперь засни! Черта с два заснешь. И таблетки не помогут, даже и пытаться нечего. Нет, в конце концов действуют, конечно. Но не раньше, чем под утро. А день завтра хлопотный: куда ж ты тогда с дурной-то головой, хуже, чем с похмелья? Ну их к дьяволу, эти таблетки... Да, ничего себе звончек. Вот так живешь, горя не знаешь, и вдруг на ровном месте... И сиди, думай, мучайся потом — кто, почему, за что?

А действительно — кто? И почему? И за что? Кто-кто... Мало ли кто? Слава Богу, седьмой десяток живешь. Не могло быть так, чтобы за свою жизнь ты никому хвост не прищемил, никому на мозоль не наступил... Но чтобы так?! Чтобы человек перед смертью думал лишь о том,

какие бы злые слова тебе на прощанье сказать? Искать тебя, звонить ночью, силы последние собирать... И всего лишь за тем, чтобы прохрипеть в трубку: сволочь ты, Мишка, зря я тебя не убил... Убил? Значит, кто-то когда-то действительно мог и хотел тебя убить? Ну же, напряги память, Михал Николаич, напряги свои ссохшиеся уже от старости мозги. Кому ты — тихий, мирный профессор консерватории, не сильно, но все же известный в стране пианист — мог насолить в жизни так, чтобы и перед смертью этот кто-то сокрушался, что когда была такая возможность, он тебя не убил? И голос этот хриплый — отдаленно, но знакомый. И тон его такой, что явно ведь была между вами когда-то какая-то связь. И говорил он так, будто расстались вы только днями назад...

Темно в комнате. Темно и на улице, за белыми кисейными занавесками на окне. Лишь вечно голая лампочка над подъездом напротив освещает колодец двора и каким-то самым длинным из своих лучей достает до поднятой крышки рояля в том углу его комнаты, что ближе к окну, немного наискось от дивана, на котором он спит последние полтора десятка лет.

А еще говорят, что под старость человек помнит все, что было раньше, как будто это было только вчера. Какое там! Чепуха все это. На самом деле одна каша в голове: так, всплывет из тумана, из всей этой мути, чем она, голова, всегда забита, какая-нибудь картинка из прошлого, или чье-то лицо, или голос, или просто какой-то звук, какая-то нота, а что эта нота значила в твоей жизни в те давно ушедшие времена и тем более что она значит сейчас — лучше и не пытаться понять.

А, что толку ворочаться зря! Лучше уж встать, натянуть халат, закурить, походить по комнате... Где они, сигареты? Где-где. Где ж им еще быть? На телефонном столике рядом с диваном лежат, как всегда, — надо только руку протянуть... А свет лучше не зажигать. В темноте оно спокойнее. Если вот так, посреди ночи, включить свет — совсем уж как-то тревожно делается, как будто случилось что-то, как будто «Скорую помощь» надо вызывать. Это уж так, это давно проверено: без крайней

нужды никогда не надо зажигать свет ночью. Даже если и к роялю вдруг потянет, тоже лучше в темноте, вслепую по клавишам пробежаться, пальцами пошевелить. Не на концерте же! Да к тому же больше двух-трех аккордов, как правило, и не надо: музыка — тоже не медицина, от нее иной раз даже еще хуже становится. Лучше уж, честно говоря, стакан. Стакан ведь, если умеючи, тоже можно в темноте налить... Сигареты и стакан. И тишина. И больше ничего...

Ну, так кто же это был? Из каких миров? И из какого времени? Задала ж ему жизнь задачку... Кто-нибудь из консерваторских? Вряд ли. Были и есть там, конечно, как и везде, свои склоки, подсиживание, борьба за место под солнцем, за успех — но не до такой же степени, чтоб убить... Кто-нибудь из конкурентов по концертной жизни? Нет, тоже вряд ли: ни он сам не Моцарт, ни из друзей и соперников его никто на Сальери вроде бы не тянул и не тянет. И каждый прекрасно знает про себя, что никто из них, сегодняшних, не гений и не велик, все более или менее одного класса, и виноватых в этом никого нет, а претензии все, если что, то к Господу-Богу, а с Него — какой спрос?.. Какая-нибудь бытовщина? Вроде того соседа-полковника по даче, с кем они когда-то полосу земли у забора не поделили, и он у этого полковника в конце концов ту полосу отсудил? Но и с этой историей давно покончено, за полосу полковнику давно заплачено, чтобы не шумел. Да, по правде говоря, не он тогда в эту полосу у забора и вцепился, то была инициатива жены, а с ней они в разводе уже ни много ни мало — почти пятнадцать лет... Что еще? Политика? Не было никогда в его жизни никакой политики... Деньги? Нет, и не деньги. Не должен он никому в жизни ничего, и ему никто не должен. Таких, как он, сегодня не убивают: он же не шоу-бизнес, и не банкир, и не какой-нибудь там ЛогоВАЗ... Приватная, так сказать, жизнь? Нет, тоже ничего особенного — все, как у всех. Ни-какими «консерваторскими» болезнями отродясь он не болел, никого не развратил, не растлил, ни у кого жену не увел. Наоборот, если честно, то у него жену увели. Правда, слава те, Го-

споди, что увели, но это уж, как говорится, другой разговор... Так за что же его убивать? Нет, если по заповедям Христовым, то убивать его никак не за что. И все-таки...

И все-таки кто-то когда-то хотел его убить! Не стал бы этот субъект звонить ночью, да еще перед смертью, если бы этого не было. И не какой-нибудь это дурацкий розыгрыш: больно уж убедительно он хрипел в трубку, такого спяну да с веселья не изобразишь... Да и собственную-то смерть человеку ради шутки поминать и призывать — к чему? Чего доброго, еще сам же ее и накличешь сдуру...

Нет, близко, видать, искать нечего. Близко нет ничего. Не близко — далеко надо искать. Но что это значит — далеко? Детство, юность, молодость, зрелые лета — все теперь будет далеко. И что же такого там, в далеком, было в его жизни, чтобы кто-то хотел его тогда убить? И там ничего не было! И там было, как у всех: юноша из приличной семьи, молодой подающий надежды пианист, аспирантура, концерты, гастроли по стране, потом гастроли за рубежом — Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Рахманинов, Прокофьев... Одна премия, другая премия, цветы, аплодисменты, первые заметки в газетах, первые свои ученики... Какие-то скоротечные романы, кутежи с друзьями, первая жена, рождение сына, потом другая жена, потом, вот уже пятнадцать лет, — свобода, холостая жизнь, старость, неважное сердце, ломота в суставах, артрит... Но это уже не далеко, это уже сегодняшний день. Нет, профессор, давай крути кино назад! Ведь договорились же: в сегодняшнем дне не искать...

Господи! Что это? Что же это за гадость он себе налил, а? Нет, на сей раз со своей этой манерой сидеть по ночам в темноте он, кажется, перестарался. Бутылки-то теперь все стали пузатые, важные, так просто сходу, на ощупь, и не разберешь, что в какой есть. Думал, водка, а оказалось — тараканья жидкость. Ну, не тараканья, все же полнее, но тоже дрянь порядочная. Наверное, текилла или другая какая экзотика. Этого добра у него в баре теперь полно, после каждой гастролей прибавляется что-нибудь диковинное. Считай, целая коллекция уже подбралась... В общем, не водка, не виски, и не коньяк. И не

джин... Нет, а пить все же можно! Определенно можно. Это только от первого глотка повело. А со второго даже и что-то приятное вроде во рту ощущается...

Ну, вот... Ну, вот и искать нечего. Да вот же оно — вот! Ничего другого и не могло быть... Ох, но как же это было давно! Как давно! Так давно, что, может, его и вовсе не было никогда... Сорок лет! Сорок лет, считай, без малого... И что же, все эти сорок лет человек думал про тебя, жил тобой, ненавистью своей к тебе жил и не простил, и перед смертью ничего другого не нашел, как только прохрипеть тебе в трубку: сволочь ты, Михал Николаич С., об одном лишь жалею в жизни, что тогда я тебя не убил... Невероятно! Да что ж это такое есть — человеческая жизнь? Ведь сорок лет! Небось и дети у него есть, и внуки уже, и чего за эти годы только не было, а под конец все равно одно: сволочь ты, Мишка, нет тебе от меня прощенья, умираю, а ничего я тебе не забыл. Ладно хоть не добавил: и на том свете от меня не отделаешься, и на том свете я тебя найду.

А было все, в общем-то, вначале достаточно безобидно. Ну, был у него студенческий полуприятель, шапошное, считай, знакомство, с факультета журналистики МГУ, Максимом, кажется, звали. Встречались иногда на вечеринках у общих друзей: видный такой, спортивный парень, девчонки еще на нем, помнится, все висли, каждый раз он появлялся с новой подружкой, и все, как на подбор, — одна лучше другой. А однажды пришел с такой, что все ахнули, всех будто током потрянуло: уж больно хороша! Да к тому же обнаружилось, что поет она замечательно — хороший был голос, не рядовой, с таким голосом, если учиться, и карьеру можно было сделать. Что она тогда пела, дай Бог памяти? А что тогда пелось и слушалось в таких компаниях, когда уже и выпили порядочно, и натанцевались под притушенный свет всласть, и Армстронг и Элла Фитцджеральд уже свое отговорили-отхрипели в магнитофон? Наверное, «Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные», или «Белой акации гроздь душистые», или еще другое что в этом же роде... На что ж еще под занавес всегда тянуло подвыпившего русского человека — а хоть бы и в двадцать лет?

А хорошо тогда пела девочка — почти до слез! Она пела, а он, студент третьего не то четвертого курса, ей аккомпанировал на рояле. И до того у них вместе тогда это здорово, складно получилось, что после всего она бросилась к нему на шею и стала его целовать, да так, что он даже растерялся от неожиданности. Покраснел, растерялся, взмок... Будто и вправду это был важный концерт, и публика вокруг была соответствующая, а не полупьяная студенческая братва, и для нее это была не просто вечеринка, а какой-то очень нужный ей по жизни успех... А пока они так обнимались-целовались на виду у всех, дружок ее, Максим то есть, стоял в углу и весьма неодобрительно, помнится, смотрел на них: руки хлопали, губы тоже вроде бы улыбались, а взгляд был тяжелый, угрюмый — до сих пор он еще ему помнится, этот взгляд.

И еще они потом раз-другой виделись в гостях, и даже танцевали вместе, и прижималась она к нему не просто, а как они, женщины, умеют это делать: вроде бы ничего особенного, а у тебя голова кругом идет и горло перехватывает — так, будто, если ты действительно мужик, то должен ты ее сейчас же подхватить на руки и куда-нибудь отсюда унести. Прочь, насовсем унести! А куда — это уж дело твое...

А вскоре и Максим, и она и вовсе исчезли из Москвы. Говорили ребята, что он получил назначение куда-то на Дальний Восток, женился на ней и увез ее с собой. И все бы кончилось тогда на том, и никогда бы больше им с ней друг друга в жизни не увидеть, если бы... Если бы не один неожиданный, невероятный случай. А если не пугаться высоких слов, то судьба, провидение, промысел, рок — в общем, то самое, от чего никак не увернешься, даже если бы ты этого и очень захотел. Судьба, а не чья-то там вина. Ни его, ни ее.

То была одна из первых его гастрольных поездок по стране, на втором, кажется, году аспирантуры. И была та поездка на Колыму, а оттуда на Чукотку: Магадан, Ягодное, Сусуман, Сеймчан, Билибино, Певек, Анадырь — сначала по старой колымской трассе, а потом самолетами, преимущественно на «Ли-2». Был такой самолет когда-

то, он же «Дуглас», немало ему пришлось в свое время на нем по Северу полетать, немало и помыкаться — иногда сутками, а иногда и неделями — в ожидании погоды по маленьким, дощатым, забитым человеческими телами и всякой житейской рухлядью северным аэропортам...

А начались эти гастроли, естественно, с Магадана. И был март, и был чистый, хрустящий, искрящийся снегом мороз, и стояло прямо над головой отвесное колымское солнце, а кругом на улицах было полно народу без шапок, и он тоже стащил тогда с головы свою ушанку, и это было восхитительно, непривычно восхитительно: идти по центральному магаданскому проспекту, без шапки, снизу от бухты Нагаево вверх, к центру, и дышать чистейшими двадцатью с лишним градусами мороза, и щуриться на солнце, и не чувствовать никакого холода, а ощущать лишь азарт и дрожь нетерпения во всем теле — сегодня вечером у него здесь первый концерт.

И надо же! Уже у самой гостиницы, у обледенелых ступенек парадного ее подъезда вдруг кто-то со всего размаху бросается к нему в объятия — и кто?! Она, Инга, та самая, что тогда так славно пела под его аккомпанемент и о которой он, к стыду своему, и думать уже давно забыл, что она вообще на свете есть. В шубке, в расшитых бисером пимах, в шапочке с помпоном, с огромными, заиндевевшими, растопыренными во все стороны ресницами — и сразу на шею к нему! А как, откуда, почему — молчи, не спрашивай: потом, все потом... А сейчас — наверх, к тебе в номер, и молчи, не говори, не спрашивай ни о чем, только задерни штору, слишком тут у тебя светло. И ключ. Не забудь повернуть ключ в двери... Милый ты мой! Я только сейчас поняла, как же долго я тебя ждала...

Ну, а если бы он подошел в тот день к подъезду той гостиницы полминутой раньше — полминутой позже? Что тогда? Где, в каких глубинах неба или преисподней связались в один узелок эти две тоненькие, как паутинка, ниточки, что составляли его и ее жизнь? Вот именно — судьба! Как выяснилось потом, она, Инга, даже и не знала ничего, что он приезжает, что у него в этот вечер в городе концерт.

И на другой день, после концерта, они виделись, но у же не у него в номере, а у нее дома: она жила в трех-четырех кварталах от гостиницы, а муж ее тогда по газетным своим делам уехал куда-то далеко из города и должен был вернуться только назавтра к вечеру. Почему все-таки у нее, а не у него в гостинице? А, сейчас уже и не вспомнишь, почему: может, номер его показался ей слишком казенным, а может, просто засвечиваться больше нигде не хотела — город-то небольшой, все друг друга знают, мало ли что... Одно только и осталось в памяти: чудный был вечер! Признаться, немного таких в жизни у него было вечеров. И вправду можно было поверить, что именно его и только его она все это время у себя в своем Магадане и ждала...

А утром — он даже еще побриться не успел — звонок:

— Миша, милый мой! Уезжай! Сегодня же уезжай из города. Он тебя убьет! Он непременно тебя убьет. Я знаю его! Он уже вчера чуть тебя не убил...

— Постой, постой... Вчера?

— Да, вчера! Он приехал раньше на день. И что-то заподозрил сразу, но в квартиру рваться не стал, а сидел в сарае, дожидался, когда ты выйдешь. А потом схватил топор и пошел за тобой. А ты не знал, что он за тобой идет. И на углу уже, перед самой гостиницей, ты остановился. И он остановился за тобой, и уже было взмахнул топором, а потом опустил его. Он говорит — пожалел. А я думаю, не пожалел — просто кто-то помешал... Миша, он всю ночь пил и грозился, что и тебя, и меня убьет. А утром исчез куда-то... Миша, миленький, ради Бога — уезжай! Он сумасшедший, он это может. Я скоро разведусь с ним. Уезжай, умоляю тебя! Я тебя люблю. Я тебя сама найду в Москве. Скоро найду...

Уехать-то он уехал — в тот же день, на машине, по трассе в Ягодное, где у него вечером по графику тоже должен был быть концерт. А вот найти его в Москве ни тогда, ни через годы, ни через десятилетия она так и не нашла. А скорее всего и не искала никогда.

...Темно в комнате. Темно и за окном, за белыми кисейными шторами — до рассвета еще не скоро. На рояле

стоит уже различимая для притерпевшегося к темноте глаза большая пузатая бутылка, рядом с ней маленький стаканчик и пепельница, в которой красной точечкой горит непритушенная до конца сигарета. В махровом до пят халате у рояля сидит сторбленный, старый уже человек — и он знает, что он уже старый, — и, подперев голову кулаком, смотрит остановившимся взглядом куда-то прямо перед собой. Что он там видит, в темноте? А он и сам толком не знает, что он видит. Наверное, жизнь свою видит. Но что это такое — жизнь? И скорую смерть свою тоже видит. Но что это такое — смерть, его смерть? И зачем была в его жизни музыка, были люди, события, любовь, если даже и под близкий, уже видимый в темноте свой конец он так никогда и не понял, что они такое есть — его жизнь и его смерть? А сколько шуму было в жизни, сколько слов, лиц, встреч, суеты, всяких житейских переживаний, всяких драм... «Миша, миленький, уезжай — он тебя убьет...» Ну, а если бы и вправду тогда убил — может, действительно благое бы дело сделал? По крайней мере, разом бы и избавил его от всего: от тоски, от хворей, от сидения в одиночестве по ночам, от этого бесконечного, душу измотавшего ожидания неминуемого — собственного своего конца.

А где-то — где-то в Москве — лежит в это время в своей смертной постели другой старик, и хрипит, и умирает от рака или чего-то там еще, и думает о нем, и ненавидит его. И, наверное, у него, у этого человека, действительно не было ничего в жизни сильнее той ночи, когда он сорок лет назад шел с топором след в след за ним и хотел его убить... А что такое была жизнь и его, этого другого старика? И зачем она была? И что такое есть и его смерть?

Господи, старый ты дурак! Неужели ты так и не понял за всю свою жизнь, что нет никакого смысла задавать эти дурацкие вопросы — да еще в темноту? Наг и сир пришел ты в мир, наг и сир уйдешь, а остальное все не значит, в сущности, ничего... Лучше уж еще налить себе глоток! Только поаккуратней наливай, смотри, не расплескай в темноте, пожалей рояль. Один только, получается, и был у тебя друг в жизни — этот рояль. А все другое — где оно?

...Суматошная потом получилась неделя, после той ночи. Сплошная беготня: занятия, прослушивания, консультации, какой-то очередной конкурс... Конечно, он ждал, что этот ночной звонок повторится. Но он не повторился... А в субботу у него самого был концерт в Доме ученых на Пречистенке. И это тоже было для него пусть не великое, но событие, и к нему нужно было готовиться, как-то успокоиться, выбросить, по мере возможности, всю эту дурь и чушь из головы.

Непростая ждала его аудитория! Это уж он знал по опыту. Вроде бы не такие уж знатоки, не такие изощренные ценители, и вообще все больше какие-то чудные чудачки, по нынешним временам — ископаемые, эдакая обедневшая ветхозаветная Москва в дырявых нитяных перчатках и стоптанных башмаках. А более благодарной, более отзывчивой на музыку публики он в своей жизни, пожалуй, и не знал. Никаких корзинок с цветами, конечно, не будет — не с чего им появиться, этим цветам! — а вот слезы на глазах, можно не сомневаться, будут. Особенно, если это Моцарт или Шопен. И правильно, что Моцарт или Шопен! Конечно, он с его опытом мог им сыграть кого угодно, мог сыграть и любого из нынешних, ставших знаменитыми в последние годы. Но зачем? Этих-то московских чудачков, видевших на своем веку все и давно уже постигших истинную цену вещам, ни на какой мякине не проведешь: им подавай вечное, божественное, а что может быть более вечное в музыке, чем Моцарт или Шопен!

И так оно и было в этот субботний вечер. Программу он играл давно отыгранную, хрестоматийную, она всегда давала безошибочный эффект на любой публике, а на такой — тем более. Первое отделение Моцарт, а во втором — Шопен: маленькие прелюдии, потом соната до минор, а потом, конечно, мазурки и, как последний аккорд, «самые-самые» из них: сочинение 63, до-диез минор № 3, и сочинение 68, ля минор № 2.

О, ну тут уже и сам он забывал обо всем — о зале, об инструменте, о себе, забывал ради этой чистой, как молитва, даже какой-то застенчивой, извиняющейся

музыки, прекраснее которой никто в мире никогда ничего не создавал... Ах, оставьте, говорила музыка, не обращайтесь на меня внимания, вам же всем, я знаю, не до того, у вас там, в мире, много важного, много всяких дел. Но что я, человек по имени Шопен, могу сделать, если у меня сейчас в ушах звучит такая невыносимо прекрасная мелодия? Я, конечно, скоро умру, а у вас все так же будет много забот и важных дел, и вы будете жить без меня, но это все не важно, а важно то, что сейчас, именно сейчас во мне звучит эта божественная россыпь звуков, и в них такая грусть, такая всеохватная печаль... И какое значение имеет то, что эта печаль — моя приближающаяся откуда-то смерть. Она вовсе не страшна, моя смерть, она, может быть, даже прекрасна — мне только жаль вас всех, кто останется тут без меня, я вас всех очень люблю. Но что же делать, если меня зовет моя смерть, улыбается, напевает что-то, манит меня к себе...

Наверное, так и было оно на самом деле: грузная, щекастая, пятипудовая Жорж Санд у изголовья умирающего от чахотки тридцатисемилетнего Шопена, и его прощальная, всем все простившая улыбка, и слабый, еле заметный жест его до прозрачности исхудавшей в болезни руки: оставайтесь, дорогие мои, живите, танцуйте, радуйтесь, а меня, пожалуйста, извините — я пойду. Не сердитесь на меня, меня зовут, я должен уйти: вот только еще раз пробегу пальцами по клавишам, еще раз услышу эту мелодию, эти серебряные, печальные, в россыпь колокольчиками звуки — и уйду...

А когда кончился концерт, старенькая служительница, уже за кулисами, передала ему сложенную конвертиком записку:

«Миша, дорогой, спасибо тебе! Ты так хорошо играл, и мне было так хорошо... Прости, что я не подошла к тебе: я очень постарела, ты теперь бы и не узнал меня... Миша, вчера я похоронила мужа, ты был знаком с ним когда-то. Я знаю, он тебе звонил перед смертью. Не придавай этому значения, пойми его — он очень тяжело умирал. Ах, если бы ты знал, какую мы с ним трудную прожили жизнь... Здоровья тебе, милый мой, счастья, спокойной старости

и много-много еще таких концертов, как сегодня. Шопен и ты — вы ведь одно и то же. Прощай, я всегда помнила и буду помнить о тебе. И.»

...Наверное, нет в Москве более красивой улицы, чем Пречистенка. Особенно зимой, когда только что выпал свежий снег, когда уже поздно и темно, а за спиной у тебя все еще горит всеми своими люстрами уже опустевший от людей старинный особняк Дома ученых, и на улице и на перекрестках, кроме светофора и редких машин, никого уже нет, и тебе никуда не нужно торопиться, никто тебя нигде не ждет... Надо бы, конечно, взять машину или, на худой конец, сесть в троллейбус: усталость после концерта все же дает себя знать, азарт и возбуждение уже прошли, улеглись, а до дома, до Брюсовского переулка, отсюда еще идти и идти.

Но ведь скоро же придется и ему распрощаться со всем этим! С Пречистенкой, с бульварами, со снегом, с куполом Христа Спасителя, со светофорами на перекрестках... Когда? Ну, кто ж его знает, когда. Теперь нельзя уже даже и спрашивать — когда, теперь можно только благодарить судьбу за каждый новый прожитый день... Нет, нельзя сейчас ни машины, ни троллейбуса: а вдруг? А вдруг это и есть тот самый — последний его день? Нет-нет, пешком, только пешком! На своих двоих: прощаясь и кланяясь, прощаясь и кланяясь каждому дому, каждому дереву, каждому столбу.

1997

Содержание

Пашков дом. Роман.....	5
Старая Москва. Рассказы.....	125
Старая Москва.....	127
Трамвай из предместья.....	141
Последний этаж.....	149
Азиатский грипп.....	177
«И аз воздам...».....	194
Дело о шубе.....	215
Ночные голоса.....	238
Визит.....	251
Презумпция невиновности.....	276
Теория поля.....	291
Скорбный лист.....	316
Протокол.....	343
Особняк на Пречистенке.....	370

Литературно-художественное издание

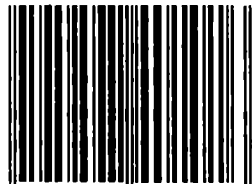
Шмелев Николай Петрович

ПАШКОВ ДОМ

роман рассказы

Художник: П.П. Ефремов
Компьютерная верстка: Ю.В. Балабанов
Корректор: С.М. Хорошкина

ISBN 5-89740-101-2



9 795897 401016 >

Подписано в печать 24.04.2005. Формат 84 × 108 1/32.
Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
Гарнитура PetersburgC. Усл.-печ. л. 23,65. Печ. л. 20,16.
Тираж 3000 экз. Заказ № 6378.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Дом печати – ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

Вниманию читателей

В 2006–2007 гг.
будут опубликованы следующие книги
Николая Шмелева:

Книга вторая
«Безумная Грета»
Исторические повести и роман

Безумная Грета повесть
Спектакль в честь господина первого министра повесть
Деяния апостолов повесть
Сильвестр роман

Книга третья
«В пути я занемог»
Роман, рассказы и эссе
В пути я занемог роман
Curriculum Vitae (Нечто мемуарообразное)
рассказы и эссе

The background of the cover is a dark, atmospheric photograph of a stone path leading into the distance. The path is composed of large, irregular, dark grey stones. In the upper left and center, several autumn leaves are scattered. One leaf is a vibrant red, another is a bright yellow, and a third is a deep orange. The lighting is dramatic, with the leaves and the path's surface catching some light against a dark background.

ПАШКОВ
ДОМ

==
рассказы